



Волга

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

5-6 (504)

2023

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Андрей Сен-Сеньков. Подбородки нолей, из которых построены пчелиные улья. Стихи.....	3
Павел Кошелев. Пубертат земноводных. <i>Повесть</i>	8
Люба Макаревская. «Что мы знаем...» и др. стихи.....	53
Александр Ливенцов. Лето накануне зимы. <i>Посюсторонняя повесть</i>	62
Дмитрий Смагин. Одинокая печень в морозильной камере. Стихи.....	100
Дмитрий Лагутин. Обед. <i>Рассказ</i>	106
Ирма Гендернис. Скоро Африка. Стихи.....	112
Юрий Китаев. Жалобная книга. <i>Проба пера</i>	120
Юрий Гудумак. Знаки ясного сезона. Стихи.....	125
Анатолий Бузулукский. Изгнание земное. <i>Стихотворения в прозе</i>	132
Павел Гринберг. Всеслабый свет. Стихи.....	149
Иван Макаров. Март. <i>Рассказ</i>	158

ПУТЕШЕСТВИЕ

Михаил Бару. «Не имеющий известности». <i>Продолжение</i>	160
--	-----

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Михаил Бару – Ольга Балла-Гертман. Электроны маленьких городков <i>К выходу книги: Михаил Бару. Скатерть английской королевы</i>	189
--	-----

ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

Олег Лекманов. «Нам» и «нас» в стихотворении Бродского «На независимость Украины»	197
--	-----

ИНТЕРВЬЮ

«Дранные» стихи самоорганизуются в речь

Канат Омар о языковой самоидентификации, петербургских литературных встречах, поэтах Казахстана и поэме «Зрачок замёрзшей».	
--	--

Беседовал Владимир Коркунов	203
--	-----

Драма и двигатель искусства

Виталий Лехциер о вестнике современного искусства «Цирк “Олимп”+TV», феноменологии, личных поэтических траекториях и опыте хронических болезней.	
---	--

Беседовал Владимир Коркунов	214
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Александр Марков. Субъекты русской литературы у себя в городе

О кн.: Ольга Седакова. О русской словесности. От Александра Пушкина до Юза Алешковского.....	227
--	-----

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

Алексей Голицын. Художник Николай Мамонов. Советская действительность сквозь черные очки.....	232
--	-----

Андрей СЕН-СЕНЬКОВ

ПОДБОРОДКИ НОЛЕЙ, из которых построены пчелиные улья

Никогда не рисуйте с натуры
Дега

Подбородочный выступ у ноля – выдающийся вперед валик, идущий вдоль нижнего края тончайшей нижнечелюстной линии. Возможная причина возникновения – редукция альвеолярного математического отростка. При общей редукции жевательного аппарата альвеолярный математический отросток сильно уменьшается, тогда как нижний отдел передней части челюсти такой редукции не испытывает, что вызывает отступление альвеолярной части и тем самым появление подбородка. Формирование подбородка могло еще быть связано с выпрямлением воображаемых передних зубов и альвеолярного математического отростка. Расширение мозговой части ноля вызвало расхождение ветвей нижней челюсти, а укорочение верхней челюсти и прозрачного нёба обусловили уменьшение её длины. Это вызвало усиление поперечных натяжений в области симфиза, особенно в нижнем его отделе, и задерживало слияние двух половин челюсти. Необходимость усиления передней пластины обусловила появление подбородочных косточек, которые и образовали у ноля подбородочный выступ.

артемиду
часто изображали белой гладкой пчелой
позже простой гречанкой
обритой наголо соседями по деревне
за любовную связь с нацистом

теперь волосы на ее голове
растут новыми неровными женщинами
где-то роскошно одетыми
где-то роскошно раздетыми

пчелы часто садились на губы платона
когда он был грудным младенцем

Андрей Сен-Сеньков родился в 1968 году в Таджикистане. Окончил Ярославскую медицинскую Академию, живет в Алматы. Лауреат премии Андрея Белого (2018), Специальный приз премии «Московский счет» (2019). Стихотворения переведены на 31 язык, книги выходили в России, США (премия американского ПЕН-клуба за лучшую переводную поэтическую книгу 2015 года), Сербии, Италии, Нидерландах, Беларуси, Великобритании, Латвии, Израиле и Грузии.

то ли что-то хотели дать
то ли что-то отнять

или им просто нравилось подлетать улетать
раскачиваясь в горячем воздухе
как елочка ароматизатора в автомобиле

старой пчеле пересаживают сердце осы
оса удобная свинка с похожим генотипом
до операции пчела просит обнять прижать еще не мертвое
забыв что заранее
с днем рождения не поздравляют

пчелки-флагеллантки бьют себя
крыльями
хоботками
усиками
а самые безжалостные к себе
скручивают маленькие кнуты
из чего-то совсем человеческого
из чего-то такого оттуда
с самого дна
откуда заключенные
планируя долгий побег через тайгу
уговаривают кого-то неопытного бежать вместе
чтобы потом им какое-то время питаться

пчелиный коллектор
убивает пчелиного дитенка за долги
сумма небольшая
но дело принципа

на цветочных похоронах
шершавая мать
останавливает отсутствующую музыку
нажав мохнатым пальцем на менопаузу

старая пчела читает сонник
толкование сновидений фрейда
ей кажется ужасно скучным и она плохо понимает слова

сегодня снилось что-то тяжелое

оно снилось долго
а приснившись до конца
оставило внутри пустоту
похожую на тело
чей вес измеряют по количеству воды
которое оно вытесняет

модильяни живет в *la ruche*
в трехэтажном улье
рисует голых пчелок

они его очень любят

есть даже одна русская
зовут аня
стихи пишет и вообще сама ничего
с изящно изогнутым хоботком

и нёбо ее похоже на небо
когда они занимаются медом

их не бывает в антарктиде

пробовали пожить
минус пятьдесят
и белый мед слишком сладок

после себя оставили ничего

так мужчины фотографируются на память
с большими пойманными рыбами

пчелки думали что они люфтваффе
оказалось люфтваффе

забросали пушистым стеклом
устроили московскую ярмарку меда

бог наверху от ужаса
тянет на себя одеялко
тянет
как отличник с первой парты руку

пчела забывает дома амбrellу
и попадает под неопасный
непростудный июньский дождь

теперь машет крыльями
как полароидными снимками

встряхивает ими
чтобы быстрее высохли

пчела-кукушка
подкладывает свои яйца в чужой улей

избавившись от потомства
ее тело вытягивается в сладкую струну
и начинает гудеть как узкая могила
исправляющая горбатого

среди пчел существуют альбиносы
их белые глаза
как круглое молоко

лишенный рамки пейзаж порхает пигментами
под тишину снежного моне

bee gees спели в семьдесят девятом о *трагедии*
о той
когда на пчел напало злое насекомое
в разы превышавшее их в размерах

тому удалось проникнуть внутрь их дома
а пчелиные жала против злого насекомого не работали
тогда пчелиная стража окружила его
начала быстро работать крылышками
лишая своего врага воздуха до того момента
пока он не задохнулся
и душа его не округлилась
до дырочки сорокапятки

оса с рюмкой крепкого меда
чувствует себя среди пчел
пятилетней девочкой которая надела мамины туфли

с каждым глотком
ликерные зрачки становятся шире
чернея до самых каблучков

после фильма
где свиарка ладынина
делает искусственное дыхание поросенку
рот в рот
и спасает его
пчеловод идет прикоснуться к губам пчелы
делиться своим большим кислородом
но маленькие легкие рвутся
кино получается совсем другим
совсем твоим
страшно пляжным пазолини

пчелёнок с тетрадой фалло
с синдромом голубой пчелы

цианоз такой выраженный
что он почти прозрачный

через него проплывают маленькие облака
пролетают насквозь не причиняя вреда
пули и астронавты

медленный как растение
которому нужно поливать раз в неделю
сердцебиение

Павел КОШЕЛЕВ

ПУБЕРТАТ ЗЕМНОВОДНЫХ

Повесть

Сделать душу добрее, а поступки мудрее...
Из гимна школы № 2 г. Северодвинска

*I am the lizard king
I can do anything*
Из песни *The Doors*

I

Девственности я лишился в последний день лета.

Вокруг валялись скрюченные огнем полторашки, выцветшие упаковки от чипсов, бутылочные осколки и наверняка собачье дерьмо. Небо было высоким и мутным. Я смотрел в него, шурясь от боли, а Лиля, сняв для удобства только одну штанину, упорно пыталась вставить, но у нее никак не получалось.

Глядя в небо Северодвинска, я терпел свою притупленную алкоголем боль, ведь мне казалось, будто Лиля знает, что делает. Приходится не раз обломаться, прежде чем усвоится фундаментальная истина: никто ничего никогда не знает. Но уяснить это однажды недостаточно, желательно повторять ежедневно, как мантру: никто, ничего, никогда.

Боль вдруг сделалась нестерпимой, и я машинально схватил Лилю за бедра, пытаюсь удержать от давления. Бедрa были холодными.

– Руки убрал, – приказала она.

Стало еще больнее, и я зажмурился.

По разбитой дороге, протянутой за кустами в нескольких метрах от нас, продребезжал грузовик. Когда его грохот смолк, Лиля испуганно произнесла, замерев:

– Кажется, у тебя кровь... Я думала, в первый раз только у девочек кровь бывает.

Название этой травмы я узнал уже позже, из интернета.

А тогда, как от йода или зеленки, зашипел от вампирского способа дезинфекции, спонтанно примененного Лилей. Мы поднялись, застегнулись и вышли обратно к той самой дороге, соединяющей город и гаражи. Продолжили идти в сторону знакомых пятиэтажек, делая вид, что ничего не произошло. Мне это давалось труднее, ведь я знал и чувствовал, что трупы все сильнее пропитываются кровью.

Первые пару минут Лиля, поглядывая на меня, виновато молчала, но вскоре решила, что если я тоже молчу, то ранение не такое уж и серьезное, а значит, раскаяние можно не изображать.

– Вскрываю девственников, как шампанское! – выкрикнула она в прыжке, и ее сухие и рыжие, похожие на оголенную проволоку волосы победоносно взметнулись.

Павел Кошелев родился в 1997 году в г. Северодвинске (Архангельская обл.). В 2015 году поступил в Рязанский радиотехнический университет, был отчислен. В 2018 году поступил во ВГИК на сценарно-киноведческий факультет. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Новая Юность», «Волга». В 2022 году повесть «Фрукты и фруктики», ранее опубликованная в «Волге», вышла отдельной книгой в издательстве «Князев и Мисюк».

В кармане завибрировал телефон. Я ответил.

Голос из трубки спросил:

– Ну вы где там? Скоро? Мы на набережной уже.

– Скоро, – растерянно выдал я в телефон.

– Это кто? Нуна?

Лиля так называла Косухина. Нашего одноклассника. Моего вроде бы все еще друга. Ее парня. Да, ее парня. Лиля, вспомнив об этом, нахмурилась.

– Ни слова Нуне, ты понял? Никому ни слова, а ему особенно.

– Ни слова, – согласился я.

На набережной она напилась и сама ему всё рассказала.

*

А до этого было утро. Отметить последний день лета мы решили с утра, чтобы немного проветриться к вечеру.

Слалом был самым младшим в классе, но когда он заходил в магазин «Ольга» с мотоциклетным шлемом подмышкой и, потирая свою мясистую шею, изучал алкогольный ассортимент, – усомниться в его совершеннолетию было почти невозможно. Почти. И в тот раз он торчал в магазине дольше обычного. А я от этого нервничал.

– Где там этот мудака застрял? – прошипел я во вращающийся перед глазами двор.

– А знаете, Угрюмов, почему вы нервный такой? – с полублаженной улыбкой задал мне Нуна Косухин свой любимый вопрос.

– Почему же? – решил подыграть я ему.

– Потому что вам решительно не с кем трахаться, – безошибочно выдал он свой любимый ответ и придал ускорения карусели, одной ногой оттолкнувшись. – А еще потому что не смотрите реслинг. Агрессию не сублимируете.

Уже в третий раз за утро он пытался впарить мне реслинг, но Лиля не давала ничего ему толком сказать, дергала за рукав джинсовки и отвлекала. Она всегда так делала, когда ей было неинтересно. А интересно ей было только тогда, когда говорили о ней.

– Ну что еще? – взмолился Косухин, когда она снова его отвлекла.

– Ты так и не ответил: мы будем вальс танцевать или нет?

– Ну какой еще вальс? До последнего звонка целый год, ну.

– А партнеров все ищут уже сейчас. Пиздёнки хотят нанять хореографа и скоро начать репетировать. Мне Баня сказала.

Банникова считалась ее подругой, но Лиля, как и всех остальных одноклассниц, звала ее за глаза пиздёнкой. По какой-то явно необъективной причине Лиля считала себя лучше всех, хотя было наоборот.

– Отвечай: будем вальсировать или нет?

– Нет, – ответил Нуна без всяких «ну», с несвойственной ему твердостью.

– Тогда я пошла, – спокойно заявила она.

Мы с Нуной, быстро переглянувшись, спрыгнули с карусели и за пару секунд раскрутили ее настолько, чтобы было страшно даже привстать. Лиля повизгивала и смеялась, удивленная редким моментом своей беспомощности. Мы с Косухиным тоже смеялись, и на секунду, впервые за долгое время я почти почувствовал, что все-таки мы друзья.

Нам было так весело бегать по кругу, что мы не заметили, как вернулся Слалом из магазина.

– Чё, вы теперь вдвоем ее вертите? – выдал он идиотскую, но на удивление прозорливую шутку. Мы остановились. На широком лице растянулась фирменная улыбка дебила. В руке у Слалома был большой и тяжелый черный пакет с бухлом. В кармане – ключ от отцовского гаража.

– Это я их верчу, – слезая с карусели, ответила ему Лиля. – Как солнце вертит планеты вокруг себя. Ясно тебе, чудовище?

*

«Мечта сбывается», – пел из динамика Юрий Антонов.

«И не сбывается», – тут же опровергал он свои же слова.

Время у Слалом в гараже мы жили всегда одинаково. Забирались в машину-развалюху без двух колес и стремительно, вперемешку, в как можно более случайной последовательности выпивали всё, что с собой принесли. Фоном ради прикола непременно играло какое-нибудь смешное старье. Песня про мечту была нашей любимой, особенно в убудочной клубной аранжировке. Мечта сбывается. И не сбывается. Мы подпевали, и нам казалось, что эта двухколесная железка везет нас к нашим мечтам.

Со Слаломом всё понятно: ни о чем кроме секса, мотоциклов и секса на мотоциклах мечтать он не был способен. Наверняка воображал что-нибудь подобное, когда сидел слева от меня важный, на водительском месте, пошевеливал руль и дергал рычаг в такт музыке.

Лиля мечтала стать великой актрисой. Она готовилась поступать в театральный и регулярно всех истязала стихотворением «Черный человек», которое читала на манер Безрукова, при этом еще и нелепо выпучивая глаза. «Смешно тебе? – спросила как-то она. – Однажды ты купишь дорожный билет на спектакль, а на сцене буду играть я, и ты будешь смотреть на меня и плакать, осознавая, что я – великая актриса, а ты закончил свой физмат и стал унылым инженером с кожаным портфелем и в свитере». Не только она, мы все тогда ошибочно думали, что выбор сдаваемых выпускных экзаменов определяет судьбу.

Поэтому Нуна Косухин мечтал нормально экзамены сдать, хоть куда-нибудь поступить, не оказываясь в армии сразу же после школы. В его случае это было не так-то просто. Успеваемость Нуны рухнула, как только он сделался Нуной, то есть в десятом классе, когда он начал встречаться с Лилей и получил от нее это прозвище.

О чем мечтал я? Точно не о том, чтобы поскорее лишиться так называемой невинности. Тем более с девушкой друга. На загаженном пустыре. Мне хотелось, чтобы меня прославил мой пафосный рэп, все больше и больше напоминавший стихи. Но после определенной дозы алкоголя эта мечта отступала, становилась совсем незначительной и ненужной, поскольку я весь превращался в одно-единственное желание: мне нестерпимо хотелось с шальными эйфорическими опечатками написать и отправить Вере «я тебе лбю и всгда буду любить» либо «иди ты нахуй хаха хахаха!», что-нибудь из этого, одно из двух.

Я себя знал и заранее был готов: достал из телефона аккумулятор, затем сим-карту, и разложил их по труднодоступным местам, чтобы через пятнадцать минут не помнить, где что лежит, и ничего ей не смочь написать, не выставить себя в очередной раз полусбухавшимся истеричным придурком.

– Э, Паштет, ты че вытворяешь? – усмехнулся Слалом, заметив, как я убираю сим-карту в кроссовок.

Я прикинулся, что не слышу его из-за музыки.

– Че делаешь, говорю?! – перекрикнул он Юрия Антонова.

– Ничего. Ты лучше назад посмотри.

– Да вы заебали! Хватит! – предсказуемо переключился Слалом. – Не дай, сука, бог вы салон мне испачкаете – вылизывать будете, ясно?!

Запустив, как обычно, руки друг другу в трусы, Нуна и Лиля жадно целовались на задних. Но пачкать там было нечего. Так называемый салон давно и надежно, в несколько толстых слоев был уделан пивом, настойкой на клюкве, кетчупом, водкой, слюной, лимонадом, мочой и рвотой.

«У него недотрах, вот поэтому он и злится на нас, – объясняла мне как-то Лиля. – Иногда лезет лапять меня, когда Нуна не видит, но я его бью по рукам. Такой мерзкий он, просто уёба. Не удивительно, что ему тянка его не дает. Но у него она хотя бы есть. Он хотя бы живой человек, а не гуманоид вроде тебя».

На задних утихомирились.

– Че-то вы, додики, скучные. Скучно. Позвоню Бане, она вроде с нами хотела, – заявила Лиля и выбралась из машины. Лиле было скучно почти всегда. Ей наскучивали марки сигарет, венерические болезни, фарфоровые коллекционные куклы, мы. Как-то раз она помогла своей кошке родить и, вытягивая котенка, случайно оторвала ему голову. Она взбудоражено написала об этом мне, но не прошло и пары часов, как ей стало скучно опять.

– Трахнул бы Банникову? – спросил Нуна у Слалом, подначивая его, предвкушая коронный ответ.

– Банникову? Только если с пакетом на голове, – деловито ответил Слалом, не отвлекаясь от телефона. Он перестал изображать из себя водителя и что-то сосредоточенно набирал.

«Вот ведь мудака, – усмехался как-то раз Нуна. – Его самого по-хорошему целиком бы в пакет завернуть и сбросить с ягринского моста». Слалом никто не любил. Но ему всегда продавали. Да и доступ в гараж не был лишним, особенно в холода.

Я краем глаза заметил, что он переписывается с девчонкой. Судя по всему, той самой, никак не дающей, своей. «Прив, довай увидимся, хочешь?» – печатал он ей. Я ухмыльнулся и осушил пластиковый стаканчик залпом.

Вскоре мы были уже никакие, и нам срочно требовалось ещё.

*

Небо слегка прояснилось, и бледноватое солнце ослепило нас после полутьмы гаража. Слалом выкатил мотоцикл, уселся и вопросительно на меня посмотрел. Мне совсем не хотелось ехать с этим дегенератом, обнимая его за обтянутое кожаной курткой пузо, да еще и когда мы оба в говно. Как выражался в таких ситуациях Косухин: «Я лучше запущу себе в анус красных муравьев».

– Даже не предлагай. Я пешком.

– Кто поедет тогда? Я че там, один вас ждать буду?

– А второй шлем есть? – спросила Лиля.

– Второй член только, – шуткнул в своем стиле Слалом и сам же заржал.

– Ну что ж, давайте поеду я, – предложил Нуна. – На набережную подваливайте-с.

– Чем быстрее припрётесь, тем больше достанется.

Нуна сел сзади, смахнул с лица грязные волосы, чуть недоверчиво глянул на нас. Мотоцикл взревел, за считанные секунды набрал разгон и, подпрыгивая на ямах, скрылся за облаком дорожной пыли, которое сам же только что и взметнул. Мы с Лилей недружелюбно переглянулись и молча пошли за ним следом вдоль пыльной разбитой трассы, немного пошатываясь.

Справа от нас тянулись пустыри, переходящие в камыши и залив. Слева от нас тянулись пустыри, переходящие в город. Впереди бежала взъерошенная собака по своим непонятным делам.

– Можно спросить? – спросила Лиля.

– Спрашивай.

– Тебе действительно в кайф ходить одному по городу с таким сложным лицом?

– Ага.

– Мы с Нуной обсуждали это однажды, после того как случайно тебя увидели, ты еще был, как всегда, в наушниках и не слышал, как мы тебя звали. Нуна сказал, что ты постоянно прикидываешься таким независимым и одиночным, непонятым. Типа тебе на всё похуй. А на самом деле – это у тебя просто поза. По крайней мере, он так думает.

– Похуй мне, что он думает.

– Как обычно. Но на самом деле ты очень хочешь быть душой компании, хочешь, чтобы все обращали внимание на тебя, и тебе не просто очень, а очень-очень важно, что о тебе подумают. Ты же девственник и сынок, которому одежду выбирают родители, с которыми ты будешь жить лет до двадцати пяти как минимум! Ты целыми днями только и делаешь, что накручиваешь себя по этому...

Лиля уронила сигарету, но тут же подняла и обратно сунула ее в рот. Остановилась. Щелкнула зажигалкой. Лиля курила смешно. Делала короткие, нервные затяжки и демонстративно, как

мартышка, выпускала дым, вытянув губы трубочкой. Она была похожа на дошкольницу, которая играет в курение с помощью погрызенной палки от чупа-чупса.

- И чего ты молчишь опять? Что ты об этом думаешь?
- Что я думаю о том, что много думаю о том, что обо мне думают?
- Не увиливай, говори!
- Давай покажу лучше.

Я отвернулся к кустам и стал отливать, вода струей, как навороченное дачное устройство для автоматического полива.

- Вот, что я думаю. Ага?

Лиля подошла сбоку и с интересом стала смотреть. Она и раньше пыталась увидеть, как я отливаю, когда мы гуляли вдвоем: резко подходила и пялилась, не давала спокойно мне высосаться. Я прятался, торопливо застегивался, отворачивался от нее. Но в тот раз неловкости быть не могло: я легко на центральной площади города нассал бы себе на голову, будь во мне этанола чуть больше.

– Хочешь, трахнемся? – спросила она неожиданно, но не слишком. Струя на секунду заглохла, но тут же продолжила литься.

- Что, прямо здесь? – задал я чересчур прагматичный вопрос и сам удивился ему.

– Там, – указала она на пустырь за кустами. – А ты где хотел девственности лишиться? – усмехнулась она.

- Не знаю.
- В теплой уютной постельке?
- Типа того.
- С лепестками роз?
- С какими еще лепестками?
- И желательно по любви.
- Это уже чересчур.
- По большой и чистой любви!
- Меня сейчас вырвет.
- Такой, чтобы одна на всю жизнь!
- Всё, перестань.
- Ну так что? – кивнула она на кусты.

Лиля никогда мне не нравилась. Несуразное веснушчатое лицо с немного безумными и большими – похожими на мои – глазами. Ломкие рыжие волосы. Недоразвитое сутулое тело. Глупые грамматические ошибки. Беспочвенная жестокость. Она больше напоминала проблемного ребенка, чем женщину или – окей – девчонку-подростка. Я так по-нормальному и не смог объяснить – ни ей, ни Косухину, ни себе – почему согласился тогда.

*

Когда мы пришли на набережную – Слалома там уже не было. Он с несвойственной ему щедростью оставил всё купленное и поехал к своей девчонке, надеясь, что в этот раз наконец-то сможет ей, как он говорил, засадить.

Нуна и Баян – два полноватых силуэта – сидели в самом конце набережной, на одной из бетонных плит, наполовину утопленных в вязкую землю.

Лиля, издали их увидев, высказала мне подозрение, что они успели пососаться, пока тут сидели вдвоем. Косухин как минимум думал об этом – была уверена Лиля. Он, видите ли, признавался однажды, что ему кажется сексуальной Банникова за счет пухлых гусениц-губ. Может, и думал, может, и кажется, может быть, даже и пососался – чего теперь, напившись, выкладывать карты на стол, хвалиться игрой на опережение?

Лиля подкралась сзади и воспроизвела тошнотворный штамп из кино: закрыла Нуне глаза ладонями.

– Слалом, ты, что ли? Уже засадил? Так быстро?

– Лиля, я очень рада тебя видеть, – сказала Банникова. – Паша, тебя я тоже рада видеть, но не так сильно, как Лилю, потому что она все-таки моя лучшая подруга, а ты просто одноклассник, – проговорила она в своей роботизированной манере, вызванной мощными седативными.

Мы сидели теперь вчетвером, трепались и пилились в грязную воду залива. Справа, похожая на изломанный позвоночник огромного динозавра, тянулась труба старой ливневой канализации. Девчонки, с трудом через нее переползая, бегали в камыши отливать. Косухин много курил. Дымящиеся окурки втыкал в фиолетовое медузье желе, распластавшееся у его паленых кроссовок. Лиля была молчаливая непривычно. Банникова угощала своими успокоительными таблетками, от суммы которых сама была уже настолько спокойная, что спокойней только покойники.

– Я не знаю, что делать, – равнодушно сказала она. – Валя мне предложил танцевать с ним вальс.

– Радуйся. Мне вот не предлагает никто. Нуна, правильно говорю?

– Решительно не понимаю, каким боком замешан здесь я. Обращайтесь к Валентину, раз он такой балерун. Пусть этот бешеный жеребец вас обоих танцует.

– Соглашаться я не хочу, – продолжила Банникова. – Потому что он мерзкий. Занудный, маленький и противный. Но и отказываться не хочу. Потому что никто мне, кроме него, не предложит.

Клюквенная настойка резко напомнила мне про кровь.

– Не парься особо, – сказал я Бане, как будто себе.

– Насчет чего?

– Насчет вальса.

– Какого вальса?

Мы с Лилей и Нуной переглянулись. Банникова была не здесь. Порой меня умиляла ее младенческая непосредственность, помноженная на аптеку и алкоголь.

– Валя предложил тебе танцевать с ним вальс.

– Правда?

На таблетки она подседа после того, как Крюгер – ее старший брат, психопат, представитель дикой природы, с которым я был неплохо знаком в средней школе, – оказался в тюрьме за жестокое и бессмысленное убийство.

– Ну да.

– Ты сама нам только что рассказала.

Она проверила в телефоне.

– Действительно предложил.

Бутылки в черном пакете пустели. Солнце то смотрело на нас, то вновь скрывалось за тучей, как будто давало нам шансы и разочаровывалось опять и опять. На какое-то время Банникова расшевелилась от выпитого, завладела пакетом и стала разбрасывать пустые стекляшки по стономам.

– Какая разница? – повторяла она, хохоча. – Какая вообще разница?

Попадая в соседние плиты, бутылки превращались в осколки, которыми наша несчастная набережная и без того была засеяна от края до края, во всю длину. Бутылки запомнились мне отчетливо, осколки от них – уже нет.

Внезапный прилив прогнал нас на твердую, пока что еще по-летнему теплую землю. Банникова уснула. Мы с Косухиным ползали в дряблой траве счастливые без причины, смеялись, как дураки. Лилю тошнило фиолетовым. До ее признаний и обвинений оставалось совсем недолго. Хорошо, что я не запомнил, как именно они начались.

*

А я всё знаю и помню отлично, хотя меня не было там. «Никто никогда ничего не знает» – правило неплохое, но я – исключение. Я знаю всегда и всё. Имени у меня нет, потому что он так и

не дал мне имени. Мы познакомились в магазине, где вместо того, чтобы немного плеснуть на дно, тупорылая продавица наполнила банку до края, и я второй день подряд взбалтывал затхлую воду лапами, дотягиваясь еле-еле до воздуха, зачем-то пытаюсь ещё немного пожить, а он стоял семилетний, совсем еще мелкий, в нелепом пуховике и смотрел на меня и подобных мне, болтающихся в соседних банках, но пальцем в итоге именно на меня показал. За сачок, коробочку сухого корма, банку из-под меня и меня самого заплатили мятую сторублевку и в промерзлом городском автобусе отвезли в трёхкомнатную, на девятом этаже квартиру, где мне отведен был округлый аквариум на подоконнике, с видом на море. Немало рыб до меня переходило в этом аквариуме по вине родителей мелкого, которые так и не догадались, что рыбам необходим кислород. Трупики эти они списали на неумение сына заботиться о живых существах, хотя всё он вообще-то умел, однако после серии необъяснимых рыбьих смертей усвоил, что забота бессмысленна, потому моментально забил на меня, даже имени мне не придумал, почти не кормил, а воду менял раз в месяц, когда она зеленела уже. В общем, я быстро понял, что делать мне в этой реальности нечего, и стал мало времени в ней проводить. «Удивительно живучая тварь, – говорил про меня отец семейства своим друзьям, от перегара которых густо запотевало аквариумное стекло. – Света однажды обрабатывала дихлофосом комнату, аквариум забыла вынести, думали, он там сдох, а ему хоть бы что! Да и Пашка распиздуй тот еще, кормить забывает его, а он засыпает просто, как будто дохнет, впадает как бы в анабиоз. Потом через месяц Пашка про него вспоминает, будит и кормит. Он пожрёт и дальше спать». Всё верно. Ещё бы: во сне я мог путешествовать по вселенным, по будущему и прошлому, а в так называемой реальности – только по мной же засранному аквариуму, разница ощутима, не так ли? «Бедный-бедный тритоша, – говорил про меня кто-то из чрезвычайно редких гостей мелкого. – Даже имени нет у него. Ему тут, наверное, очень скучно и грустно и одиноко». Пожалели бы лучше себя. Люди могли бы знать всё про всё, быть везде и всегда, что угодно видеть с любого ракурса, бывать в чужих головах и испытывать чужие чувства, если бы умели спать хотя бы по двадцать три часа в сутки. Но они не умеют. Они вынуждены придумывать себе приключения, развлечения, увеселения. Разве это не жалко? Способность мыслить и видеть сны – вот надежный набор против скуки, которого лично мне хватило на целую вечность. Я и сейчас могу наблюдать за мелким, и наблюдаю, присматриваю за ним. Он пишет и пишет свой этот текст, сокращает и удлиняет обратно, исправляет и переписывает, в разных городах и в разных клоповниках, начал в одном году, заканчивает в другом, начал в одной стране, заканчивает в другой, где на полузаброшенном пляже он вспомнил вдруг про меня и придумал ввести меня в повествование, писать некоторые фрагменты мной, от моего лица, и ему показалось, что это именно то, чего не хватает. Вообще, он, конечно, смешной, много чего придумывал. Даже придумывал похоронить этот текст, чересчур легкомысленный, видите ли, на контрасте с так называемым здесь-и-сейчас, но текст не дал себя хоронить. Или вот имена придумал героям какие-то идиотские, очевидно фальшивые, дебильные клички раздал. Можно подумать, что с измененными именами прототипам будет не так обидно узнавать в героях себя; что они не возненавидят его сильнее, чем ненавидят уже; что не начнут ему сниться в кошмарах, как герои предыдущей повести. Пусть надеется. Буду и я называть их так, ненастоящими, дебильными именами. Разве такая уж это проблема? У меня вот вообще никакого, даже дебильного имени нет.

*

Ближе к вечеру я обнаружил себя в незнакомом дворе, лежащим на узкой скамейке. Неподалеку визжали дети, на веревках трепетали белые простыни. Я и сам себя чувствовал так, будто меня, как на жутком аттракционе, прокрутили в барабане стиральной машины: мне было плохо, но весело.

Как персонажа компьютерной игры я поднял себя со скамейки и вывел из двора через арку. В закатном свете редкий для нашего города ровный асфальт напоминал шершавую кожу рептилии. Оглядевшись, я с трудом понял, где нахожусь. Оранжевый глянец панелей недавно построенного торгового центра «Сити» виднелся в паре кварталов направо. Туда я себя и направил.

В тяжелую голову лезла всякая чушь, к примеру, слова похожей на лошадь репетиторши по английскому: «Не путай, наш город – таун, почти что виллэдж. Сити – это Ландон, Нью-Йорк, Сэйнт Питесбёрг, Москоу...». Торговый центр «Сити» хоть и находился на одном из центральных проспектов нашего тауна, но в самом его конце. И потому с трех сторон был окружен камышом и песком, отчего название звучало еще более иронично.

Я подошел. Створки автоматической двери не успели толком разъехаться, а через их стеклянную поверхность я уже смог распознать Антона по прозвищу Антонио. Он стоял между двух эскалаторов в черной, как обычно, рубашке и черных брюках, с букетом белых цветов. Последнее, чего мне хотелось тогда – это трепаться с Антонио, предпоследнее – находиться под его хитрым дотошным взглядом.

Мне вспомнилось, что однажды я уже видел его с цветами, вернее, с одним цветком, тоже в торговом центре, кажется, в «Радуге», и тоже через стекло, но через стекло витрины: я находился в одном из отделов. Антонио с красной розой в руке на секунду застыл в коридоре, энергично, даже слегка взволнованно огляделся (тогда небольшое волнение еще было свойственно ему перед свиданиями) и торопливо ушел.

– Надо же, – задумчиво сказала полноватая продавщица своей напарнице, – такой маленький, а уже романтик. С цветочком.

Она влюбленными глазами смотрела туда, где он стоял пару секунд назад. Ее реплику я воспринял как изощренный упрек в свой адрес, ведь я сидел на мягкой табуретке для примерки обуви и ждал, пока вернется из примерочной мама, и продавщица как будто сказала мне: «Твой одноклассник уже по бабам ходит, а ты – с мамой по магазинам. Не стыдно?» Но ничего подобного она, конечно же, не имела в виду. Продавщица не знала, что мы ровесники, я выглядел младше на несколько лет и в отличие от знойного переростка Антонио ни о каких свиданиях в свои девять лет подумать даже не мог.

– Что, котёнок, утомился? – спросила ее напарница. – Кто это у тебя на штанах, мишка?

– Это не мишка, – угрюмо пробормотал я, – этомышь.

Спустя восемь лет построился новый торговый центр, автоматические двери его разъехались, и Антонио, тут же заметив меня, хищнически улыбнулся. Развернуться и уйти было бы глупо, глупее только стоять на месте. Поэтому я пошел к одному из эскалаторов, надеясь, что Антонио обойдется приветствием издалека, не заговорит со мной, но Антонио заговорил. Как всегда, я почувствовал себя рядом с ним всё тем же ребенком в комбинезоне с мультяшной нашивкой, прикрывающей дырку в штанине.

– Рюкзак собрал уже? Дневник купил? – прикалывался Антонио, как будто бы прочитав мои мысли. Я пожал его цепкую ладонь. – О-хо-хо, какой рюкзак, о чем я вообще? Да от тебя алкахой несёт, малыш!

– Отметили слегка, – улыбнулся я чуть заискивающе. – Последний день лета и всё такое.

– Слышал про вальс? Про то, что тёлки решили заранее озаботиться.

Я ответил ему, что слышал.

– И что думаешь?

– Ничего. Я-то здесь при чем?

Антонио свободно расхохотался. В поведении окружающих его часто веселили неожиданные вещи, юмор которых понятен был только ему. Как человек в зоопарке смеется над обезьянами, осознавая родство, но и превосходство, так и Антонио забавляли наши зажимы, законы, неуместные фразы и непредсказуемые поступки. Он смеялся над нами искренне, с каким-то даже восторгом, обнажая белоснежные и ровные, как у Юрия Гагарина, зубы, источая недосыгаемое психическое благополучие.

– Я вот Мухе пытаюсь объяснить, что вальс – это не зашквар.

– И как, успешно?

Он заглянул в телефон, чтобы проверить время. Похоже, девчонка опаздывала. 19:05. На экране блокировки президент с голым торсом сидел на буром коне.

– Пока не очень, – Антонио убрал телефон. – Ему, правда, никто пока и не предлагал. А вот мне предложения уже поступают. Даже и не знаю, что делать. Их много, а я один!

– Сделай Мухина секретарем. Пусть разбирает корреспонденцию.

– Что-то разбирает?

– Корреспонденцию. А потом проведите аукцион: кто больше заплатит за право с тобой вальсировать. Или кастинг организуйте.

Антонио мой бред не слушал, он, вытянув шею, высматривал ту, которой предназначался букет. Я оглянулся и сразу определил ее, выделил из толпы. Она была не из нашей школы. Она вообще выглядела так, будто выпустилась лет пять назад, только не совсем понятно откуда: из школы или из коробки для куклы Барби.

– Всё, давай. Дневник не забудь заполнить, – бросил он мне на прощание.

Поднимаясь на эскалаторе, глядя на то, как они уходят в коридоре ярких витрин, я подумал, что у Антонио первый раз наверняка был совсем не такой, как мой. Может, без лепестков, может, не в такой уж и теплой постельке, может, не по большой и чистой любви, но уж явно не с девушкой друга посреди придорожной помойки, с кровавыми брызгами, в пьяном полубреду.

Я зашел в туалет. Из зеркала на меня посмотрело нечто с приставкой недо. Недонечто – новый супергерой на страже Северодвинска: красноглазый, бледный и охуевший.

Закрылся в кабинке, расстегнул ремень и, болезненно щурясь, заглянул в потвердевшие от застывшей крови трусы. Убедился, что кровотечение приостановлено, выбрался из кабинки. Умылся несколько раз холодной, немного глотнул из-под крана. Недонечто проделало все это вместе со мной.

– Похуй, – глядя в зеркало, прошептал я ему и вышел из туалета.

Солнце скрылось, но было еще светло, просто все окрасилось в голубоватый оттенок. Я сел на скамейку у входа. Мимо гоняли малые на скейтах и ходили с пакетами взрослые, разговаривая по мобильным. Я вспомнил про свой.

Достал из кроссовка сим-карту, вставил, врубил, подключился к интернету и обнаружил непрочитанное сообщение. Сообщение было от Веры. Дважды, сначала бегло и жадно, потом вдумчиво и дотошно его прочитал, пытаясь поверить. Потом перечитал. И перечитал еще. И еще. Стемнело. Над парковкой вспыхнули фонари. Чуть выше них половина луны светила сквозь грязное облако.

Не знаю, чего во мне было больше: счастья или растерянности.

Вера предлагала мне танцевать с ней вальс на последнем звонке.

II

Лиля потеряла девственность в теплой уютной постельке, без каких-либо выкрутасов за исключением того, что ей было всего четырнадцать, а парню – с юридической точки зрения педофилу – уже девятнадцать лет. Лиля любила рассказывать, что у парня этого был гигантский, как она выражалась, прибор, в котором «чувствовалась надежность». От этих ее рассказов Нуна Косухин бесился каждый раз, как впервые. К педофилу с надежным прибором он ревновал ее сильнее, чем к кому-либо, а ревновал он много к кому: к слабоумным братьям-близнецам из тренажерного зала, куда они с ней вместе ходили; к Антонио, который нравился Лиле не меньше, чем всем остальным; к актеру Сергею Безрукову, за которого Лиля почти серьезно мечтала выйти когда-нибудь замуж; к преподавателю сольфеджио, глядя на которого Лиля якобы мастурбировала под партой во время урока, пока Нуна ждал ее в холодном и бледном, похожем на морг фойе музыкальной школы.

Единственным, к кому он не ревновал ее – был я. И, как выяснилось, единственным, к кому действительно стоило. Но откуда Косухину было об этом знать?

И вот наступил день знаний.

На последней для нас линейке в честь первого сентября мы трое стояли отдельно от одноклассников, чуть позади всех. В наших головах грохотали пригородные поезда и большие белые птицы хлопали грязными крыльями. Отчетливо пахло осенью, солнечный свет не грел.

Из пердящих динамиков доиграла суицидальная песня про первоклассника, на крыльцо вытащилась директриса, чтобы прокурренным голосом говорить в микрофон пафосную бессмыслицу, напутственные слова.

– Ну? – произнес Нуна, вынимая сигарету из пачки. – И не стыдно вам, господа?

Мы уже попытались втроем восстановить подробную хронологию вчерашних событий. Воспоминания прикидывались снами, а сны – воспоминаниями. Каждый из нас помнил мало и сильно при этом недоговаривал, поэтому вместо цельной истории получился уродливый нерабочий трансформер с перепутанными конечностями.

– Нет? Не стыдно? – снова спросил Косухин, прикуривая от спички. Курил он еще смешнее, чем Лиля: затягивался очень сосредоточенно, замирая и глядя внимательно в одну точку, отчего становился похож на тормознутую рыбину.

– А тебе самому-то не стыдно? – ответила Лиля находчиво.

Косухин болезненно усмехнулся, отвел свои голубые, с полопавшимися капиллярами глаза. Обсуждая вчерашнее, каждый из нас предпочел смолчать о некоем подобии групповухи, имевшей место после того, как Банникова проснулась и ушла домой. Групповуха нами осуществлялась в сумрачно-полубоморочном состоянии и в основном при помощи пальцев, но все-таки осуществлялась, и Косухину деться от этого было некуда.

– Да, правда ваша, я тоже набедокурил, – Косухин от нас отвернулся совсем, уставился на директрису. – И тем не менее, по нигде не зафиксированному пацанскому кодексу, я должен был вас отмудохать, Угрюмов.

– Так чего же ты медлишь, голубчик? Мудохай, пизди, хуячь!

– Ни того, ни другого, ни третьего я делать отнюдь не намерен. И на то у меня, как в известной песне, есть пять причин.

– Целых пять? Ну и ну. Косухин, озвучьте же их немедленно!

Я сказал это только чтоб поддержать наше фирменное придуривание. На самом деле причины мне были известны. Косухин гордо молчал, не хотел проговаривать их.

– Ну так что там насчет причин?! – вскипела Лиля, она нервничала каждый раз, когда мы расшаркивались друг перед другом и своими великосветскими кривляниями отнимали ее актрисулькин хлеб.

– Причина первая: ты долбоёбка; вторая: он долбоёб; третья: судьба свела меня с долбоёбами вами! Остальные две можешь придумать сама.

Они переругивались ни о чем, а я увидел Веру в толпе и залип. Ее осеннее пальто показалось мне еще более ярким и более желтым, а Вера – более красивой, чем обычно. Видимо потому, что еще более уродливым после вчерашнего казался себе я сам.

Линейка кончилась тем, что Антонию протащил на своем горбу первоклассницу, звенящую в колокольчик. Об этом грязно и предсказуемо пошутил подошедший к нам Слалом, а после стрельнул сигарету и горестно сообщил, что засадить вчера снова не получилось. А что интересного было у нас? Мы ответили, что ничего.

*

Пять причин Косухина не устраивать драку со мной:

1) Будучи истинным поклонником реслинга, драться он не умел и не любил. Я, в общем-то, тоже, хоть и имел в этом деле чуть больше опыта, горького в основном.

2) «А тебе самому-то не стыдно?». Косухину нечего было ответить на этот простой вопрос.

3) Физическое увечье было вчера получено мной и так. Да еще и весьма изощренное, посерьезнее садин и синяков.

4) Косухин ощущал вину за то, что в начале десятого класса, поддавшись манипуляциям Лили, практически перестал общаться со мной в непростой для меня период первичной влюбленности в Веру, отчего нашей дружбе, по сути, пришел конец.

5) «Мы больше так не будем!», как говорилось в детском саду. Мы пообещали Косухину, что больше подобного не повторится, и он поверил нам почему-то.

Тем же вечером Лиля мне написала:

«Давай попробуем еще раз, ничего ведь и не было толком, ты мне просто штанину своей кровякой запачкал и всё, поэтому предыдущий раз не считается, а мне нужно поставить галочку, понимаешь? Понимаешь? ТЫ ПОНИМАЕШЬ?! Хорошо, что ты понимаешь. Ну так вот, нам необходимо пару недель подождать, пока у тебя там все заживет, а потом еще раз попробовать. Как тебе такая идея? А? Отвечай!»

Шанс отказаться как будто лежал в моем правом нагрудном кармане и грел меня. И успокаивал. Другой совсем шанс отказаться тоже лежал в нагрудном, но левом, у сердца. И беспокоил.

«Мне нужно подумать» – в обоих случаях был мой ответ.

*

– Ну и чего же тут думать? – спросил Косухин, не отрывая глаза от доски, разумеется, имея в виду не Лилу, а Веру. Прошло три дня, а я ей так и не дал окончательный ответ насчет вальса.

– Да странно как-то. Весь прошлый год игнорила, а теперь вдруг вальс.

– Разглядела, быть может.

– Или пожалела. Или решила поиздеваться.

– Кончайте, Угрюмов. Всюду вам видятся злые умыслы, заговоры, проклятия. Мир вовсе не против вас, ему на вас начихать.

– Может, и разглядела.

– Ежели станете романтической парой, извольте сделать алаверды, организуйте мне с ней половой инцидент, я ведь тоже хочу побегать по набережной с кровавым хером наперевес.

Страх Паши Угрюмова № 54: у него появится девушка, и Нуна постарается с ней переспать в отместку.

– Ну-ну, не кривитесь вы так, Угрюмов, это всего лишь шутка.

– Потихише там, – приструнила его Тамара Владимировна. Мы с Косухиным перерисовывали за ней решение задачи, воспринимая его как целостный иероглиф, не различая толком ни формул, ни даже отдельных букв. В конце девятого класса Косухин выбрал физико-математический профиль по расчету, а я по ошибке – никто из нас не по любви. При желании профиль можно было бы поменять, но удивительное безволие, свойственное тогда нам обоим, заставляло нас продолжать наблюдение за inferнальным мельканием малознакомых символов на доске. Экзамен мы надеялись сдать, полагаясь по большей части на интуицию, везение и мышечную память.

– В общем, если вы, Павел, откажетесь, – страстно шептал мне Косухин, – то можете считать, что к вам ангел спустился с небес, а вы ему в рожу харкнули.

На Веру я западал далеко не один. В разной степени Вера нравилась каждому. Даже учитель информатики – пивной алкоголик, похожий на выдру прокуренный хмырь, – на каждом своем уроке хрипло кокетничал с ней, а когда ей нужна была помощь, склонялся к ее монитору специально так, чтобы между его покрасневшей, плохо выбритой рожой и её смугловатой нежнейшей кожей на щеке оставалось несколько крошечных сантиметров.

Привлекательность Веры была общепризнанным фактом. Никого влюбленностью в Веру было не удивить.

Я даже испытывал стыд за свой заурадный вкус и в то же время смутно подозревал, что вполне мог влюбиться в нее как раз потому, что такой очевидный выбор никто не сумел бы как следует высмеять. Но я не видел смысла чересчур глубоко погружаться в подобные рассуждения. Разве имеют значение особенности устройства бомбы, которая уже взорвалась?

«Косухин прав насчет ангела», – я подумал.

Вечером ей написал, что согласен на вальс. Иначе и быть не могло.

*

Поначалу влюбленность его была так возвышенна, что он даже принципиально на Веру не она-нировал. Помилуйте, разве можно себе представить, чтобы Данте надрачивал на Беатриче? Пет-трарка рукоблудничал на Лауру? Юный Вертер передергивал на Шарлотту? Вообще-то, пожалуй, да, при наличии сносной фантазии всё это запросто можно себе представить, но мелкий подобного представлять не хотел, как и Веру с раздвинутыми ногами. Лишь приличным мыслям о ней он по-зволял посещать свою голову, которой постукивался об пол, лежа в темноте нашей комнаты и любуясь своим страданием. По шестьдесят раз в минуту его швыряло из отчаяния в эйфорию и обратно. Ему казалось, что он так может сойти с ума. Он знал про гормоны, он слышал про то, что любовь – лишь набор химических процессов в мозгу, он даже воображал себя циником, но на деле лежал на полу и бился башкой об пол. Запрет онанизма на Веру безвозвратно нарушился лишь весной. Мелкого спровоцировала фотография: Вера лежит, выгнув спину, на ней кружевное бельё; немного согнутые в коленях ноги тянутся вдаль, через весь магнетический фотоснимок, обнаружив который на странице у Веры, мелкий испытал экзотическую смесь возбуждения, сочувствия и зло-радства. Фото появилось там после того, как ведомый любовной досадой некто взломал ее плохо защищенный аккаунт, отыскал компромат в переписке с бывшим бойфрендом, которым являлся Антонио, и немедленно обнародовал. Разумеется, фото исчезло уже через час, но за этот час его многие успели скачать. Больно задумываться о том, сколько терабайт генетической информации очутилось в северодвинской канализации в результате проделки одного лишь несчастного поклон-ника Веры. Кто был тем поклонником – не знает никто. Кроме меня, разумеется. Может быть, вы, читающие это, сумеете догадаться? Кстати, Антонио той весной получил заслуженный, но непривычный тройбан за четверть по одному из предметов.

*

Мы шли в противоположном от города направлении, перебирая ногами мокрые шпалы. Из-за густого тумана казалось, что рельсы проложены через молочную кашу. Лиля внимательно слу-шала, как я рассуждал со спокойствием игуаны:

– Обидно, конечно. Бинго с первого раза, с нулевого, можно сказать. Но ведь мы с тобой заслужили это. Мы неправильно поступили тогда и снова собираемся неправильно поступить.

– И почему же ты согласился?

– Сейчас или тогда?

– И тогда, и сейчас.

– Не знаю.

Иногда нам навстречу выныривали из тумана собачники или женщины в спортивках, кото-рые смогли себя убедить, что прогуливаются «на природе» в свой выходной. Выходные – это плохо. В выходные у родителей тоже выходные, и поэтому они дома. Будни – тоже плохо, потому что школа, но школу можно и нужно прогуливать. С другой стороны, родителей прогуливать тоже можно, чем я и занимался.

– Ничего мы на самом деле не заслужили, понятно тебе? Это Нуна во всём виноват. Суёт в меня всякую дрянь, я говорю не надо, а он всё равно суёт. Ручки от расчёсок, карандаши, пулыт от телека засунул недавно, свинья.

Лиля заглядывала мне в лицо, пытаясь выявить ревность. Но я даже себя убедил, что помимо привычного к ним отвращения не почувствовал ничего.

– У него, кстати, то же самое, что у тебя. Пятна и чешется. Сдам анализы, и узнаем, что с нами творится.

– Надеюсь, что-то смертельное.

– Посмотрим. Завтра к врачу. А послезавтра что, помнишь?

- Вторник?
- Первая репетиция!
- Я знал, что он согласится.
- Почему?
- Потому что он тебя любит.
- А вот и нет. Я просто много чего наобещала ему взамен.
- Например?
- Например, что во время секса буду его называть Гроссмейстер. Дикая тупость, по-моему, но

он давно уже просит.

Гроссмейстер! Я ржал, запрокинув голову в небо цвета беды.

– Наверяд ли он меня любит, вот что. Если и любит, то точно уже не так, как раньше. В последнее время такое чувство, что ему на меня становится похуй. Но ты в этом не виноват, если что. Просто мы слишком давно уже вместе. Целый год, представь? Я бы многое отдала, чтобы все обнулилось и заново началось. Чтобы было самое начало свежих отношений.

– А мне бы наоборот хотелось начало перескочить. Чтобы я с кем-то встречался сразу же в средней, спокойной стадии, где уже нет всей этой романтики-хуянтики, всех этих прикидываний, заигрываний, флирта и прочего кала. Бесят меня эти игры.

– Они тебя бесят, потому что ты в них играть не умеешь! Ты слишком для них холодный. И первые полноценные отношения у тебя если и будут вообще, то лет в двадцать пять, не раньше.

– С чего ты решила?

– Я вижу тебя. Я же ведьма. Не знал?

На мосту мы с Лилей остановились. Внизу непрерывно двигалась темная ледяная вода. Лиля аккуратно плюнула с высоты, просто выпустила по-детски слюну.

– Знаешь, почему у нас ничего не получилось в тот раз? Потому что я сухая была, – заявила она. – А сухая я была знаешь почему? Потому что мы не целовались.

Едва успев это проговорить, она резко ко мне приблизилась, и во рту у меня оказался ее язык. Я не понял, что мне с ним делать, и через пару секунд Лиля разочарованно выскользнула обратно, а я поспешил вытереть рот рукавом ветровки.

– Ты целоваться разучился или как?

– Да я и не умел никогда.

– В каком смысле?

– В смысле не целовался ни с кем.

– Ты шутишь? Ни разу? В семнадцать лет? Ты серьезно? Нет, ты серьезно? Ни с кем? Ни разу?

В семнадцать лет?

Она напомнила мне одноклассниц, ушедших после девятого – Иванову и Веселуху, – которые донимали меня, еще даже близко не вступившего в пубертат, подобными вопросиками, подразумевающая, что отрицательные ответы на них являются самым постыдным, в чем только может сойтись человеческое существо.

Лиля допрашивала меня еще и еще, пока не сказала:

– Ладно, гуманоид, давай научу.

Она проговорила мне базовую инструкцию, и я старательно эту инструкцию выполнял. Лиля утвердительно мычала время от времени, таким образом давая понять, что я делаю всё как надо, и трогала через джинсы, проверяя мою готовность. Потом глаза ее блеснули смесью надежды, вины и беспомощности. Она сказала:

– Ну всё, идем.

Мы чуть спустились по насыпи и пробрались под самый мост, оказались на тесной плоскости. Я нервничал и разглядывал разнообразную, в том числе нашу с парнями наскальную живопись, давно замазанную городскими властями везде, кроме подобных мест. «Опусти ебало!» – гласила надпись, выполненная дешевым маркером на изнанке моста, служившей нам потолком.

– Ну что? Не передумал? Или, может, я слишком испорченная для такого чистенького мальчика?

– Вроде бы нет, – сказал я дрожащим голосом. – Не передумал.

Лиля стала развязывать на кроссовке шнурки.

– Знаешь, классе в восьмом, – болтал я, чтобы отвлечься, – мы с Косухиным очень хотели здесь оказаться, когда поезд идет по мосту. Заценить, насколько это громко. Но у нас так ни разу и не получилось.

– Потому что вы неудачники, – она снимала штанину.

– Может быть. Мы либо приходили поздно, либо уходили рано. Специально его выжидать было как-то тупо, а узнавать расписание – скучно. Такие дела.

Она аккуратно присела на узкий, как раз на уровне задницы выступ, предварительно стряхнув с него окурки и бутылочные звонкие крышки. Я достал из кармана презерватив, украденный из отцовской тумбочки.

– Убери. Это мерзко. Как будто тебя трахают пальцем в резиновой перчатке. Мне и так к гинекологу завтра идти, отдуваться за нас троих.

Лиля проследила за тем, как я спрятал гладкий, с зазубренными краями квадратик обратно в карман.

– Я надеюсь, ты не додумаешься в меня кончить?

– Чтобы кончить, для начала надо начать или вроде того. А в тот раз, как ты помнишь, с этим было не очень.

Бетон, окружающий нас, едва заметно вибрировал.

– Ну так давай, – она направила на меня стеклянный взгляд исподлобья и медленно раздвинула ноги, будто створки окна с гипнотическим видом. – Начинать.

*

Мы выбрались из-под моста и, стоя под моросющим дождем, смотрели вагонам вслед. В нашем восприятии город располагался на самой окраине мира, и получалось, что поезд ехал за край, неясно куда, сквозь болота и камыши, вдоль мрачного побережья.

– Однажды я видел собаку, которую он переехал напополам.

– О да, это именно то, что каждая мечтает услышать сразу же после секса. Мудак ты, Угрюмов. И чудик.

Город надвигался на нас. Мы возвращались туда предателями, теперь уже безусловными, без возможности оправдаться бухлом или тем, что ничего и не было толком. Всё было.

Лиля спросила:

– Совестно?

– Только если чуть-чуть.

– Пройдет, – отмахнулась она. – Понравилось?

– Вроде бы да. А тебе?

– Было не так уж и плохо. Нормально. Даже на секунду показалось, что ты мне немного нравишься. А насчет финального происшествия – не волнуйся, котенок, у меня безопасные дни.

– Случайно вышло. Из-за этих пятен чувствительность стала другая.

– Да я понимаю, у Нуны тоже непредсказуемо. Но постарайся все-таки больше не делать так, ладно?

– Ага, постараюсь.

– Вот я и подловила тебя, Угрюмов! Какое «ага»? Какое «постараюсь»? Ты забыл, что это последний раз был? Я поставила галочку, всё, ничего у нас больше не будет, даже и не мечтай!

– Не мечтаю.

В каком-то смысле я даже обрадовался, поскольку чувствовал, что теперь мне совсем уже сложно, почти невозможно будет отказаться, если Лиля предложит опять.

– Разве что еще один раз, – ухмыльнулась Лиля. – Самый-самый последний. Или все-таки два? Или три? – издевалась она надо мной.

В школе было по-настоящему хорошо только вечером. Блистали безлюдные коридоры, молкрые после работы техник; грузные тетки в актовом пыхтели на разноцветных ковриках; вахтер разглядывал сканворды вместо того, чтоб разгадывать их.

А по вторникам мы занимались вальсом в малом спортивном зале на втором этаже. В вальсе, как выяснилось, сложного нет ничего.

– Не танец, а примитив полнейший, – заявила молодая хореографичка, похожая на резинового пупса. – Всё, что вам нужно – это запомнить: вперед шагаем правой ногой, назад отступаем левой. Запомнили?

Я запомнил, я сразу усвоил это и разобрался, но проблема вся заключалась в том, что мне надо было проделывать это не с Баней, не с Нуной, не с Сергеем Безруковым и не с Тamarой Владимировной, а с Верой. Я понял, а буду сбиваться, как только нас попросили встать в пары, и Вера, насмешливо вздернув бровь, вплотную ко мне подошла.

Находясь впервые так близко, касаясь, вдыхая и прочие розовые слюни размазывая, я становился мягкой, набитой сахарной ватой игрушкой и путал всё, что можно было напутать, то есть не так уж и много, всего-то левую ногу с правой, а правую – с левой.

– Да что, блин, с тобой такое? – разозлилась Вера, когда из-за меня мы в очередной раз сбились, так и не пройдя целиком скромный путь от шведской стены до окон. Я мечтал задохнуться, боялся расхохотаться, не знал, что ей отвечать.

Иногда – гораздо реже, чем я – Вера тоже косячила и тогда виновато хихикала, уткнувшись своим неправдоподобно тонким, тончайшим носиком мне в плечо, а я смотрел на хищные листья рябины, дрожащие в нервном фонарном свете, и понимал, что не вывезу, что никакого вальса не будет, что если со мной раз в неделю будет случаться такой приход, то я просто ёбнусь и всё, какой тут может быть вальс?

Эйфория со временем не ослабла, однако уже на второй репетиции я умудрился сделать ее союзницей, превратить в концентрацию и кураж, так что мы танцевали быстрее и правильней всех: и косолапые Лиля с Нуной, и жалкие Баня с Валеи, и неидеальные Катя с Антонио, и все остальные горе-танцоры явно отсасывали у нас. Понаблюдав за каждой из пар, Вера с облегчением выдохнула:

– Мы не самые худшие, ладно.

– Не самые худшие? Да у нас получается лучше всех!

– Может, даже и так. Но ты особо не расслабляйся.

Расслабиться даже при сильном желании я не смог бы. Знала бы она, но она не знала. Ей было этого не понять. Равновесие не покидало ее, голова от танцев со мной не взрывалась. Ладони у Веры были всегда холодные, и после каждой проходки она с еле заметной брезгливостью торопилась их высвободить. Я вспоминал, как отец говорил, что нельзя руками трогать тритона, он хладнокровный, и от наших касаний ему горячо. Вере не было горячо, только если немного противно. Да, противно, и что с того? На репетициях я выхватывал кайф, который мне от нее раздавался автоматически, независимо от ее ко мне чувств или отсутствия таковых. Я был в жирном плюсе, в беспронигрышной ситуации, по крайней мере, активно пытался в этом себя убедить, наблюдая через окно в коридоре, как Вера ускоренным шагом двигала в сторону остановки. Она каждый раз одевалась и уходила быстрее всех. Не позволяла себе тратить время впустую, а я только этим и занимался.

Вера была слишком взрослой. Даже более взрослой, чем многие взрослые. В шестнадцать уже подрабатывала официанткой в понтовом кафе с золотыми гирляндами на витрине и отчетливо знала, куда, почему и зачем планирует поступать, в то время как я делал вид, что готовлюсь к экзаменам по нелюбимым предметам, практиковался в самообмане, писал и записывал пафосный рэп на краденые инструменталы, до последнего откладывал лечение от кандидоза, напивался у Слалома в гараже и путался с девушкой друга. В общем, плыл по течению, к зловонным водам которого Вера старалась даже не приближаться. Но мы танцевали в паре.

III

– Можешь называть меня Верой, если это тебе поможет, – предложила Лилия, полуобернувшись и хитро на меня глядя. Она лежала на животе, слегка оттопырив плоскую задницу, а я был сверху, и дышалось мне тяжело, кончить не получалось никак. – Давай же, я твоя Верочка, повалясируй со мной, мой сладенький!

В середине осени Лилия стала приходить ко мне регулярно. Поначалу она строго чередовала дни, когда приводила к себе Косухина, с днями, когда приходила ко мне, но быстро забила и легко могла ограничиться интервалом в пару часов. При этом она продолжала искать причины, по которым снова не получилось «поставить галочку». А когда оправдания кончились, она стала ко мне приходить «по приколу», «воспринимай это как приколу», – говорила она. Но каждый раз перед тем, как прийти, симулировала сомнения, как бы подталкивала меня к тому, чтобы я ее уговаривал. «Хочешь – приходи, не хочешь – не приходи», – якобы равнодушно печатал я ей, а у самого под столом колени дрожали от похоти.

Ожидание нравилось куда больше чем то, что было потом: пульсация салатовых обоев, пот, шум в ушах и через раз пустая резинка в конце (на время лечения мы по совету ее врача все-таки стали использовать их). Больше всего мне нравилось выходить на застекленный, с видом на двор балкон в родительской спальне и смотреть, как она мальчишеским шагом идет ко мне через двор. Если уже идет, то точно не передумает.

В этот раз, едва проникнув в квартиру и не успев еще даже снять свою стремную шапку-панду, объединенную с рукавицами-лапами, Лиля застала меня врасплох объявлением:

– Внимание, новость: ты нравишься Вере! А она тебе нравится? Говори!

При всей легендарной холоднокровности я сразу стал ошелолено расспрашивать, откуда у Лили взялась подобная информация, чем моментально выдал себя.

– Так я и думала, – не без печали сказала Лиля, проходя в мою комнату. Первым делом она, как всегда, взболтала аквариум, чтоб разбудить тритона. Затем подышала на стекло и веснушчатым пальцем вывела пенис-рисунок. – А чем она тебе нравится, а? Своим противненьким голоском? Или толстым отъевшимся задом, на который все парни пялятся как под гипнозом?

– Давай, говори, откуда инфа! – я старался не отклоняться от курса.

– Сначала дело, потом болтовня, – она сбрасывала одежду. Диктовала свои условия, как обычно.

Через сорок минут я был сверху и задыхался. Мы поменяли позу, она еще пару раз назвала себя Верой, я настроился и, ритмично двигаясь, укрепился в своем настрое, как вдруг услышал металлический звук, с которым в замок входит ключ.

По малейшим нюансам того, как именно он был вставлен, и тем более как был провернут, и тем более как был нажат звонок после того, как дверь не открылась (щеколда была предусмотрительно мной задвинута), я понял, что это отец, который вообще-то должен быть на работе.

Лиля судорожно подбирала с пола и натягивала свое шмотье, а отец продолжал насиловать дверной звонок, нажимая и ме-е-едленно отпуская кнопку, делая таким образом противную паузу между «динь» и «дон». Я ощущал, как он свирепеет за дверью: еще чуть-чуть – и начнет колотить ногой.

Мне резко вспомнился один случай. Я поднимался на лифте домой, а сосед-приятель, с которым я только что попрощался, решил меня разыграть: находясь на первом этаже, он слегка раздвигал дверцы лифта, срабатывала защита, и кабина останавливалась через каждые пару секунд. Так я добирался до девятого этажа не одну и даже не две минуты, сверху кто-то долбил ногой, а когда двери наконец-то разъехались, передо мной был отец. Все это время он ждал. Увидев меня, отец, очевидно, подумал, что я так игрался с лифтом. Он ничего не сказал мне, просто схватил за горло, выволок на площадку и швырнул в сторону нашей квартиры, а после спокойно поехал вниз.

Из беспокойства, но не за себя, а за его нездоровое сердце, и без того подвергаемое нештучным алконагрузкам, я подошел и, выгадав паузу между воплями дверного звонка, осторожно сказал:

– Пап, я через минуту открою, подожди немного, окей?

Он ничего не ответил мне, но названивать перестал и ногами долбиться не начал. Даже интересно: о чем он думал, стоя там под жужжание счетчиков, пока Лиля натягивала ботинки и надевала куртку в прихожей.

С металлическим лязгом я отодвинул щеколду. На Лилю выпучились раздраженно-испуганные глаза отца. На отца смотрели пластиковые глаза замызанной шапки-панды. Лилия подняла голову:

– Здравствуйте!

– Здравствуйте...

Она протиснулась мимо него в наш темный вонючий подъезд и стала спускаться по лестнице.

– Привет...

– Привет.

Чтобы чем-то себя занять, я зашел на кухню, наполнил чайник, поставил его на плиту. Какое-то время просто стоял, пока окончательно не отдышался. Потом начал мыть посуду.

– Я вообще-то только за документом кое-каким приехал, – слышалось из коридора, – сейчас обратно уже. Надо было мне просто сказать. Зачем сразу выпроваживать-то?

Ага, сказать что? «Папа, надолго ли ты? А то я тут трахаюсь с девушкой друга, и у меня никак не получается кончить, потому что она мне вообще-то не так уж и сильно нравится, а нравится мне другая, но трахаюсь с этой, сам не знаю зачем, а с той только вальс вальсирую?» Это сказать?

– Всё, я пошёл, – отец заглянул на кухню и показал мне синюю папку с документами.

– Давай, – ответил я и продолжил намыливать сковородку.

Внутренняя, деревянная дверь, шаркнувшись о пластиковый шипастый коврик, закрылась. В металлической, внешней двери два раза, теперь в обратном уже направлении, повернулся ключ.

Я домыл посуду, вышел из дома и под затертые треки, в которых молодые рэперы начала десятых занимались унылым самокопанием, прошел свой излюбленный, почти ежедневный полуторачасовой маршрут: Карла Маркса – Труда – Ломоносова. Мне всегда становилось немного легче после такой прогулки, поэтому я ее совершал практически каждый день. Выходил перед самым возвращением родителей с работы, пытался так подгадать, чтобы поменьше времени быть одновременно с ними в квартире. По пути развлекал себя мыслями, надумывал ерунду. В этот раз я временно навязал себе возвышенное чувство вины за то, что, сношаясь с Лилей, якобы предаю свои чувства к Вере. Получилось кайфово.

Дома я подключился к вай-фаю и прочитал сообщение:

«Когда я спускаюсь от тебя по лестнице – мне всегда грустно, ты знал? Я иду и думаю, что надо Нуне во всем сознаться и больше к тебе никогда не ходить. Но между третьим и вторым этажом на стене написано “Хочешь трахать? Трахай! Хочешь бухать? Бухай!”. Я это читаю и грусть проходит».

«Круто», – ответил я.

«А по поводу Веры на самом деле не знаю, – написала она, – но помнишь, как на первой репетиции она двумя руками разгладила тебе воротник на рубашке? – Я помнил. – Вот мне еще тогда показалось, что ты ей нравишься. А вчера, когда мы перед началом прогона стояли в своем углу, девчонки у нее напрямую спросили, нравишься ли ты ей».

«И что она ответила?» – с волнением напечатал я.

«Сказала: “отстаньте”».

Действительно, что ли, нравлюсь? Разглядела, как выразился Косухин? Я упал на диван и уставился на свое отражение в глянцевом натяжном потолке.

*

– Поднимаем! – скомандовала хореографичка.

У меня была выработана своя авторская техника поднятия Веры: присев на корточки, окавшись лицом напротив ее промежуности, я обхватывал в районе коленей обтянутые матовыми лосинами ноги и скользил по ним, поднимаясь, до тех пор, пока мои предплечья не упирались в хорошо выступающий зад. Когда упирались – я полноценно уже вставал и вращался, прижавшись ухом к плоскому животу, в котором булькали, перевариваясь, молочные шоколадки, регулярно подбрасываемые несчастными олухами-поклонниками в карманы ее пальто.

– Ты сволочь, животное, варвар ты, гад, уёбище, пидорас! – проклинал меня сколиозный мой позвоночник, пока Вера, не до конца привыкшая еще к поддержкам, хихикала там наверху от страха.

«Угомонись, – мысленно говорил я ему, – уже точно не будет хуже, чем в тот раз, когда на репетицию зачем-то приперлась свинойрылая завучиха и зачем-то заставила нас совершить этот ёбанный подвиг пять раз подряд».

– Опустили! – прозвучала команда. – Раз-два-три, раз-два-три!

Я стоял на одном колене, а Вера вальсировала вокруг меня, ощущалось по-идиотски, но зато можно было после поддержки слегка отдохнуть. Антонию в противоположном конце зала хитро мне подмигнул. Еще на предыдущем занятии он спалил мою технику поднимания Веры и растрепал о ней всем пацанам, когда мы стояли в своем углу перед началом прогона. Мухин пожал плечами: «Если есть во что упереться, то почему бы и нет?» Его техника тоже была необычна: он, поднимая партнершу, немного ее подкидывал. Если сил духуя, то почему бы и нет?

Мы занимались уже не в спортивном зале, а в актовом, хореографичка еле-еле уговорила фитнес-толстух поменяться: репетировать надо там, где и будет последний звонок, чтобы мы заранее привыкали к неровностям пола, чтобы не обосрались, то есть не растерялись в ответственную минуту, ради которой и делалось всё.

– Хорошо. Давайте еще раз. Полностью и под музыку.

Девчонки с мальчишками разбредились по разным углам, как боксеры по окончанию раунда.

– Ну как? – ехидно спросил Антонию, намекая понятно на что.

– Да ничего, не жалуюсь.

– Не жалуется он. Ты кайфуй! Пользуйся положением. Мы, вообще-то, тебе все завидуем.

«Ты-то чему, мудила, завидуешь? – подумал я. – Впрочем, ходит легенда, будто, когда вы встречались, Вера тебе умудрилась не дать».

– Завидуем, парни?

Валя пожал плечами. Косухин мечтательно улыбнулся.

– Я в нетерпении! – хрипло выкрикивал Мухин. – Ноги требуют танца! Маэстро, музыку!

– Рот закрой, – осадил его хореографичка, которую он порядком уже подзаёб своими тупыми шутками и негнушимися ногами.

– А вы с характером женщина, я посмотрю.

Она продолжила невозмутимо искать в телефоне трек. И нашла.

Это был не классический вальс, а плаксивая песня азербайджанской певицы, с которой та выступала на Евровидении. Лирическая героиня страдала из-за измен своего мужика, но припев исполнялся с таким воодушевлением и напором, что можно было подумать, будто на самом деле измены ее возбуждают. Понятия не имею, почему девчонки выбрали именно эту песню.

– Готовы прожаривать тёлок? – задал Антонию свой коронный вопрос.

– Всегда готовы! – ответил один только Муха, клоун при короле.

Мы друг за другом, синхронно, под музыку стали вышагивать в центр зала. Остановились там, и только тогда партнерши выдвинулись навстречу. Мне нравилось смотреть, как Вера ритмично ко мне приближалась. Пожалуй, из всей композиции танца мне это нравилось больше всего. Сразу за Верой шла Лиля, Косухин ждал ее прямо передо мной.

Спустя полтора оборота по залу мы снова услышали:

– Поднимаем!

Но едва я дотронулся ухом до живота, как послышался грохот и сразу смех. Это снова Валёк-вундеркинд не смог удержать партнершу. Несчастный стоял, разведя в растерянности руки, а Банникова поднималась с пола, шепотом проклиная его.

– На сегодня, пожалуй, хватит, – устало сказала наша наставница и отрубил музыка.

*

– Понимаешь, она сама по себе тяжелая, полноватая, так ещё и болтается там наверху из-за этих своих седативных, как будто спит, вот поэтому сложно её удержать, это физика, понимаешь?

– Да, понимаю, Валя. Я же на физмате учусь.

Мы шли по темному коридору, фонари короткими бликами отражались в его очках.

– Все из-за этого думают, будто я какой-то слабак. А она с каждым разом все больше разочаровывается во мне как в мужчине. А ведь я не страдаю нехваткой тестостерона, у меня даже борода растёт, хоть и не очень густая, – нес он какую-то совсем уже чушь, – понимаешь?

– Понимаю, Валя, базару ноль.

С трудом от него отвязавшись, я схватил в раздевалке свой пуховик и вышел на школьный двор. Снег сыпался с неба кусками. Я добежал до улицы, по которой Вера – я знал – ходила на остановку. Увидел ее. Узнал по ярко-желтому цвету пальто. Не пытался равняться, держал дистанцию, будто в миссии, где кого-нибудь нужно выслеживать. Шел за ней совсем незаметный, благодаря интенсивности снегопада.

Автобус приехал сразу, почти пустой. Вера зашла в переднюю дверь, я прошмыгнул через заднюю. Похожая на кучу тряпья кондукторша дремала, ленилась встать. В автобусе было холодно, окна заледенели. Я наблюдал за Верой внимательно. Вот она снимает пушистые белые наушники, которые у нее вместо шапки, отряхивает от снега. Вот протирает стекло рукавом, но виднее от этого не становится. Вот уставилась в телефон, а вот неожиданно поднимается и через весь автобус идет в мою сторону, глядя прямо в глаза. Садится рядом со мной.

– Ну и чего тебе надо? – спрашивает.

– Давно ты меня заметила?

– На остановке еще.

– «Ивушка» остановка, – едва разборчиво произносит водитель через шипучий динамик, и двери лениво приоткрываются, хочется выбежать через них. – Следующая «Центральный университет».

– Чего ты хотел? Рассказывай.

Кондукторша все же подходит к нам:

– За проезд предъявляем.

Вера показывает ей проездной, а я насыпаю в ладонь монеты и начинаю рассказывать, раз уж не стал выбегать:

– Ну вообще я хотел поцеловаться с тобой, проводить до дома, покувыркаться, ну, может не сразу, а через день или пару недель, потом поступить в один универ, расписаться, найти работу, взять в ипотеку квартиру, сделать троих детей, завести телевизор, собаку и кошку, состариться вместе и в один день умереть. Но сначала поцеловаться.

Мы подъезжаем уже к драмтеатру, когда я заканчиваю свой треп.

– Ну так давай.

– Что «давай»?

– Остановка «Драмтеатр».

– Целоваться.

– Следующая остановка «Спорттовары».

– Целоваться?

– Я ведь и передумать могу.

Уверен, что если приближусь, она рассмеется в автобусный потолок и уйдет, но все-таки я приближаюсь к ней, а она не смеется и не уходит, она приближается тоже, и автобус везет и везет нас, и мы целуемся в нем.

Это длится не знаю сколько. Вроде недолго, а вроде и дольше некуда. Когда отлипаем наконец друг от друга – в зеркале заднего вида я вижу, как на нас смотрит и лыбится Слалом, восседающий на водительском, как всегда. Он лишь покачивает укоризненно своей говяжьей башкой, почему-то нисколько не беспокоясь за чистоту «салона». Из магнитолы громко играет незнакомая мне любимая моя песня. Маленький глупый смысл. Рядом со Слаломом, тупо уставившись в одну точку, Банникова сидит и держит большую бутылку паленого вермута на руках, как младенца. Ритмично дышит, полностью сосредоточенная на этом своем дыхании. Я рассекаю небо над ледяной пустыней. А где же Косухин? Косухин пошел отливаться. Он, запрокинув башку, глядит на кипучие звезды и сверлит горячей струей сугроб. Песни полярной ночи во сне. Это прекрасно, этому можно и позавидовать, но я сам недавно сверлил, а сейчас сижу тут на заднем, и Лилия рядом со мной. Мы держимся за руки, потому что мне нужен контакт. Так бывает. Бывает, что нужен. Бывает, что извиваешься, как совсем озверевшая тварь, плюешься фрагментами рэпа, ныряешь в черные дыры беспамьятства без акваланга, рычишь и каждые пять секунд умоляешь, чтоб кто-нибудь дал тебе руку, мусолишь, ощупываешь ее, живую эту материю, сука, ебучую теплую плоть, потому что чувствуешь, будто сам ты давно уже мертв, а может быть, и не жил никогда. Катишься в выдуманном автобусе. Город из тех, что хочешь быстрее покинуть. Стоишь на месте в машине без двух колес. – Ты неплохо уже умеешь. А помнишь, совсем не умел? – произносит неподалеку припухший от поцелуя рот. Съедают мои детали ветер и снег, давай. Банникову несколько раз передергивает, почти пустая бутылка вываливается под сиденье, руки теперь свободны, и глянцева, голубоватая слизь вырывается на сведенные вместе ладони. Банникова зачарованно вглядывается в это рвотное озерцо, а Слалом уже подорвался, уже матерится и мечется по гаражу в поисках тряпок, салфеток, пакетов, таза или ведра. Мы с Лилей снова целуемся. Это длится и длится. Куда бы мы ни летали. Наши липкие языки поочередно завязываются всеми существующими узлами. «Остановка "Спортовары"», – объявляет водитель автобуса. Быстро проходит осень. Тянутся долго зимы.

В мое восприятие прорывается грохот входной двери. Я спинным земноводным мозгом чувствую, как Нуна, вернувшийся с улицы, подходит к машине, заглядывает в окно. Чувствую, но не делаю ничего, продолжаю вязать наш слюнявый узел, хочу узнать, чего любопытного он примет.

И он, как в игре GTA, выволакивает меня смеющегося, совсем размякшего от бухла, из машины, тащит через бензиновую вонь гаража, открывает дверь в темноту и швыряет меня на снег. Пинает, но бережно, понарошку, будто отец или рестлер, хотя рестлер ни разу меня не пинал. Я не могу перестать смеяться, я всё сильнее смеюсь и мне уже кажется, что еще чуть-чуть, и вертлявые мелкие звезды вместе с разбросанными по небу ошметками северного сияния сорвутся вдруг и посыплются в мой широко распахнутый рот.

*

Про автобус он все, разумеется, сочинил. Не ехал он с ней ни в каком автобусе и тем более не целовался. Нет, он, конечно, пытался за ней увязаться в тот вечер, напрашивался проводить, был мерзко настойчив, фальшиво самоуверен, намерен всё разрулить, но на полпути к остановке Вера стала не просто отказываться от провожаний, а натурально кричать на него, чуть ли не биться в истерику, говорить, чтобы шел домой. И он пошел. А она пошла дальше, на остановку, но села там не в автобус, а в серебристый автомобиль, за рулем которого был относительно новый ее бойфренд. Вере категорически не хотелось знакомить мелкого с ним, поскольку бойфренд слишком часто носил обручальное и погоны. Лишние слухи не были Вере нужны. И пока мент-бойфренд, прибавив погромче музыку, ехал с Верой в гостиницу, мелкий плелся домой и в который раз рассуждал сам с собой о настойчивости. Мелкому было искренне непонятно, почему он должен кого-либо добиваться, и в

чем вообще разница между добиваться и навязываться? Если необходимо добиваться, то значит, что это нужно только ему одному, а если это нужно только ему одному, то чем это принципиально отличается, допустим, от изнасилования? Откуда взялись вообще эти догмы: девчонки любят настойчивых, наглых, девчонки любят ломаться и набивать себе цену... Что это за выражение такое вообще «набивать себе цену» глупое? Он вспомнил о том, как в десятом классе купился на всю эту чушь и несколько месяцев проявлял настойчивость. Получалось даже нелепее, чем сегодня, только еще и длилось целых несколько месяцев. Настойчивость его заключалась в том, что раз в неделю, с унылой стабильностью он писал ей, однообразно звал погулять, а она тактично отказывалась, находя отговорки, которые становились все более глупыми и абсурдными по мере того, как он продолжал ей писать по инерции, предлагал, приглашал до тех пор, пока вместо того, чтобы выдумать новую отговорку, она наконец не ответила нет, извини-отвали, не получится, в смысле не в этот раз не получится, а вообще, в смысле хватит может уже? И невеселый смайлик. Вспомнить об этом было так гадко, что он впервые за долгое время опять захотел в гараж и через несколько дней оказался там. А когда возвращался оттуда, я специально даже проснулся, чтоб не посредством сна, а своими глазами узреть это пьяное чучело. Он с пустующим взглядом сидел на диване, практически слюни на пол ронял. Мать стояла напротив и не ругалась, а просто пыталась поговорить, минимальный произвести диалог хоть о чем-нибудь, хоть о погоде. Но он ни слова не понимал. «Надо же, вчера еще был такой маленький, а сегодня пьяным уже нажрался. Быстро время летит», – поговорила сама с собой мать и оставила нас вдвоем. Ничего интересного более не предвиделось. Он уснул, и я тоже уснул. Ему ничего не снилось, а мне снилось всё.

*

Ртутная лампа, подмигивая, звучала так, будто в ней болезненно что-то лопалось. Ее свет отражался в остатках сгущенки, размазанных по тарелке. Гремела посуда в далекой раковине. Шел урок, и в столовке было безлюдно. Меня тошнило.

Косухин вернулся за стол и поставил передо мной еле теплый стакан сладковатой коричневой дряни. Вся дрянь оказалась во мне.

– Ох, не умеете, Павел, вы медленно пить. В этом ваша беда, пожалуй.

– И что же? Вы вообще умеете мало чего, даже спяну лежащих как-то по-бабьи, не в полную силу пинаете.

– Ах, опять вы об этом? А ведь я уже извинился.

– Могли бы и не извиняться-с. Как-никак, вы были немало обескуражены тем, что увидели-с. Я про наши с Лилией шалости, ежели что.

– Да ну бросьте, Угрюмов, ей-богу! Не так уж я был и обескуражен.

– Нет-нет, оставьте, Косухин, вас решительно можно понять!

Он опустил свой широкий палец в лужицу чая и стал выводить узоры.

– На самом деле, милый мой Павел, я должен признаться, что всё мне стало известно какое-то время назад. Более того, я считаю необходимым вас известить, что вся школа вовсю уже сплетничает о ваших амурных делах.

Пара дрейфующих пузырей шевельнулась на дне меня.

– А что же это вы так покраснели резко, голубчик? Народец у нас недалекий, но наблюдательный. Немало кто видел, как на уроках литературы, где вы обыкновенно сидите вдвоем, Лилия водит ладонью вам по ноге, а то и по причиндалам.

Я заглянул в свой стакан, забыв, что там ничего больше нет.

– Лилия, к тому же, особа совсем не из скрытных. Всё разболтала влюбленным в нее дебилоидам-близнецам из качалки. А те ей повадились слать фотоснимки своих близнецовых хуёв, хорошо не совместные хоть. Она, разумеется, эти хуи показала мне, потому как большая охотница провоцировать на ревность, вы уже это и сами наверняка заметили. И я спровоцировался, не скрою. Написал одному из них, мол, не охуел ли этот обмудок случаем. А он мне возьми и ответь, что ему Лилию жалко, что если бы Лилия для нас с вами, Павел, хоть что-нибудь значила,

мы бы давно уже лица друг другу сломали, а мы вместо этого поочередно, по графику спим с ней и делаем вид, что это в порядке вещей. Представляете? Доигралась Лиля в свои провокации. Я ее тщательно допросил, и она мне во всем созналась. Это было с неделей назад примерно. А вы, я гляжу, и не знали? Она вам не рассказала. Ну да. Это я ее попросил.

Раздался звонок с урока. Косухин смахнул свой чайный узор со стола.

– Я к чему это всё? А к тому, что очередь, график. Вы не против, Угрюмов, если сегодня по графику буду я? Замечательно, вот и пойду, пока ее мать не пришла с работы. Увидимся завтра. Вернее, сегодня, на вальсе.

Он вальяжно двинулся к выходу, проводя рукой по столам, на которых колючими точками выделялись крупинки засохшей гречки.

«На вальсе... Точно, еще же вальс...»

Мне смутно вспомнилось, что вчера я Вере что-то писал. Тревожно достал телефон. «лблю и всегда буду любить» – обнаружил я с ужасом в переписке. И следующим же сообщением: «иди нахуй хаха хахаха!».

IV

Если в новогоднюю ночь не размазывать оливье по тарелке, а выйти из дома сразу после полуночи, то запросто можно пройтись, ни разу не напоровшись на обезумевших от празднования бычар: им ведь нужно какое-то время, чтобы очухаться после курантов, переварить поздравление президента, выпить то, что налить, налить и выпить ещё. В среднем на это уходит около получаса. Тридцати минут нам как раз хватало, чтобы дойти до квартиры.

Мы с Валея встретились возле школы.

– Это мне? – я кивнул на букет белых роз.

– Не смешно, – уныло ответил Валя. – Пошли.

Под нарастающий хруст фейерверков мы топали в центр. Родители Вали праздновали не дома и разрешили ему позвать друзей, даже сделали нам поесть и закупили вина. Но вопреки всему этому Валентин был демонстративно подавлен. Откуда цветы? Почему такой грустный? Что за был у нас на районе в полночь? В ответ на все эти вопросы он тяжело вздыхал, отрицательно шевелил вундеркиндовой головой с запотевшими на морозе очками и повторял, что я всё равно его не пойму.

Только уже оказавшись в квартире, Валя заговорил:

– Всё намного, намного хуже, чем ты мог представить себе, мой друг. Мое сердце разбито на тысячу мелких осколков, – всю дорогу, наверное, думал, всерьез подбирал трагические слова в стиле тех, которыми мы с Косухиным кидались, будто козявками. – Я безнадежно, я невзаимно, я очень несчастно влюблен.

– В кого? – спросил я ради приличия. И так догадывался, в кого.

– В ту, которая пару недель назад перестала являться на репетиции, отказалась от вальса со мной. А теперь и совсем отвергла, – он говорил, загребая в совок шерстяную кошачью рвоту, пока сам кот, любитель прогулок по снегу, царапался рыжими лапами в обивку входной двери. – За пару минут до курантов я отправил ей длинное сообщение с признанием и подошел к ее дому. А она прочитала и ничего не ответила. Представляешь? Совсем ничего.

– Может, еще ответит. Растерялась, может? Может, уже ответила!

Валя обреченно покачал головой, но все же не удержался и заглянул в телефон.

– Увы. Новогоднего чуда не произошло, – он обвел взглядом стол со жратвой. – А ведь это все для нее. Для нее я все это устроил. Родителей уговорил.

– Поэтому вино?

– Да. Хотелось, чтобы культурно всё, без рыготины, элегантно, – сказал Валя, а мне вспомнилась набережная, гараж, Слалом в лихорадочных поисках тряпки, и я тряхнул головой, чтобы

опустошиться от этого. – Специально ради нее всё. А она теперь не придет. Всё впустую. А помнишь наш новогодний мини-концерт?

Валя играл на басу. Вместе с парой других задротов они исполняли чужие песни, строили из себя рок-группу: комбик и микрофон, инструменты, напульсники, цепи, прочая лабуда. На новогоднем вечере притащили всё это в класс, погасили свет и устроили полную лажу. Барабанщика не было. Вокалист забывал слова. Гитарист относился к своей прическе внимательнее, чем к струнам. Клавишник выбегал в туалет. Один только Валя старался. Лиля, глядя на то, как технично и быстро двигались его пальцы, предположила, что Валя – бог вагинальной мастурбации. Валя играл хорошо. Но имелась одна небольшая проблема: бас-гитару не было слышно.

– Помню, конечно.

– Тоже для нее. Весь концерт ради «Среер». Никто из парней ее не хотел играть. Это я их уговорил,стоял. И мысленно посвятил эту песню ей. А она не послушала даже, надела наушники и уснула с открытым ртом. Можно было тогда уже догадаться, что сегодня она не придет.

Валентин замолчал. Гирлянда на искусственной ёлке переключалась между режимами. Неподалеку взрывался салют, но казалось, что мы в тишине, в полном вакууме, все сильнее погружаемся в новогоднюю меланхолию, как герои советского фильма. Я первым выдрал себя из нее: открыл холодильник, достал бутылку вина. Бутылок там было нормально, штук десять, а то и больше. Это меня взбодрило.

– Где у вас штопор? Пора расцехлять винище.

– Никто же еще не пришел.

– Я пришел, ты пришел. Кот никуда и не уходил.

Гундеж домофона послышался очень кстати.

– В выдвижке возле раковины, – бросил Валёк, устремившись в прихожую. – Только давай заранее договоримся, что не усердствуем.

– Так точно, сэр! – откликнулся я, с энтузиазмом вгрызаясь штопором в пробку. Щелкнул замок, послышались голоса. Голос Веры – надменный, немного скрипучий – был среди них тут как тут. Я зажал между ног бутылку, поскорее выдернул пробку и влил в себя полбутылки красной терпкой кислятины.

*

В десятом классе, поздней осенью, когда мелкому надоело красиво страдать, а некрасиво страдать надоело тем более – он наконец-то решился ей написать. Написал он какой-то пустотный и жалкий бред, а в конце – ни к чему не обязывающее «может, сходим как-нибудь погуляем?». Уже проваливаясь в сон, когда замедлялось сердцебиение, нажал «отправить». Сердцебиение наверсталось утром, когда он собирался открыть ответ, оказавшийся простым и коротким, со смайликом: «можно попробовать». Он несколько раз подпрыгнул, да так, что я пробудился от звона собственного аквариума. Он ведь не знал, что они никогда не «попробуют», так никуда и не сходят вместе. Подошел счастливый к окну. Этот день был особенный для всего города. По улицам собирались нести олимпийский огонь. На набережной по этому поводу даже установили новые фонари. Бульвар Строителей был перекрыт, школьники вместо уроков толпились на тротуарах. Их плотно выстроили вдоль улиц, включенных в маршрут бегуна. Где-то среди этой длинной толпы, раскрыв зонты и надев капюшоны, стояли его одноклассники, а среди одноклассников Вера. В небе рвано кружился снег вперемишку с дождем. От сильного ветра стеклопакеты однообразно визжали. Не отходя от окна, мелкий вслух рассуждал: «Зачем мне туда идти? Посмотреть я могу и отсюда. А могу и вообще не смотреть. Я огня, что ли, в жизни не видел? Видел. Еще и погода говно. Делать там нечего. Правильно, – заглянул в мой аквариум, – говорю?» Я выпустил изо рта пузырек, который он принял как знак одобрения. Даже если бы я пузырьками выложил слово «ссылко» – он бы все равно не признался себе, что просто стесняется встретиться с ней, оттягивает момент. И уж тем более он не смог бы себе признаться, что ходить по городу с трагедийно-загадочной миной ему хочется значительно больше, чем с Верой. «Ну как огонь? Огонь?» – написал он ей вечером. – «Неплохо.

Правда, никакой он не олимпийский. Я видела, как он погас, и какой-то мужик давал зажигалку, чтобы снова его поджечь». – «Прикол». – «А ты почему не пришел?» – «Да я проспал», – соврал он, тем самым угробив все окончательно. – «Так и всю жизнь проспай», – написала она. И смеющийся смайлик. В том, чтобы всю жизнь проспать, лично я ничего плохого не вижу, но молодой человек, склонный всюду искать проклятия, стал загоняться и, чтобы развеяться, вышел пройтись по набережной. Праздник кончился, улицы были пустынные. Стемнело, но ни один из новеньких, аккуратных, похожих на чупа-чупсы фонарей не светил. Они оказались лишь бутафорией к фотоотчету об олимпийском огне, который был тоже подделкой. Волны шипели злое. На покосившихся длинных столбах горели через один все те же злые, старые фонари. Растерянный мелкий долго бродил под их хирургическим светом.

*

Валёк накидался и несколько раз включал «Среер». Потом девчонки уже отгоняли его от собственного ноутбука. Они хотели танцевать, а не загоняться.

Вообще-то Валя был совершенно непьющий, и началось всё с его попытки устроить чинные стариковские посиделки: немногочисленным пока что гостям Валентин по чуть-чуть наливал в изысканные бокалы вино, произносил тоскливые тосты о неразделенной любви и чокался морсом, растерянно глядя из-под очков в одну точку. Но он оживился, как только Вера предложила ему идиотский спор.

Такая была у него особенность: как только речь заходила о споре, он из зануды преображался в психа. Однажды высосал упаковку майонеза в течение двух минут. Выкурил свою единственную в жизни сигарету прямо в школе, прямо напротив директорского кабинета. Сделал пост о том, что мечтает отлизать учительнице английский, которая была у него в друзьях. Это всё зверский соревновательный дух, воспитанный в нем подготовкой к олимпиадам. Награда была ему не важна, само участие в споре было наградой. Валя вписывался во всё.

В новогоднюю ночь он был счастлив принять новый вызов. Вера ему предложила выяснить, кто из них будет более пьяным к утру. Я разбил их рукопожатие над тарелкой со шпротными бутербродами. После второго выпитого Валею бокала энтропия стала свободно расти. Включилась музыка, выключился свет, гостей становилось все больше. Помимо одноклассников подтягивались знакомые одноклассников и даже знакомые их знакомых. Под строгий запрет попадали только Нуна и Лиля из-за своей привычки, оказываясь у кого-то в гостях, непременно сношаться в кровати родителей. Впрочем, после пятого бокала Валя не стал бы протестовать, приведи мы хоть призрак Лаврентия Берии.

Похитив бутылку из холодильника, я устроился на полу, занял удобный для наблюдения угол. Как я и думал, Вера затеяла спор, только чтобы спасти вечеринку. Она совсем не старалась выиграть, почти не притрагивалась к бокалу. А жаль. Мне хотелось, чтобы она показала себя настоящей: признавалась в любви (пусть не мне), посылала (пусть меня) на хуй. Но вместо этого, натянув снисходительную улыбку, она аккуратно двигалась под несурзное пение Дорна. Если Валя с известной целью прокрадывался к ноутбуку, Вера протестовала сильнее всех: она избегала трагизма, любую минорную песню считала тоскливой и скучной. «А ведь она никакая не факин спешл», – спокойно и мимолетно подумал я и продолжил за ней наблюдать с ненавистью и обожанием, не придав значения своей мысли. Механизм звякнул, дверца ловушки открылась, но зверёк не заметил этого и остался сидеть внутри, прикладываясь к очередной бутылке.

К двум часам ночи квартира была переполнена. Время от времени ко мне, как на аудиенцию, кто-то подсаживался и задавал вопросы. Всех интересовало примерно одно и то же:

- Это правда, что вы типа троим встречаетесь?
- Мне тут девчонки рассказали, что Лилия типа и с ним, и с тобой как бы. Че, реально?
- А у вас сформирована какая-то единая система, по которой всё происходит?
- Мне говорили, что она заразила вас хламидиозом. Или все-таки гонореей?
- Она же некрасивая, зачем тебе это? Для опыта?

– А Слалом тоже с вами шпилится иногда?
 – А у нее там волосы тоже рыжие?
 – А правда, что раз в неделю она с тобой, раз в неделю с ним, а раз в две недели у вас групповуха?

Ответом на все вопросы служила моя размазанная улыбка, смех и мычание, которые каждый был волен интерпретировать как хотел. Огни гирлянд, перемешиваясь, кривлялись перед глазами. Собеседники быстро менялись. Последними стали Антонио, Мухин и Лобстер – их кореш, гопарь из 30-й школы.

Лобстер спросил:

– И че, внатуре, ебать?
 – Братан, ты бы как-то конкретизировал, что ли, вопрос свой, – сказал Антонио.
 – Ну это... Ты же вроде нормальный пацан был, с Крюгером корефанил, с Дантистом, Якудойй... А теперь, ну типа... Правда, что ты девчонку своего лучшего друга это самое...
 – Поёбываешь, – подсказал Антонио и облизнулся. Я прикончил бутылку. К горлу подобралась тошнота.
 – Да правда, конечно, – ответил Мухин вместо меня. – Даже она это не отрицает если.
 – И это, по-твоему, по-пацански?
 – Что именно? – Муха включил дурачка. Они откровенно стебались над долбоёбом Лобстером.

– Ты, бля, понял, что именно!

– Натягивать тёлку друга, – вновь подсказал Антонио.

– Да! По-вашему, это нормально?

– Смотря с какой стороны посмотреть... – протянул рассудительно Мухин.

– Да какие тут могут быть стороны?!

Они прекрасно справлялись с беседой и без меня. Тошнота нарастала. Я поднялся из своего угла и, лавируя между танцующими, вышел в прихожую. Туалет был занят. Я ждал. На полу, вплотную заставленном нашей обувью, выбрал чей-то ботинок и сосредоточил свой взгляд на нем, пытаясь не блевануть. Радостный Валя совсем некстати нарисовался рядом.

– Новогоднее чудо свершилось!

Я сэкономил слова, любое лишнее из которых могло сыграть роль спускового крючка для рвоты. Фраза «Что ты имеешь в виду, многоуважаемый Валентин?» точно стала бы роковой, поэтому я ограничился вопросительным взглядом.

– Она придет! Она написала мне, что придет! Она уже на подходе!

– Пздрвл, – выдавил я сквозь зубы.

Дверь туалета открылась.

Оказавшись наедине с унитазом, я не стал к нему сразу кидаться. Прислонился к стенке, закрыл глаза. Я ни разу еще не блевал от выпитого. Это было одним из немногих моих достоинств. «Эту зверюгу попробуй свали!» – говорил про меня Косухин. Зверюга. Зверь. Жесткий бухарь. Тот ещё панк. Мне не хотелось лишаться почетных званий. Даже если только в своих глазах.

Издали заглянул в унитаз, как бы торгуясь, пытаясь договориться с ним. Опустил крышку, сел на нее, головой прислонился к холодной стенке, из-за которой гудела музыка. Слышался смех, болтовня была неразборчивой, но казалось, что все обсуждают меня. Тошнота постепенно слабела. Я встал, приблизился к зеркалу. Недонечто взглянуло оттуда.

– Похуй.

– Это я уже слышало.

– А тебе не похуй?

– Передо мной ты можешь не выебонить.

– А могу выебонить.

– И не прикидываться.

– А могу и прикидываться.

– Мне ты можешь не врать.

– Угадаешь ответ?

– Я же знаю всё про тебя. А ты про себя не знаешь практически...

Я плеснул в Недонечто холодной водой, пока оно не успело слишком уж распиздеться. Оно размылось и замолчало. Столько же брызнул себе в лицо. Прислушался. В прихожей был голос Банниковой:

– Нет, я совсем ненадолго. Решила, что лучше лично скажу, а не в сообщениях.

– Только прошу тебя, не делай категоричных заявлений, – причитал несчастный Валёк. – Может быть, тебе просто пока что не до того. Ты ведь все еще переживаешь из-за брата и...

– Только не надо о брате, Валя, – перебила она его.

– Хорошо! Хорошо. Не буду. Что ты хотела сказать?

Я представил, как он боязливо зажмурился, готовясь услышать ответ.

– Я хотела сказать, что не могу ответить тебе взаимностью.

– Господи, так я и знал...

– Прости.

– Это потому что я несколько раз уронил тебя, да? – понемногу впадал в истерику Валентин.

– Из-за этого?

– Конечно же нет, ты чего? Просто я люблю другого человека.

– Кого?! – взвизгнул Валя. – Он здесь сейчас?! Я его знаю!?

– Знаешь. Но это не важно. Спасибо тебе за твое поздравление. И за цветы спасибо. Правда, под окнами у меня стоять было лишним, но это ладно. Всё. Извини. Я пойду.

– Останься еще ненадолго, прошу, умоляю тебя...

У меня было стойкое ощущение, что меня разыгрывают, и за дверью просто выставлен телевизор с сопливой мелодрамой на полную громкость.

– Мне правда пора.

Дверь хлопнула, я услышал, как Валя несколько раз ударился головой о стену.

Сколько я пробыл еще в туалете? Может, минуту, а может, пять. Отливал, ожидал, когда тошнота пройдет окончательно. Когда я вышел, музыка не играла. Все наблюдали за тем, как хозяин квартиры пытался выиграть еще один глупый, противоречащий предыдущему спор. Сняв зачем-то футболку, болезненно-тощий Валя соревновался с Антонио в количестве отжиманий. Зрители считали вслух: «Сорок семь! Сорок восемь!». Валя сдох на пятидесяти одном, рухнул лицом в ковер и содрогался, то ли смеясь, то ли плача. Антонио, казалось, мог сделать легко еще столько же.

Музыка возобновилась. Хотелось поддержать проигравшего, но я не придумал как. Вместо этого устремился к напиткам. Помимо вина там было много чего еще, народ приносил с собой.

– По-моему, в нашем с Валею споре побеждаешь пока что ты, – заявила Вера, сама ко мне подойдя. – Давай сегодня без глупостей всяких, ладно?

– Приму во внимание ваш запрос, как только выясню: всяких – это каких?

Она призадумалась.

– С Новым годом! – выкрикнул я и лизнул ее нос.

– Вот таких, например. Дурак.

*

Проснувшись, я с трудом отделил тишину от шума в моей голове, внимательно прислушался к первой и понял, что родителей дома нет. Как я и хотел. Они планировали выехать к родственникам до обеда, а, судя по освещению, были уже глубокие сумерки. Какое-то время я лежал неподвижно, сосредоточенно припоминая фрагменты ночи. Без глупостей не обошлось, но они в большинстве своем были невинными и смешными. Нырляя лицом в сугроб, предлагал Вере внеурочно отрепетировать вальс под неподходящую музыку, прятался под кроватью. Мелочи. Я выдохнул с облегчением. Поднялся с кровати, и комната покачнулась. В похмельном скафандре казалось, что

весь окружающий мир не имеет ко мне ни малейшего отношения. Подошел к окну с фиолетовым небом. Дети катались со снежной горы на картонках и санках, похожие в ярких своих пуханах на неповоротливых пингвинят. Я засмотрелся на них, а потом случилось то, от чего они хором издали протяжное «о». Новогоднее чудо. Безо всяких предупреждений, без торжественного разрезания ленты, уютным и теплым, как будто игрушечным светом впервые зажглись фонари, установленные поздней осенью, в день, когда несли олимпийский огонь, больше года назад. Я смотрел и смотрел и смотрел на них, а потом захотел сделать фото, чтобы отправить Вере, и сделал, но, немного подумав, не стал ничего отправлять.

*

– И что тут чудесного? – пожалла плечами непривычно меланхоличная Лиля в окружении своих фарфоровых кукол. – Зажглись и зажглись. Лучше расскажи, че там у головастика, нормально вам было без нас?

– Мне было весело. Даже слишком.

– Ясно. Ты напился и был посмешищем, как обычно. Не интересно. А вот мы обалденно отметили.

Рассказ ее вышел сумбурным. Я ничего не понял, кроме того, что девчонка Слалома снова его обломала, дебилоиды-близнецы подрались, а их друг смешно попытался самоубиться.

– Хочешь, покажу, что мне Нуна подарил?

– Если честно, не очень.

– Сейчас покажу.

Лилия принесла из коридора ярко-зеленый свой рюкзачок и стала в нем рыться, разбрасывая пустые сигаретные пачки, скомканные салфетки и фантики из-под шишучих конфет.

В этой комнате я находился впервые, но всё здесь мне было знакомо по их с Косухиным порнографическим фотографиям, которые я умолял ее перестать присылать мне, но она все равно присылала. Я узнавал старый шкаф, пианино, фарфоровых кукол повсюду, прожженное сигаретой малиновое покрывало, на котором мне после тех фотографий было противно сидеть. Лилия ни разу меня к себе не звала. Это было последним ее уцелевшим принципом. Я не мог понять, почему она решила его нарушить.

– Нашла! – из рюкзака Лилия извлекла две пары наручников – розовых, но не пушистых. – Протестируем?

– А просто так тебя не впирает уже?

– Сейчас объясню, руку сюда давай.

Розовое кольцо затянулось вокруг запястья и щелкнуло. Я догадался, из-за чего она пригласила меня к себе. У нее на кровати спинке были удобные перекладки, чтобы меня приковать.

Она отошла в центр комнаты и посмотрела мне бездвиженному в глаза.

– А ведь когда-то он мне дарил совсем другие подарки...

Лилия погасила верхний свет, оставила только настольную лампу. Села с прямой осанкой на стул напротив меня. «Ну всё, – я подумал, – моноспектакль начался».

– В начале отношений он дарил мне футболку с Куртом, киндер-сюрпризы, будильник в виде цветка в горшке... А недавно мы поссорились и в очередной раз решили, что расстаемся. И он попросил, чтобы я ему всё вернула. И я вернула. А когда мы через два дня помирились – обратно дарить не стал. Он сказал, что я теперь не заслуживаю подарков, не связанных с еблей. Понимаешь, что это значит?

Вопрос, разумеется, был риторический. Я себя вел как порядочный зритель в театре, на сцену не лез. Более того, был уверен, что вот-вот она рассмеется, не выдержит, нарисует маркером мне усы, напишет три буквы на лбу, а потом начнет раздевать и сама раздеваться тоже.

– Это значит, что я теперь для него просто грязная дырка! И знаешь, кто в этом виноват?

«Она сама – это слишком банально. Сергей Безруков? Сергей Есенин? Юрий Антонов? Группа «Валентин Стрыкало»? Группа «Радиоход»?» Я терялся в догадках.

Она вскочила, опрокинула стул и воскликнула:

– Ты! Виноват в этом ты! Ты проклят! Ты можешь лишь разрушать, разьёбывать, портить! Всё у нас было в порядке до того, как вмешался ты!

«Серьезно? Вмешался?» – я был близок к тому, чтобы высказать возмущение вслух, но сдержал себя. Вдруг в ее рюкзачке завалялся еще и кляп?

– И ничего исправить уже нельзя. Ты хоть можешь себе представить, насколько мне стало больно, когда я это осознала? Нет, не можешь, ты ведь бездушный, как твой тритон, то ли живой, то ли мертвый, тебе не понять.

Лиля поставила стул на место и села обратно, закрыла глаза, вдохнула и выдохнула, продолжила:

– Но минут за двадцать до Нового года я вдруг почувствовала что-то вроде волшебного озарения. Я поняла, что всё еще может у нас наладиться! Для этого я должна перестать его предавать, перестать изменять моему любимому Нуночке. Должна любить только его одного.

После опрокинутого стула спектакль становился все менее смешным. Мне захотелось домой.

– Знаешь, я всегда загадываю под бой курантов желание, и в этом году я была уверена, что загадаю поступить на бюджет в театральный. Но я загадала не это. Я загадала больше тебя не любить. И когда наступил Новый год – я вспомнила, что изначально совсем тебя не любила, а просто использовала! Мне было интересно разгадать твою тайну, но ведь оказалось, что тайны нет, ты пустой и жалкий, точно такой же, как все! И всю новогоднюю ночь я была счастлива, потому что чувствовала, что у меня получилось, что мое желание сбылось! Но проснувшись, я осознала, что нет, и тогда придумала план. Знаешь, какой план я придумала?

Со шкафов, с подоконника, с книжных полок на меня вопросительно пялились экспонаты ее коллекции, орды фарфоровых кукол.

– План этот очень простой: чтобы больше с тобой не ебаться и больше тебя не любить – мне нужно убить тебя. Вот и всё.

– Убить?

Лиля бросилась на меня. Вцепилась руками в горло. Я услышал собственный хрип, и тогда ее пальцы резко усилили хватку. Надо мной нависало ее лицо, покрасневшее от усердия. Сквозь оскал продирался звериный рык, разбрызгивалась слюна. Волосы будто тянулись ко мне дрожащими рыжими щупальцами. Куклы заглядывали в глаза и брызгали в них темнотой.

*

Разумеется, Лиля его не убила. Как только он отключился, она подумала вдруг об ответственности, о том, что тело куда-то надо девать, и это не так уж просто, а даже если получится, дяденьки-полицейские все равно могут вычислить и наказать ее – старший брат Бани тому пример. Да и внутри шевельнулось что-то похожее на человечность. Хорошо, что ей вспомнился обязательный курс первой помощи и тот манекен, на котором она отработывала искусственное дыхание, украдкой просовывая ему язык в резиновый рот. Мелкий вернулся в реальность меньше чем за минуту, произошло соитие, после они попивали на кухне чай, заедая вафельным тортом, и она говорила, что этот раз был последним, на этот раз уже точно. Но на деле он даже в десятку «последних разов» не попал. Однако Лиля с тех пор приходила к нам в гости гораздо реже, вела себя безразличнее, мелкому в самом деле теперь приходилось ее уговаривать. А потом Лиля снова стала ходить охотнее к нам и чаще. А потом снова реже стала ходить. А потом было солнечное затмение. А потом растрескался лёд. А потом, как обычно, какой-то парнишка утоп, катаясь на льдинах. А потом не осталось льдин. Много чего еще было потом, перед тем, как я умер. И много чего еще было потом, уже после пустяка под названием смерть.

V

Город капал и хлопал, мы шли вдвоем по нему без цели, дворами, – Нуна, Лиля и я, – покальзываясь на остатках льда, принохиваясь к солнцу, хорошенько забытому за полгода зимы.

В одном из дворов Лиля остановилась и отвернулась от нас. Очередная скупая порция бежевой рвоты разбрызгалась по сырому асфальту. Мы сели с Косухиным на скамейку.

– Похоже, что мы в затруднительном положении, Павел.

– В полной жопе, я бы сказал.

– В западне.

– На хуях.

– В непростой ситуации.

Лилиа вытерла рот лапой шапки-панды, глотнула воды из бутылки и втиснулась между нами. Косухин, немного поколебавшись, вложил сигарету в ее требовательно протянутые пальцы, она затаилась и заявила отрывисто:

– Никакого аборта. Я хочу оставить его.

Мы с Нуной переглянулись.

«Ну ничего себе, – прочитал я в его глазах. – Аборты-шмаборты. Какие-то слишком взрослые разговоры пошли. Как-то слишком внезапно они начались, Угрюмов, вы не находите?»

«Да-да, еще как нахожу, – ответил я ему мысленно. – Но мне-то пока семнадцать. А вот от тебя (предположим, что от тебя), полноценного члена общества, залетела несовершеннолетняя! Это ничего ровным счетом не значит, ведь возраст согласия пройден, но зато как звучит! Чувствуется надежность, Гроссмейстер?»

– А что с алиментами делать и прочим говном? – задался вопросом Нуна. – Сколько тест на отцовство стоит? Его хоть делают у нас в городе? У нас в области его делают хоть?

– Зачем тест? Мы посмотрим на ребеночка и поймем. Если он будет светленький, голубоглазенький, то это ребеночек твой. А если смугленький, глазастьенький, молчаливенький, то не твой. Всё очень просто. Хорошо, что вы такие разные. Повезло!

Косухина аж передернуло.

По безоблачному, но как будто заляпанному младенческими пальцами небу двигалась стая птиц. С другого края летел самолет, оставляя за собой белый след. Я представил себе их встречу. Опадающий с неба цветок кроваво-птичьего фейерверка.

Лилиа натянула шапку-панду на бесстыжие глаза.

– Ну и чего ты ржешь? – спросил у нее Косухин.

Она продолжила ржать.

– Чего, говорю, ты ржешь?

– Какие же вы мудак, вафли, додики, тятти, уроды, чмошники, ссыкуны и девственники! Ни беременеть, ни рожать я не собираюсь. И уж точно я никогда, ни за что на свете не стану рожать от вас! Вы же сами дети еще, наивные мальчики с обсканенными штанишками! Как можно от вас рожать? – она настойчиво упускала из внимания тот факт, что единоразово родить от двоих людей невозможно. – Я и трахаться с вами больше не буду! Вы одинаковые глупости делаете в постели, потому что смотрите одинаковую порнуху, порнуха вся одинаковая! Вы оба бесчувственные! Вы никакие! Деревянные вы! Мне с вами неинтересно! Мне скучно с вами! Вы надоели мне оба!

Она наконец замолчала, улыбнулась самодовольно и куда-то пошла. Косухин не бросился ее догонять, как ни странно. Я думал, что эта привычка уже на уровне основного инстинкта укоренилась в нем. Он ограничился тем, что крикнул ей вслед:

– А как же твоя тошнота, токсикоз?

– Нуночка, я актриса! Умение блевать и плакать в любой момент – это базовый навык. Основа актерского мастерства.

– Странно, я только про слезы слышал, – негромко сказал мой лучший когда-то друг.

– Потому что про рвоту я только что сочинила, – обернулась она, смеясь. – Опять вы, котёночки, повелись!

*

В седьмом классе я неожиданно понял, что пора мне завязывать шариться по подвалам и крышам, дышать газом для заживалок, рисовать на стенах, курить, накуриваться синтетикой и накачиваться баночными коктейлями, которые из-за смеси спирта, кофеина и сахара до утра не дают уснуть. Кажется, понял я это как раз в одну из таких бессонных ночей, глядя в окно на пустынную набережную, мимо которой катилась колонна ворчливых снегоуборочных машин.

Я резко отдалился от старшаков, под руководством которых два года уничтожал себя и все, что меня окружало. Некоторые из них даже не заметили моего исчезновения, а некоторые попытались втянуть меня обратно в свое ведро с крабами (корзину с фруктами), но быстро отъезжались, у них были дела пободрее.

Так я остался один. Мне нужен был новый друг. Принципиально новый.

Голубоглазый Косухин – невинный, но остроумный толстяк с манерами старика – был идеальным кандидатом, поскольку не мог тогда даже подумать о чем-либо из того, чем ранее развлекался я.

– Ты сделал эту домашку сраную?

– Нет, но могу дать списать, – он ответил.

Так мы стали приятелями. Не прошло и пары месяцев, как у нас естественным образом появился свой словарь: судари, Вероники, заебланиться, пенсионерки, медузы и еще пара сотен слов. Свой словарь – это, пожалуй, первый и главный признак дружбы.

Дружба наша в основном заключалась в том, что мы часами бродили по железке – железной дороге, обсуждая игры на комп, книжки Чака Паланика и недостатки друг друга. За старомодность и лишний вес я называл его мамонтом, делал это надоедливо и зловредно, оправдывал себя тем, что старшие шутили надо мной и похуже. Косухин быстро принял правила этой порочной игры и стал стебаться в ответ: звал меня обезьяной за смуглую кожу и фальшивую энергичность, которую я напускал на себя, подражая героям аниме в жанре сёнэн.

Некогда невинный Косухин сильно преобразился от общения со мной. На уроках мы рисовали поверх линеек и клеток кровавые трэш-комиксы под бледно-зелеными обложками: «похабные тетради», как называла их возмущенная учительница по черчению. На переменах мы исполняли переполненные абсурдом гадкие «хиты» нашей акапелла-хардкор-группы «Секс с Иисусом». После уроков – набережная или скамейки в торговых центрах, но чаще всего бесконечная железная дорога под ногами и бесконечные разговоры. Взрослели мы медленно. Время прикидывалось, будто не существует.

В конце девятого класса Косухин резко, практически за ночь до неузнаваемости похудел, вслед за этим побрился налысо и с удивительной легкостью впервые послал деспотичную бабулю по единому для всех деспотов адресу.

Майское солнце отражалось от парт, одноклассники весело шлепали Косухина по затылку. Он смеялся, предчувствуя новое и, что важнее всего, ощущая свою готовность к этому новому, чем бы оно на деле ни оказалось.

Потом было лето, которое пронеслось, как всегда, непонятно куда и как. А осенью всё навсегда изменилось. Мы оба влюбились, точнее, как это называлось у нас, растеклись. И хотя растеклись мы не по одной, а по разным девчонкам – вскоре от дружбы осталась лишь стопка похабных тетрадей.

*

Косухин лишился девственности на груди покрышек в одноэтажной заброшке недалеко от моста. После этого все изменилось бесповоротно. Косухин вышел оттуда на снежно-осенний, рано темнеющий воздух полностью подконтрольным. Не успел он как следует отвыкнуть от бабкиной тирании, как тут же нашел себе новую законодательницу.

– Ну а что мне поделатъ, Угрюмов? Она заявляет, что если я буду проводить с вами время вдвоем, без нее, то никакого мне секса, – печально оправдывался он, вызывая во мне презрение пополам с отчаянием.

Общение было, пожалуй, единственным, что могло эффективно меня отвлекать от ужаса первой влюбленности. Воспаленная реальность кидалась со всех сторон, захлестывала за борт. В этом шторме Косухин оставил меня одного.

Иногда мы ходили гулять втроем, и Лилия, поджав театрально губы, бросала ревнивые, полные наигранной ненависти взгляды, вела себя как ребенок, ни о чем не давала поговорить, привлекала внимание всеми доступными способами: в любую секунду могла начать декламировать всё того же «Черного человека», или кататься по земле, или – чаще всего – убегать, и Косухин обязательно бросался за ней вдогонку, а я, посмотрев немного им вслед, надевал наушники и шел дальше один.

– Я буду официально признан конченным долбоёбом, если еще хоть раз куда-то с вами пойду, – говорил я ему на следующий день.

Но, кроме Косухина, мне толком не с кем было общаться, так же как и Косухину было не с кем трахаться, кроме Лили. Так что, пару недель пробродив в одиночку и слегка от одиночества прихуев, я снова шел с ними гулять или сидеть у Слалом в гараже, сразу же вспоминал, насколько это ужасно, заново клялся, что больше ни-ни, и следующие две недели опять ходил по сырому, заснеженному, дождливому, ветреному городу один, катая в голове подростковые мысли, тяжелые, как шары для боулинга. Потом всё заново повторялось.

Косухин прекрасно всё понимал, и ему было совестно. На одном из немногих уроков физики, которые он посетил той осенью, Косухин спросил:

– Почему бы вам, Павел, себе не найти Веронику какую-нибудь? – на нашем с ним постепенно уже забываемом дружеском языке слово «Вероника» обозначало усредненную девчонку, служило женским аналогом слова «Васёк». – А то шляетесь всё один да один. Неужели настолько свет клином сошелся прям? Я не верю. Да и вообще, вам скоро семнадцать лет, а вы девственны, как свежевыпавший снег, притом что совсем не уродец. Как-то позорно себя в непонятную яму сажать. Подростковая ебля – это прекрасно. Поверьте на слово.

Никто из нас не заметил, как это «поверьте на слово» вошло мне иголкой под кожу, скользнуло в вену и стало плыть по ней, медленно дрейфовать, чтобы в последний день лета добраться туда, откуда достать ее было не так-то просто.

*

За рабскую привязанность к Лиле, за похоть, за слабование мелкий презирал когда-то Косухина, но в итоге и сам расквасился как сопля. Охлаждение Лили мелкий переживал болезненно, а она, поселившаяся в его голове, нашептывала ему: никому ты не нужен, никому ты не интересен, кроме меня, да и мне уже тоже не интересен, так и останусь я у тебя единственной половой партнершей за жизнь, кого ты еще, ссыкунишка, сумеешь привлечь? Он злился, намерен был доказать и ей, и себе свою привлекательность. Он подкатывал с этой целью к ушедшим после девятого одноклассникам, которых запомнил как легкомысленных и призывно косящихся на него; например, Веселухе писал с батареек смягчающих смайлов: «Привет! Приходи ко мне как-нибудь, выпьем, посмотрим кино». – «С чего это вдруг?» – «Да просто». – «Не хочу, да и мой молодой человек будет против». «Маладой цилавек...» – передразнивал он и швырял телефон на диван. Вера тоже не радовала, снова сошлась с Антоном, и в течение тех пятнадцати дней, пока длился их нерушимый союз, мелкий видел не раз, как она в коридоре с блеском в глазах сидит, запрокинув ноги ему на колени. «Дура! – он думал. – Хуй я трезвым больше на вальс приду!». Его последней радостью оставалась офисная дама из Болгарии, с которой он давно еще познакомился на специальном сайте трансляций для взрослых, где активно себя транслировал до тех пор, пока его не забанили за малолетство, но контакт этой зрительницы остался, и они с ней часто созванивались по видеосвязи, правда, без звука и с камерой, включенной у него одного: офисная дама каждый раз оправдывалась тем, что находится на работе, и мелкому приходилось довольствоваться лишь предельно откровенными, сделанными заранее фотографиями, которые она присылала ему. Правда, мелкий не знал, что по ту сторону экрана находилась никакая не дама, а престарелый бисексуал из Мадрида, присылающий фотографии своей бывшей

жены. Но и он той весной, насмотревшись вдоволь на подростковый безрадостный онанизм, молча самоустранился из жизни мелкого. Мелкий остался ни с чем. Даже прогулки по излюбленному маршруту не утешали. Город его душил.

*

Чем ближе становились экзамены, тем очевиднее было отсутствие у Косухина шансов достойно их сдать. Я кое-как вывозил благодаря еженедельным походам к полубезумной репетиторше, похожей на старуху-процентщицу, а вот Косухин, изначально более способный, чем я, совсем уже не справлялся. Его перспективы в начале десятого класса настолько сильно не совпадали с результатами в конце одиннадцатого, что казалось, будто его кто-то проклял, оставив из всех проявлений интеллекта одно только бесполезное красноречие. Но белый флаг Косухин не выбрасывал ни в какую, время от времени заявлял, что всерьез окопался в учебниках, даже – немисливо – отказывался с известной целью ходить к Лиле в гости. Но то ли уже было поздно что-либо предпринимать, то ли вместо физики он, заперевшись дома, занимался просмотром реслинга: правильные ответы в пробниках были так редки, что принимались Тамарой Владимировной за случайность.

– Переводился бы ты на другой профиль, на обществоведение какое-нибудь. Не портил бы мне статистику, – с досадой говорила она. – Только поздно переводиться, уже весна на дворе. Полгода назад еще говорила тебе: Косухин, переводись! А теперь ничего уже не поделать. Останусь без премии, ну и бог с ней. Переживу. А вот ты-то как дальше будешь?

Я задал ему тот же вопрос. Мы шли по железке вдвоем. Лиля больше не запрещала ему ходить без нее, либо он перестал ее слушаться. Это было уже не важно. Под солнцем заката рельсы блестя, как две раскаленные спицы, воткнутые в горизонт. На мосту Косухин ответил мне:

– Да нагнетает она, Тамара эта Владимировна. Кое-как на минимальный балл вытяну и пойду на педагогическом хуи пинать.

– А если не вытянешь?

– Тогда в армию. Там свои плюсы.

– Это какие?

– От Лильки за год отвыкну и отвяжусь. А она тут нового ебаришку себе найдет или даже нескольких поменяет. С этим у нее проблем нет, насколько тебе известно, – с ухмылкой глянул он на меня. – Только вы не подумайте, Павел. Я, если что, ничуть не в обиде и зла на вас не держу.

– А ведь имеете право, Косухин. Все-таки я вас нешуточно предал.

– А я вас до этого – разве нет? Бросьте, Угрюмов. Вам ведь прекрасно известно, что предательство – жлобская категория. Каким надо быть пошляком, чтобы к ней всерьез обращаться? Не разочаровывайте меня, дорогой.

– Не буду, Косухин. Вы тысячекратно правы.

Мы оба хотели быть циниками, но получалось лишь притворяться ими. Мы не умели не чувствовать боль, но умели это скрывать. Отрицали предательство как категорию, но мучились совестью, предавая.

– А что до моих экзаменов и прочих жизненных мелочей, то вы бы лучше о себе лишний раз поразмыслили, Павел, ей-богу. Живете-то вы никудышно совсем.

– Это еще почему, позволяйте полюбопытствовать?

– А потому что жуете то, что дают. Вам нравится Вера, а сношаетесь с Лилей, да и то, насколько мне известно, с переменным уже успехом. У вас очевидная склонность к иностранным языкам, а учитесь на физмате, потому что родители вам велели идти на физмат. Городишко наш – сами говорите – вам противен и тесен уже, но вы намерены здесь и дальше понемножечку подгнивать. А если куда и поедете поступать, то в город Архангельск – такой далекий, что можно по этим вот шпалам за пару часов до него дойти. Правильно говорю? Вам ведь лишь бы забраться в пыленький закуток и там тихо сидеть, как тритон ваш в аквариуме, работать скрытой видеокамерой бесплатно, быть наблюдателем, дожидаясь конца, довольствоваться едва пригодным, всячески избегая лучшего. Такая у вас натура, Угрюмов. Рекомендую задуматься на досуге.

Его слова меня цепанули.

– А сам-то ты нормально живешь?
– А мне уже похуй на всё, дорогой мой. Только не так, как некоторым страдальцам, а по-настоящему.

– Это как? – усмехнулся я.

– Ну, допустим, идешь ты по железной дороге, а навстречу катится поезд. Но ты продолжаешь идти, спокойно, без паники, не сдвигаешься ни на шаг. И вот он уже ревет, как в жопу ужаленный слон, а ты идешь и идешь себе. В результате он либо успевает затормозить, либо размазывает тебя по шпалам. Оба варианта подходят тебе в равной мере. Вот что такое похуй.

Мне стало не по себе. Косухин говорил об этом, отбросив ужимки, отбросив высокий стиль. Он говорил серьезно. Так серьезно, как ни о чем давно уже не говорил. На горизонте что-то блеснуло. Стекло головного вагона? Нет, показалось. Мы шли и шли. Болтали уже о другом, несерьезно, с ужимками. В тот вечер поезд так и не встретился нам.

*

Банникова на несколько дней пропала, не появлялась в школе и не выходила на связь. С ней бывало такое, когда родители уезжали куда-то, оставляли ее в квартире одну. Лиля предложила, а мы с Косухиным согласились вместо последнего урока Банникову навестить. С нами увязался еще и Слалом.

– Иди домой. Она тебя не звала, – пыталась слить его Лиля.

– Она и вас не звала! Зачем вы ей там нужны? Ей вообще ничё не нужно.

– Всем нам что-нибудь нужно, – стал рассуждать Косухин, в последнее время вместо реслинга увлекшийся восточной философией. – Хотя, быть может, на данный момент она ближе всех нас подошла к тому, чтобы оказаться в нирване.

– Ты о чем это?

– О буддизме.

– Буддизм это чё? Дрочить типа?

– Ну почти.

– Ты давай не пизди. Какая еще нирвана? Она там, наверное, из кровати вылезит только чтобы пописать.

Слалом был прав. Добравшись по устрашающим коридорам муравейника-дома до нужной квартиры, мы долго трезвонили и долбили ногами в дверь, пока не раздался сонный вопрос:

– Кто там?

Слалом пальцем прикрыл глазок.

– Всадники апокалипсиса! – гаркнул Нуна Косухин.

Банникова почему-то открыла. Она пахла мужской раздевалкой, смотрела рассеянным взглядом, одета была в кигуруми-пижаму в виде коровы.

– Ты нам не рада? – спросила Лиля.

– Рада, наверное. Но не всем. Проходите.

Огромный телевизор, стереосистема, посудомоечная машина, барная стойка, за которую сразу уселся Слалом, взгромоздившись своей здоровенной задницей на высокий стул, пока Нуна и Лиля пошли курить на просторную лоджию, с которой виден почти весь город – ни за что бы не смог подумать, что Крюгер – брат Банниковой – жил в такой богатой квартире. Он никого к себе не пускал, и я был уверен, что он, как и многие, кто был в той компании, происходил из неблагополучной семьи.

– А можно зайти к Диме в комнату? – аккуратно спросил я у Банниковой, которая забралась обратно под плед. – Мы ведь с ним типа дружили и все такое.

– Зайди. Только не меняй ничего местами.

Я приврал ей, какая дружба, скорее я был в числе тех, кого он не слишком сильно кошмарил. Из всей той компании отмороzków он, ее возглавляющий, оказался единственным, чью судьбу я неверно предугадал.

Поворачивая ручку, открывая дверь в его комнату, я ожидал хотя бы там увидеть звериную клетку, гадюшник, карцер – в общем, что-то Крюгеру соответствующее, – но нет. Если комната чем-то и отличалась от всей остальной квартиры, то разве что легким запахом сигаретного дыма, вьедшимся в мебель и стены, а также неоднозначным набором постеров: голая негритянка, красная пентаграмма на черном фоне, группа Slipknot, эмблема футбольного клуба «Спартак», а под ней приколочена полка, на которой медали, кубки и грамоты, фото юношеской команды, капитаном которой он – Дима Крюков – был до того, как прикончил какого-то мужика, тоже связанного с футболом, вроде даже бывшего тренера. Обезглавил его, расчленил и зарыл в снегу чуть правее набережной, в тех местах, которые Нуна и Баня называли «медузы поля» и любили купаться там летом. Говорят, что менты, арестовавшие его где-то через полгода, так и не смогли до конца понять, ради чего Крюгер сделал это. Родственники тем более.

– Ну вы где там, Павел? – донеслось из гостиной. – Мы отыскали клондайк!

Напоследок я попытался хотя бы чуть-чуть приподнять огромную гирию, обнаруженную в углу, но не смог. Осмотрелся еще раз, поежился, вышел за дверь.

Слалом и Нуна изучали этикетки бутылок, найденных в барном шкафчике: бренди и джин, текила и виски, иностранная водка, обыкновенная водка тоже была.

– Устроим дегустацию? – подмигнул мне Нуна.

– Хозяйка не против, – поддакнул Слалом.

– Только немного, – уточнила она.

– Если немного, – заговорила Лиля, – то без таблеток не обойтись.

– Они почти кончились у меня.

– Значит, сходи в аптеку.

– Лилечка, ты же помнишь, что было в прошлые несколько раз, когда мы принимали их вместе с алкоголем... – сопротивлялась Банникова из последних сил.

– Почти не помню, в том-то и дело. Что может быть лучше? Неси их сюда.

– Но они же для тех, у кого депрессия...

– Ты за кого нас держишь вообще? Мы что, по-твоему, похожи на тех, у кого ее нет?

– Мы оптимисты, вот по нам и не видно, – подключился к вымогательству Косухин. – Депрессивные оптимисты!

И Банникова сдалась.

*

Утопая в мяготи дивана, я плавно передвигал свой взгляд от предмета к предмету, исследовал натюрморт: посреди прозрачной водочной лужицы на журнальном столике возвышалась пустая бутылка с дозатором, еще одна полупустая, пузатая, с золотистым изысканным содержимым лежала поблизости, а вокруг валялись блистеры из-под таблеток, как искореженные доспехи на бессмысленном поле боя.

Телевизор беззвучно показывал передачу про диких рептилий. Я закрывал глаза, чтобы моргнуть, а когда открывал их – картинка уже успевала смениться. Зубами лязгали крокодилы, гекконы перебирали лапами, вращали глазами хамелеоны, жабы прыгали с ветки на ветку, змеи спаривались толпой, вараны жрали мертвого буйвола, глотали куски, не жуя.

Меня передергивало от этих зрелищ, и я хотел крикнуть, чтоб нахуй выключили, но сразу же забывал, отвлекался на что-то еще. Например, на Косухина, который из нас единственный находился в себе силы буйствовать: Лилля и Баня лежали в обнимку под пледом; Слалом уснул на ковре, хотя еще даже вечер не наступил; я, вжавшись в диван, боролся с чувством, будто меня утягивает в мясные тоннели змеиных ртов. А Косухин вовсю резвился. Он подпрыгивал, делая акцент на приземлении, как будто пытался пол проломить, рычал и хрипел, хватался за волосы, погружался в недобрый транс.

– Может, хватит? – выдавил я, имея в виду варана, который ронял на горячий песок ядовитые слюны, уставившись прямо в камеру. – Ради бога, вырубите вы эту мерзость.

Никто не пошевелился. Только Косухин замер.

– Может, хватит... – повторил он за мной стремительным полусшепотом. Лицо его прояснилось, как будто он только что открыл закон всемирного тяготения. – Может, хватит?

Убивать он себя не планировал, я уверен, иначе бы просто шагнул в окно. Нуна просто хотел обновиться. Слишком многое в нем, как и в каждом из нас, накопилось за этот год. Он решил экстренно освободиться от лишнего, и выбрал для этого, как ему показалось, самый эффективный и эффективный путь.

– Может, хватит? Может-хватит... Можетхватит!

Кровопускание.

Косухин схватил с барной стойки длинный кухонный нож, прижал к запястью и несколько раз полоснул. Лиля вскочила, и я оживился тоже, как будто бы нас не мазало как последних медуз буквально секунду назад.

Лишнее выплеснулось из Нуны густой красной струйкой на бежевый ковролин. Нуна Косухин заулыбался блаженно и стал наблюдать за кровью, струящейся в несколько ручейков. Лиля приблизилась осторожно.

– Нуночка, отдай мне, пожалуйста, ножичек.

Косухин отвлекся от крови и поднял на Лилю умиротворенные, чуть побледневшие глаза просветленного.

– Пока ты еще чего-нибудь не натворил – отдай, хорошо? – она протянула руку.

Немного помедлив, Косухин покорно протянул ей нож, но вместо того чтоб отдать, в последний момент полоснул по ладони.

– Ты придурок, что ли?! – Банникова поднялась с дивана.

Косухин расхохотался. Она схватила одну из бутылок с остатками пойла и увела Лилю в туалет – обрабатывать рану. Косухин внимательно рассмотрел окровавленный дважды нож у себя в руке, открыл окно и швырнул его наружу. Секунд через пять послышался ляг об асфальт и визг.

На экране змея поедала чужие яйца, отложенные в песке.

Я наудачу засунул руку под плед, которым укрывались девчонки, и в складках дивана с первого раза нащупал пульт. Случайно ткнул не туда и вместо того, чтобы выключить телевизор, вернул звук, зачем-то выставленный на полную громкость, подкрепленную мощной системой колонок.

– ЧЕРЕЗ ТРИ НЕДЕЛИ У ЭТОЙ ЗМЕИ НАЧИНАЕТСЯ ЛИНЬКА. ОНА ТРЕТСЯ О ШЕРШАВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, ПОКА КОЖА НЕ ЛОПАЕТСЯ, А ПОТОМ ПОКИДАЕТ ЕЁ.

От оглушительного дикторского голоса Слалом проснулся, стал сонно водить своим рылом, пытаясь вспомнить, где он находится. А Нуна тем временем принялся рисовать. В качестве краски использовал кровь. В качестве кисти – палец. Он рисовал на окнах, на подоконниках, на кремовых обоях с аквариумной полосой, на всем, что ему попадалось.

Диктор не затыкался:

– РАЗНООБРАЗИЕ ОТТЕНКОВ НА ТЕЛЕ ЭТОЙ САМКИ ХАМЕЛЕОНА НЕ ОСТАВЛЯЕТ СОМНЕНИЙ, ЧТО ОНА ГОТОВА СПАРИВАТЬСЯ И ИЩЕТ ПАРТНЕРА.

Пульт не работал больше. Похоже, что батарейки в нем разрядились. Ничего не получалось, все путалось. Я отбросил эту бессмысленную пластмассу с кнопками, сполз с дивана и сел на полу. Выдавил две таблетки из почти опустевшего блистера, проглотил. Слалом уткнулся в телефон, играл там в какие-то гонки, а Косухин всё рисовал, рисовал, и бордовый узор из змеистых линий, кругов и спиралей обволакивал нас, покрывая стены квартиры.

*

– Ты грязный. Грязнуля ты. Слышишь?

Это она про кровавый рисунок на лбу. Я никак не отреагировал, даже не пошевелился, когда Косухин его рисовал. Настолько надежно работали шестеренки таблеток, смазанные бухлом. Да и сейчас продолжают, работают еще как. Сколько времени прошло? Без понятия. За окнами светло, почти как и было. Значит, еще не стемнело. Или уже рассвело. Может, сутки прошли? Может, двое суток? Скорее каких-нибудь полчаса.

– Слышишь или не слышишь? Ты грязный! Тебя надо срочно помыть.

Ладонь у Лили перебинтована. Из комнаты, переполненной голосом диктора, Лиля ведет меня за руку в ванную. Там открывает кран, затыкает сливное отверстие черной резиновой пробкой. Ванна медленно наполняется теплой водой. Нужно подождать.

– Кто это у тебя на лбу нарисован? Ящерка? Змейка?

Я не знаю, кто нарисован у меня на лбу. Я не смотрелся в зеркало и не буду. Какая мне разница, кто нарисован?

– Похоже, что ящерка, – она говорит.

Мы сидим на мягком ковре и разглядываем друг друга. Мне хочется поцеловать Лилю, но она это делает первой. Потом ложится и задирает свое темно-синее платье. Колготки разорваны между ног. Я знаю, кто их разорвал. Косухин, кто же еще? Когда Банникова ушла в аптеку, а Славом вышел на балкон поговорить со своей девчонкой, они закрылись и на двуспальной кровати родителей делали это как можно громче, чтобы я слышал и мне было больно. И мне было больно.

Лиля шумно дышит и отворачивает лицо в сторону. Закрывает глаза, нахмурилась, плотно сомкнула губы. Похоже, происходящее не сильно ей нравится. Мне тоже не сильно. Мне никак. Просто двигаюсь по инерции. Пытаюсь себя убедить, что нравится, но не чувствую ничего. Ничего, кроме дикого, непонятно откуда взявшегося желания сделать ее беременной. Чтобы у нас был ребенок. Чтобы она объявила об этом снова, теперь всерьез. Но проблема вся в том, что для этого необходимо чувствовать ещё что-то, а я не чувствую ничего, я скольжу вхолостую, и «повальсируй со мной, мой сладенький, я твоя Верочка» в этот раз не поможет. Дверь открывается, кто-то невозмутимо перешагивает через нас, берет полотенце, уходит. Нам всё равно. Пусть хоть все трое смотрят. Не на что тут смотреть.

– Может, всё? – предлагает Лиля.

Она права. Мы разъединяемся, стягиваем остатки шмоток с себя и заглядываем в ванну, подкравшись к бортику на четвереньках, как любопытные звери. Ванна почти пустая, не заполнилась даже на треть. То есть мы возились совсем недолго, а казалось, что дольше некуда – так утомительно это было. Нам не терпится, мы не можем ждать больше, мы забираемся в ванну. Сидим друг напротив друга. Вода прибывает. Пока что в ней только наши зады и ступни, но это лучше, чем ничего. Лиля намыливает меня шампунем с запахом миндаля. Действует только левой рукой, ведь правая перебинтована. Трёт меня розовой мягкой мочалкой.

– Кто это у нас тут такой грязнуля?

Мне хочется ей сказать «Я люблю тебя», но вместо этого из меня вырывается:

– Хрю! Хрю-Хрю!

– Мне нравится тебя мыть.

– Хрю-хрю!

Ванна наполнилась до середины. Банникова стучится и входит, хотя могла бы и не стучать. В руках у нее фарфоровая кукла. У Лили дома много таких, очень похожих на эту. Банникова берет со стиралки пластмассовый гребешок, присаживается на край ванны. Надув и без того огромные губы, она бережно расчесывает кукле волосы. Наконец решается заговорить.

– Лиля, мне кажется, ты ведешь себя жестоко. И гадко. А еще мне кажется, что ты никакая не лесбиянка. Насчет себя я тоже не уверена, но мы ведь договорились с тобой попробовать. И договорились, что все у нас будет честно. А в итоге вот что, – она бросает ревнивый взгляд на меня, а потом снова пялится в рожу кукле. – И я действительно испытываю к тебе чувства. Настоящие чувства. А люди и их чувства – это не игрушки, ты понимаешь, Лиля?

Не думаю, что Лиля понимает. Она даже не смотрит на Банникову, ни разу не посмотрела. Она продолжает сосредоточенно меня мыть.

– А эту куклу, – всхлипывает Банникова, – я хотела тебе подарить на последнем звонке. Но не буду. Потому что ты сука! Потому что ты мразь поганая!

Она выбегает. Мы с Лилей снова наедине.

– УХАЖИВАНИЯ БОЛЬШИНСТВА ХАМЕЛЕОНОВ НЕЖНЫЕ, НО В ЭТОЙ ПУСТЫНЕ САМЦЫ И САМКИ ТАК РЕДКО ВСТРЕЧАЮТСЯ, ЧТО ОНИ НЕ МОГУТ РИСКОВАТЬ БЫТЬ ОТВЕРГНУТЫМИ, – доносится из двери, которую Баня оставила после себя распахнутой.

Лиля всё так же невозмутимо моет меня до тех пор, пока мыльная вода не ползет через край, проливаясь на пол, и только тогда она говорит:

– Вот и всё, ты теперь чистенький, – и выдергивает пробку.

Вода с урчанием убывает. Мы кое-как вылезаем из ванны. Выглядываем за дверь. Тучи размякли, солнце переместилось, квартира впустила в себя очень много пыльного солнца весны. Голые мы, фальшиво счастливые, брызгаясь и смеясь, выбегаем под эти лучи, жадно под них подставляем, пробуем их проглотить.

– НЕСМОТРЯ НА ВСЕ СЛОЖНОСТИ НА ИХ ПУТИ, РЕПТИЛИИ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПРОЦВЕТАЮЩИХ КЛАССОВ, ЖИВУЩИХ НА ЗЕМЛЕ, – успевает сказать ведущий прежде, чем я нахожу нужный провод и с наслаждением вырываю его из розетки.

Стены все изрисованы. Тело куклы с задранным платьем лежит на полу отдельно от головы. Бани и Слалома нет, и из запертой комнаты слышатся их совместные звуки. Похоже, что Слалома можно поздравить, но кто захочет его поздравлять?

На балконе Нуна Косухин сидит перед синтезатором. С важным видом и ровной осанкой он выглядит как виртуоз. Разминает пальцы, прикрывает глаза и делает вдох поглубже. Быть может, он хочет исполнить Моцарта? Или Баха? Вряд ли, ведь Нуна Косухин совсем не умеет играть. Все, что он может исполнить нам – это жуткую какофонию. Саундтрек наших жизней, пугающий птиц и других гармоничных существ. И он исполняет, он долбит по клавишам сильно и хаотично. И мы выбегаем туда, на балкон, беснуемся голыми дикарями. Пляшем под милую нам антимузыку дёрганный антивальс.

VI

*Школой нашей гордимся,
С ней навек породнимся,
Мудрый учитель и класс наш родной,
В сердце всегда со мной.*

Какие жестокие в этом припеве слова. Навсегда сохранить в сердце то, что хочется поскорее оттуда вышвырнуть, если уж не получилось совсем туда не впускать.

Это есть на видео, которое снимал мой отец: мы всем классом стоим на сцене, украшенной белыми, синими и красными праздничными шарами. Парни в пиджаках, девчонки зачем-то с косичками и в уродливых фартуках под советских школьниц. Играет гимн, написанный малахольной училкой по музыке. Мы с Косухиным не подпеваем, даже не делаем вид. А Лиля, конечно, поет эту чушь во весь голос, широко открывает рот по-актерски, тщательно проговаривает все звуки, умудряется еще и улыбаться при этом.

Напротив сцены сидят учителя, а за ними стоят родители. Среди них мать Лили, похожая на свинью-мутанта из компьютерной игры про Чернобыль, популярной в конце нулевых. Мы с Косухиным тычем друг друга локтями, стараемся не смотреть на нее – сердитую и немного растерянную, давимся смехом неловкости, потому что за час до этого, в десять утра, сидя на подоконнике мужского туалета на втором этаже, Косухин мне сообщил:

– Не удивляйтесь, Павел, если в кратчайшие сроки ее мамаша оторвет нам приборы.

– Это еще почему?

– Присаживайтесь поудобнее.

Наши приплюснутые тени на кафеле, окруженные шевелением листьев, передавали друг другу небольшую стекляшку клюквенной сладкой настойки.

– Дело в том, что маман нешуточно обеспокоилась, узрев руку Лили перебинтованной после наших культурных, так сказать, посиделок. И, обеспокоившись, вознамерилась чуть больше узнать о дочкиных развлечениях, предпочтениях и увлечениях. А доча, как обычно, забыла выйти на общем компе из аккаунта, и мать прочитала за ночь всю летопись, всю переписку с тобой и со мной, и даже полюбовалась на идентичные гениталии придурочных близнецов из качалки. В общем, прямо сейчас она сонная, всезнающая и злая.

– Ну и ну, Косухин. Вот это вы меня огорошили, браво.

– Рад слышать. Но, в сущности, предполагаю, что нам ничего не грозит. В крайнем случае, с моей бабушкой и вашим отцом будет проведена крайне неловкая, не ведущая ни к чему беседа, но разве нам это не безразлично?

– Безразлично вполне.

– Вот и я вам о том же толкую.

Перебрасываясь и дальше бессмыслицей, мы допили настойку и поторопились на церемонию: прогулять собственный последний звонок было бы даже для нас с Косухиным чересчур.

*Сделать душу добрее,
А поступки мудрее,
И тогда будет легче
Долететь до желанной звезды.*

– Ноги просят танца у вас? Мы ведь скоро вальсируем, помните? – шепчет подлец Косухин.

– Не напоминай, – отвечаю я.

Хоть мы и выпили немного клюквенной в туалете – я охуенно волнуясь, зеваю безостановочно, у меня при волнении так всегда.

– Да ладно вам, Павел, уроним этих кобыл на поддержке, представьте как замечательно будет! Зеваю еще. И еще.

А потом не знаю, что именно произошло, может, сраный гимн как-то съездил мне по мозгам или повлияла общая атмосфера мероприятия, или божья снизошла благодать, но на пару долгих счастливых секунд волнение отступило. Я отвлекся от учителей и родителей. Отвлекся от волнения насчет вальса, отвлекся от мысли, что вот он, последний звонок – и всё, еще одного не будет, потому он и назван последним. Отвлекся от всего этого барахла. И посмотрел на нас с Косухиным со стороны. Но не в стиле обличающей фразы «Посмотри на себя со стороны!», а беспристрастно, медитативно, как будто стал отцовской видеокамерой и навел на нас двоих фокус.

Неловкие жесты. Несформированные характеры. Непредсказуемые поступки. Некто патлатый в мятой рубашке навывпуск и некто стриженный коротко, в рубашке розовой, заправленной под ремень. Кто мы? Не спортсмены и не задроты, не уроды и не красавцы, не альфа-человек и не диди-ки, не герои и не злодеи, невнятные полудурки, мамонт и обезьяна. Мы безуспешно воспитывали в себе равнодушие ко всему. Убеждали друг друга в том, что не существует любви, а на следующий день кому-нибудь в ней признавались. Критиковали каждого, кто хотел показаться не таким, как все, и сами же пытались за счет этого выделиться. Сосредоточенные на ерунде. Слишком честные в мелочах и слишком лживые в главном. Тормознутые, но безрассудные. Мы были такими, какими были, и не поддавались классификации.

Наконец-то гимн кончился. Все расселись по местам. Из нашего класса не было только Банниковой, которая все-таки укатила на месяц в дурдом.

Началось что-то вроде концерта. Учителя толкали фальшивые, полные пафоса речи, а одноклассники разыгрывали смешные сценки. Вернее, подразумевалось, что смешные, а на самом деле нисколько, нелепые в лучшем случае, в худшем – вообще никакие. Сначала про ученика, который пытался списать на экзамене, и за ним тут же пришли из военкомата, потом что-то бесстыдно украденное из КВН, а потом – не знаю, потому что меня потрогали за плечо и позвали за кулисы.

Мы стояли в темноте, один за другим, в строгом отрепетированном порядке. Все знали, что на последнем звонке вальс – это самое главное, поэтому все волновались, хоть и очень старались этого не показывать.

- Готовы прожаривать тёлочку?
- Всегда готовы!

Со сцены доносились шутки, но за кулисами они слышались так, будто произносились не в микрофон, а в подушку. Потом прозвучали аплодисменты.

«Только бы не уронить», – подумал я и зевнул.

Еще несколько неразборчивых фраз. Это ведущий объявил, что сейчас будет вальс. Все при- тихли, выпрямились. Первый аккорд приготовился зазвучать. Азербайджанская певица Сафура приготовилась выть свою серенаду.

«Только бы не уронить», – подумал я снова и снова зевнул.

*

На школьном крыльце мы, напялив выпускниковские ленты, отпустили в небо стаю красных шаров. Каждый смотрел на свой и пытался распознать судьбу по его движениям, но очевидных знаков не наблюдалось: ни один из шаров не застрял на дереве, не лопнул и не запутался в про- водах. Приподнявшись достаточно высоко, они с помощью ветра унеслись над городом, разлете- лись, и уже там, недоступные наблюдению, цеплялись за колючую проволоку, болтались на маги- стралях, плавали на волнах, попадали в руки младенцам и в зубы бродячим псам.

Мы в это время топали в центр. Там, пока большинство одноклассников возлагали цветы к военному мемориалу у мэрии, мы со Слаломом, Нуной и Валеи (начиная с Нового года, он стал спиваться интенсивнее многих из нас) прикончили в тихом дворе бутылку дешевого коньяка, из- за которого в сочетании с аномальной жарой у меня чуть позже, на высушенной солнцем и пере- полненной выпускниками площади заструилась из носа кровь. Девчонки дали мне пачку влажных салфеток. Кровотечение остановилось, когда единственный в городе парк аттракционов вовсю нас приветствовал визгом и традиционным запахом горелого шашлыка.

Мы выстроились в очередь, намеренные воспользоваться эксклюзивным правом выпускни- ков прокатиться бесплатно на колесе обозрения. Ржавые корзинки проплывали мимо, забирая нас небольшими порциями. Вера стояла чуть впереди меня и метила с подругами в одну партию, но когда уже подходила их очередь – подруги отвлеклись на ростовую куклу в виде придурочной зебры из мультика, на что Вера выдала растерянное «э», а грозная контролерша, приставленная к аттракциону, уже готова раскрывать хайло, чтобы, не дай бог, корзинка не отправилась вверх пустой.

И тогда я, сам от себя такого не ожидая, взял аккуратно Веру за локоть, провел на пару шагов вперед, и защитная цепь с крючком на конце отделила нас от толпы. Вера разводила руками, да- вая понять, что она ни при чем, и вообще это сами они виноваты. Удивленные дуры-подруги были все дальше и дальше от нас.

Потом она повернулась ко мне и, прямо как перед первым вальсом, насмешливо вздернула бровь.

- Целоваться не будем, – сказал я, – даже не мечтай.

Вера искренне рассмеялась. Обычно я радовался, когда удавалось ее рассмешить, но в этот раз было как-то без разницы, и я взглянул на нее, смеющуюся, спокойно. Вера и с этими гадкими косичками, и в этом отвратном фартуке советской школьницы была привлекательна, хоть уже и не так, как в начале года, и уж точно не так, как в десятом. Что-то ощутимо менялось в ней с каждым месяцем, что-то неуловимое уходило. «А что же тогда через год, через два, через десять?» – прикинул я.

- По-моему, вальс прошел идеально.
- Главное, что я тебя не уронил.
- О да! За это спасибо.

- Всевышнему.
- У нас правда всё получилось.
- И мы даже не были хуже всех?
- Вот именно!

Позже она посмотрит внимательно видео, снятое моим отцом, и все же найдет в нашем танце немало ошибок и недочетов, но пока что она довольна и даже счастлива, поднимается на колесе обозрения, а я, чтобы она не была такой уж совсем беспечной, спрашиваю:

- Почему ты предложила именно мне?
- Тяжелый вздох № 7 из коллекции Веры.
- Уже надеялась, что не спросишь.

Но это не ответ. А с ответом она не торопится. Смотрит вдаль. Мы как раз подбираемся к вершине не слишком высокого колеса – самого бессмысленного аттракциона в парке. Перед нами роскошный вид на выкрашенные в грязно-зеленый, покосившиеся бараки ближайших районов, так называемый «старый город».

- Есть три причины.
- «Причина первая – ты долбоёбка, причина вторая – он долбоёб...».
- Чего ты смеешься?
- Да так, просто кое-что вспомнил не в тему.

Нуна с Лилей уже прокатились на колесе и стоят у забора. Я вижу их с высоты. Свободной от сигареты рукой Лилия сжимает палку с розовым набалдашником сладкой ваты. Нуна улыбается и показывает мне фак.

- Во-первых, ты мне по росту подходишь.
- Не я один. Но другие уже были заняты?
- Вроде того, – пытается Вера смягчить ответ. – Это как раз во-вторых. А в-третьих, я точно знала, что ты не откажешься. Поэтому и предложила. Извини? – говорит она, не уверенная, стоит ли за такое вообще извиняться. Я не уверен тоже.

Сойдя с колеса, мы медленно двинули к выходу мимо советских качелей-лодочек на двоих, мимо тира, каруселей и автодрома, в котором однажды я маленький разогнался и специально врезался в стену зачем-то, разбил себе нос.

– Можно теперь я спрошу? – спросила Вера. – Мне любопытно просто. То, что про вас с Лилей все говорят, – это правда?

– Да, мы действительно нашли однажды мертвого инопланетянина, приготовили его наостре и съели.

- Ты в своем репертуаре, – закатила она глаза.

Мы вышли из парка.

- Хотя на этот раз вы позволите до остановки вас проводить?
- Так и быть, – сказала она и продемонстрировала экспонат № 73 из своей коллекции грустных улыбок.

- На заливе ночью увидимся? Все идут.

– Не надо, не все. И я не пойду. Чего мне там делать? На пьяных смотреть? Спасибо, отца хватило.

«Вечно они трясутся со своими папашами», – думаю я, а говорю другое:

- Можно ведь и самой побыть пьяной. Ради разнообразия.
- Мне не нравится. Я же пробовала. Всё как будто выходит из-под контроля. Что угодно может произойти.

- Ты не поверишь, но пьют как раз ради этого.

- Верю. Но понять не могу. Что хорошего в этом? По-моему, ничего.

Я бы мог на ходу сочинить и задвинуть теорию о том, почему одни люди тянутся в водовороты хаоса, а другие их избегают, мог бы целую лекцию прочитать, рисуя пальцем на небе графики, но остановка была совсем рядом, и автобус приехал сразу, как только мы к ней подошли.

– Удачи тебе на экзаменах!

– И тебе, – я ответил.

Двери закрылись, Вера уехала. Это был самый продолжительный и самый мирный наш диалог. Насмотревшись автобусу вслед, я шел на район и думал о том, насколько мы разные с ней. Я думал: «Ну разве могло у нас что-нибудь получиться? Она называет книгу про Холдена Колфилда наркоманией и считает грустными все песни без ярких взрывных припевов. Ей не нравится в алкоголе то, что я в нем больше всего ценю. В конце концов, она живет всего в двух остановках отсюда и едет домой на автобусе, а я на другой конец города прусь добровольно пешком». Еще через пару кварталов подумал: «А с чего я решил, что она сейчас едет домой? Так ли много вообще я знаю о ней?» С этой мыслью прошел еще пару кварталов, остановился и все-таки сел в автобус.

*

В пустой гостиной неведомо сколько уже часов на повторе крутилась видеозапись вальса, введенная на телевизор. Мамы не было дома, как и не было ее утром в актовом зале: за пару дней до последнего звонка она укатила в отпуск.

– Иди сюда, тут закат охуенный, – послышался нетрезвый отцовский голос с незастенчивого, с видом на набережную балкона.

– Щас, переоденусь только.

Я прошел в свою комнату, сбросил надоевший за день пиджак и стал рыться в шкафу: для ночного вливания на заливке мне требовалась одежда, которую не жалко провонять костром. Нашел ветровку, в которой с Лилей ходил к мосту. Достал и краем глаза заметил: что-то не так с аквариумом.

Тритон лежал лапами вверх. Полупрозрачная пленка кожи отшелушивалась от бледного брюха. Я привычным движением пошевелил аквариум. Вдруг он не умер все-таки? Вдруг он просто уснул еще крепче, чем спит обычно? Пошевелил сильнее. Из его приоткрытой пасти вырвался стук зеленой жижи.

– Ну ты где там? – крикнул отец. – Охуенный закат, говорю.

Я вышел к нему. Отец восседал в одних плавках и солнцезащитных очках на белом пластмассовом стуле. Рядом стояла почти пустая бутылка бурбона. Не первая, судя по нему.

– Ну вы с этим вальсом, конечно, вообще, блин, – сказал он, восторженно похохатывая. – Ну вы, конечно, вообще...

Я сел рядом на точно такой же стул. Уставился в горизонт. Закат охуенным не был. Обыкновенный закат.

– У тебя с Верой что-нибудь было же, да? – игриво спросил отец. Ему пришлось потрудиться, чтоб склеить звуки между собой.

– Не было, нет.

– Да ладно тебе, признайся, чего ты? – он скособоленно улыбнулся и приложился к бутылке.

– Умер тритон.

Отец не расслышал.

– Было, да, говорю.

*

Ага, с тех пор у меня не только имени нет, но и тела. Смерть, как выяснилось, тот же сон, только без необходимости есть, испражняться и просыпаться по воле какого-нибудь недоумка, который трясет аквариум, желая убедиться, что я живой. Я не живой. И трясти меня негде и некому. Так мне живется, пардон, существуете гораздо легче, гораздо свободнее. Я так могу погружаться и дальше, и глубже, чем раньше. А когда мне надоедают галактики, черные дыры, океаны, фракталы и древние цивилизации, когда начинает хотеться чего-то попроще и поглупее, я наблюдаю за мелким. Ему двадцать пять сейчас. Почему-то именно этот возраст упоминала Лилия во многих своих пророчествах, ни одно из которых не сбылось. Инженером он так и не стал, кожаным портфелем

не обзавелся; девушки нет, но есть документ о расторжении брака; живет не в одной квартире с родителями, а в тысячах километров от них. Я наблюдаю за его жизнью, как будто смотрю развлекательный телеканал, хотя на первый взгляд кажется, что развлекательного там ничего, но я-то умею подмечать в его поведении те уморительные чудачества, которые досконально успел изучить еще при жизни с ним в одной комнате. Самому ему кажется, будто он сильно изменился со школы, но кроме щетины и дополнительных пятнадцати килограмм я не вижу в нем нового ничего, как и во всех остальных героях этого текста. Разумеется, все они приспособились, илифанули углы, научились скрывать свою дикость, устроились на заводы, повыходили замуж, повыбрасывали фарфоровых кукол, пооткрывали бизнесы по наращиванию ногтей, некоторые обзавелись совестью, некоторые даже детьми, но в основе своей остались ровно теми, кем были. Это не плохо и не хорошо, не хорошо и не плохо. Просто все в глубине остаются ровно такими, как были всегда, еще до рождения. И со всеми случается только то, что с ними должно случиться. С этим удобно спорить, достаточно просто сказать, что если бы Паша Угрюмов в последний день лета не побоялся и не побрезговал сесть со Слаломом на мотоцикл, то и не было бы всей этой истории, фрагменты которой мне выпало вам рассказать. Но подобным образом рассуждать может только тот, кто не видит невидимое. А я, как известно, вижу. И стремлюсь, как всегда, к запредельному. В том числе за пределы этого текста, куда мелкий без спроса меня втянул. Неумолимо подходит к концу мой последний фрагмент. Пора. Дел поважнее нет, но есть развлечения поинтереснее. К ним я, пожалуй, и устремлюсь, поставив невидимый добрый смайлик в конце. Если что, я нигде. Не теряйте.

*

Одним тритоном не обошлось. Когда почти все экзамены были уже сданы, у бабушки умер кот. Родители часто вспоминали шутку из интернета: «Детство продолжается до тех пор, пока ты младше кота». Кот умер в двадцать три года. У меня в запасе было еще целых пять лет детства, если той шутке верить. Но я не верил. Мне казалось, что детство либо уже закончилось, либо продлится вечно. До выпускного оставалось несколько дней.

Он проводился в кафе на дальней от нас окраине. Через дорогу шумел скандально известный клуб, где каждые выходные случалась как минимум поножовщина. Правее был въезд в гаражный кооператив, огражденный забором с колючей проволокой. На всех фотографиях, где нарядные одноклассники, стоя у входа в кафе, смотрят якобы в светлое будущее, – они смотрят либо на маргинальный клубешник, либо на гаражи. Я же предпочел лишний раз не фотографироваться, равно как и не участвовать в глупых конкурсах. Это был мой способ саботировать выпускной – праздник, определяемый нами с Косухиным как торжество показухи. Косухин вообще туда не пошел и скидываться не стал, а неохотно выданные бабулей деньги забрал себе и устроил самостоятельный праздник. Я так сделать не мог. Мама твердо была намерена наверстать пропущенный последний звонок, говорила мне, что выпускной – это прежде всего для родителей. И отчасти была права. Во всяком случае, нагружались родители гораздо мощней.

Как только бабища-тамада отошла в туалет на минуту – микрофоном сразу же завладел чей-то тучный отец и стал говорить длинный тост, приплетая туда всё подряд:

– ...и мне вспоминается, как старшина сказал нам: «На эти два года я буду для вас и папкой, и мамкой, ёбаный в рот!» – кто-то из учителей закашлялся, поперхнувшись. – Ну так вот, о чем это я? Спасибо вам, дорогие классные руководители, за то, что эти сколько-то лет, – он пьяно икнул, – вы были для наших детей и мамками, и папками...

– А мы-то кем были тогда? – выкрикнула какая-то из мамаш.

– Да никем, – буркнул он и рухнул обратно на стул. Последние силы его покинули. Все израсходовались на тост.

«Лучше бы микрофон дали мне, я бы что-нибудь пободрее задвинул», – подумал я. Но если бы мне действительно предоставили слово тогда, то ничего интересного я бы, конечно же, не сказал, в лучшем случае отшутился бы и поскорее вернул микрофон обратно.

А вот если бы мне его дали сейчас, то я бы точно не растерялся.

Я бы встал, обязательно поднялся на сцену и, выдержав необходимую паузу, приступил к говорению:

– Не такие уж уважаемые учителя. Не слишком любимые родители. Не дорогие совсем одноклассники. Вот и закончились школьные годы, которые старшее поколение так любит напрасно превозносить. Было много всего. Кое-чего даже многовато. Слишком много, я бы сказал. Слишком много уроков и перемен. Слишком много черных гелевых ручек и репетиторских душных квартир. Слишком много крикливых птиц, мешающих спать по утрам. Слишком много крови и дыма, нетрезвой искренности и слёз. Слишком много мата и ревности, недоверия, желчи и ярости, грохота, смеха, порнухи, таблеток, бутылок, яда, стыда. Слишком много энергии. Слишком много вранья. Слишком много зверства и детства, жадности и влюбленности. Слишком много второстепенного. Маловато лишь доброты.

Тут я на пару секунд замолкаю, позволяя как бы дотронуться своей речи до дна и полежать там немного, прежде чем она поплывет обратно, на свет.

– Но однажды мы вспомним эти времена, когда проблемы влюбленности, девственности и покупки бухла без паспорта нам казались самыми душераздирающими из возможных. Вспомним и улыбнемся слегка брезгливо. Потому что к тому моменту все мы изменимся изнутри до полной неузнаваемости. Мы ведь каждую секунду меняемся и не становимся прежними никогда. Так давайте же выпьем за то, чего вот-вот навсегда лишимся. За беспечную тяжесть, за местную анестезию в районе совести, за невыносимые страдания по пустякам. И за то, что душа подростка – это лишь уникальное сочетание наихудшего, что есть в ребенке и взрослом. Ура?

Несколько секунд сохраняется молчание. Слышно, как булькает вода в унитазе, утягивая в канализацию кал и мочу тамады. А потом взрыв оваций, и вот меня уже подкидывают под потолок, звучит коллективный вопль эйфории, который длится так долго, что перерастает в сирену, призывающую к беспорядкам. Отцы дерутся между собой, хохоча, как пираты в мультиках; матери целуются друг с другом всасос; учителя бьют бокалы и лезут на стол; выпускники перестают позорно бегать курить за угол кафе и свободно, прямо перед родителями закуривают в помещении; парни выстраиваются в очередь, чтобы пожать мне руку, но мне не до них: я забираюсь обратно на сцену, где меня ждут музыканты-задроты, но играют они в этот раз безупречно, а я безупречно ору в микрофон, и мы исполняем какое-нибудь говнище, смазливый поп-панк, звучащий во всех одинаковых фильмах про колледж и красные пластиковые стаканы. Девчонки, конечно же, сбросили платья и лезут на сцену голые, но откуда-то взявшиеся секьюрити их не пускают туда, и они довольствуются немногим: кидают в меня трупы со скользкими пятнами выделений, срывают визгом свои голоса. И только Вера продолжает спокойно сидеть за столом и смотреть на происходящее с насмешливой жалостью, ковыряя фруктовый салат.

*

Взрослые разъехались по домам, а мы остались еще дотанцовывать. Часа в два ночи закрылось кафе, и Лиля предложила соблюсти выпускную традицию: встретить на набережной рассвет. Ей – как, впрочем, и мне, – это было очень удобно, она ведь жила там рядом, и получалось, что ее как будто бы провожает домой весь класс.

– Пойдите, какой рассвет! И так светло! – опомнился Валя на полпути. И правда. Белые ночи были в самом разгаре. – Да и к тому же набережная ваша – в северо-западной части города. Там солнце садится, а не встает!

Но заднюю давать было поздно, и все шли дальше, перебрасываясь пустыми словами, передавая полупустые бутылки. Город казался мертвым. Из-за белых ночей можно было забыться, подумать, что никакая это не ночь, а пасмурный день, и почувствовать, будто произошел конец света, а мы – единственные, кто выжил.

Веры не было с нами. Не было и Антонио. В четыре утра у воды, недалеко от мелуэзых полей и тритоньей могилы, среди камышей и колотого асфальта оказались лишь самые отчаянные из нас. Чего стоил хотя бы Валя, который, слегка проблевавшись черной масляной жижей, похожей

на нефть, моментально воспрял и поспорил со Слаломом, что пройдет по берегу босиком: от края до края набережной.

Скинув туфли и закатав штаны, под одобрительные возгласы нас, находящихся в сухости и безопасности, он начал свой путь по колену в холодной воде. Перед каждым следующим шагом ему приходилось сквозь мутную воду осматривать тщательно дно, чтобы не наступить на осколок. Осколков там было много.

Мы с Лилей сидели на бетонном, исписанном баллонами ограждении метрах в трех над водой. Лиля беспечно болтала ногами.

- Может, к тебе? – предложила она.
- Родители дома. Да и вообще, я решил завязать со всем этим.
- Со всем – это с чем?
- С тобой.
- Точно решил?
- Ага.

Булькнула рыбка-подросток, проплыв слишком близко к поверхности, практически вынырнув, как дельфин.

- А если я тебе скажу, что у меня квартира свободна?
- Ну попробуй, скажи.
- Квартира свободна, – по-клоунски всплеснула руками Лиля.
- Рад за тебя.
- Уёбок, – отрезала Лиля с наигранной злобой. – Козлина и хмырь. Ссыкун и девственник ты.

Вдалеке крикливые птицы, расправив крылья во всю ширину, пролетали над самой водой, старались вылавливать рыб. Ничего у них не получалось.

- Мама дома на самом деле. Я просто хотела тебя проверить. Это экзамен такой.
- И как результаты?
- Похоже, действительно всё.
- Надеюсь, что физику сдал еще лучше.
- Придумал, куда поступать?
- В Ярославль попробую. И в Рязань. У меня там дядя живет. В целом не важно, куда. Лишь

бы подальше, и всё.

- Тебе, что ли, правда похуй на свою судьбу?
- Типа того.
- Ты врешь.
- Да, я вру.
- Ты дурак. А ещё кто ты – знаешь?
- Не знаю.
- Девственник и ссыкун!
- Неужели?
- Да-да! Которому одежде родители выбирают!

Валя тем временем прошел уже половину, и ему надоело осматривать дно. Он шагал все смелее и всё сильнее полагался на интуицию и удачу. Некоторые шутиливо старались ему подгадить, поспешно опустошали свои бутылки и сбрасывали их вниз, на камни, лежащие прямо у него на пути. Валентин сохранял спокойствие. Старался не отвлекаться.

Лиля спросила:

- Хочешь желание загадать?
- Какое еще желание?
- Любое. Для этого надо кинуть кое-что в воду.
- Монетку, что ли? Не, возвращаться я не хочу.

– Не монетку, – она протянула ладонь, на которой лежало два глазика. Я отшатнулся. Она засмеялась. – Говорю же, ссыкун! Это пластмассовые. Я вырвала их у шапки-панды, сезон кон-

чился, да и надоела она мне уже. Вообще-то ты тоже мне надоел, но не бойся, тебя калечить не буду. Бери один глаз.

Я взял. Рассмотрел его. Недонечто мелькнуло в гладкой поверхности.

– Загадывай и кидай.

Я не стал загадывать ничего. Просто бросил. Лиля тоже бросила вместе со мной. Две пластмасски плюхнулись в воду почти одновременно.

– Что загадал?

– Не скажу. Иначе не сбудется.

– Это правильно. Лучше не говорить.

Позади, над домами, поднялся рассвет, и вода вдалеке чуть подкрасилась в розовый вместе с чайками, все так же бестолково летающими над ней.

Возобновили после ночного отдыха свою работу судьбоносные аппараты. Продолжили опускать свои механические ладони на наши бланки, заполненные черными ручками. Определять изогнутые и прямые, длинные и короткие, счастливые и несчастные пути дальнейшего обучения. Если бы в тот конкретный момент мы выдержали пару секунд тишины и хорошенько сосредоточились, то, возможно, смогли бы каким-то образом уловить негромкое их жужжание, переходящее в шепот о чем-то гораздо большем, чем результаты экзаменов. Но секунды были упущены.

– УАААА!!! – послышался крик Валентина с того конца набережной, где мы сидели в последний день лета на плитах.

– Это он наступил на осколок? – нахмурилась Лиля. – Или обрадовался, что выиграл спор?

– Не знаю, – ответил я. Издалека действительно трудно было понять, крик это радости или боли. – В каком-то смысле ведь однохуйственно, разве не?

2022–2023

Люба МАКАРЕВСКАЯ

Что мы знаем
о свете?
о его близости
к нам

О возможности
превратиться
в сияние

В бледный
вой
над зимней
равниной

В память
боли
под
чьими-то
ногтями.

Если любовь предел
жизни
то что же
за этим пределом

Дачное озеро
смерть война
детство захороненное
по кустам

Я помню
как ты говоришь
да

Люба Макаревская родилась в 1986 году в Москве. Стихи и проза публиковались в журналах «Дружба народов», «Транслит», «Воздух», «Носорог», «Зеркало», «Новое литературное обозрение» и др. Вошла в шорт-лист премии Bookscriptor в жанре «современная проза». Автор трех сборников стихов «Любовь» (Арго-Риск, 2017), «Шов» (Free poetry, 2019), «Еще один опыт сияния» (Кабинетный ученый, 2022), а также книги прозы «Третья стадия» (Inspiria, 2023). Стихи переводились на испанский, итальянский, польский и английский языки.

Как ты можешь
быть
слабым

Я почти помню
себя рядом
с тобой

Мир разрезанный
надвое
несколько точек
тире

Наши слабые
отражения
замыкающий
звук
в горле
у самого
зла.

Разве мало
тебе
нескольких
смертных масок
памяти о моих
позвонках

У ночи
в слюне
там где
смерть
ходит
по нам

Как по
живым
цветам.

В жару часто
хочется пить
любовь набирает
воды в рот

Как капризный
ребенок

Нет сил
чувствовать
ярость

Нет сил
чувствовать
ничего

Когда я лежу
рядом с тобой

Когда я просто
лежу на животе

И мир горит
с каждого
угла

И черные
сердца
поджигателей
уносят кровь
и рекой
и по капли

Я не просто
не представляла
себе других
я их никогда
не знала.

Ты найден
легким
как трава

Под небом
и сердцем
у меня

Видишь
какая слабая
материя

Как наша
соль
и дрожь

в горле
у зноя.

Что-то
мертвое захватило
язык
посмотри

Или
он давно
уже
в серой банке
заспиртованный
на полке
во тьме

Разве важно
теперь
и немота
подойдет

Если будет
возможность
тепла
как объятья
сквозь все

В маленькой
комнате
под сердцем
у животных

В самой глубине
мертвой страны
я хочу слушать
как бьется
твое сердце.

К горю
привыкаешь
как к собственному
сердцу
его стуку
под небом

Так наркоман
однажды может
привыкнуть
к ломке

К ее невыносимым
стадиям

А как же
ты
или я?

Вроде того
что позвоночник
вне тела.

Давай поедem
дальше
по той реке
которая
приведет
нас к смерти

Пожалуйста

Не бойся
моего
«пожалуйста»

Как оно разделяет
пространство
на огонь
и чистоту

И если я
только
соль
под твоей
кожей

А ты
боль под
моими веками
пульсация
зрачков

То что же
мы будем

делать
с алыми
реками
смерти
и пустоты?

Смерть
со смертниками
смертными
и в нас
теперь
как
вирус

Я с тобой
у корня
всех слов

Снегом
занесет
могилы
и кровь

Нас непокрытых
останется только
эта фраза эскалация
насилия

Прежде чем
земля
белая от боли
примет
или отторгнет
нас.

Я смотрю на тебя
а ты прозрачный
как зимний
лес

И таешь
как зрение
от боли
и стыда.

Я помню
как в детстве
я смотрела
сериал
«Бангкок Хилтон»
и там одну
заключенную
в тюрьме
расстреляли

Мне так
запомнилась
эта сцена
и то что
перед этим
она обмочилась

Так я запомнила
предел страха.

Позже предел
стыда
когда меня
впервые раздели
как меня,
а не как ребенка.

Но что есть
между двумя
этими пределами
ожидание
или смерть?
Тонкий голос
говорящий
и висящий
как на леске
– Я человек.

Все кто
здесь остается
стареют
И я тоже
видишь
как время
проходит сквозь
меня

Как страшный
зверь

возьми мое
лицо
в свои руки

Отведи волосы
посмотри
ожог тревоги
смотрит сквозь
меня

Как огонек
в доме
людоеда
смотрит сквозь
лес

Как в самой
страшной
сказки
без конца.

Не то
плачь
не то
вой
мой голос

Лежит
над мной

Я молчу
молчу
и ты молчи

Как безумие
восходит
в кровь

И кровь
умножает
близко
к глазам

Нас стирает
до кальки
до света
и пыли.

Вырезать
как аппендикс
страну
и память
о ней

Бледный след
на нашей
коже
вечный синяк
принадлежность

Не задушишь
не убьешь
ломкое в голосе
будто я
сама

Та самая
нота
невыносимого
сожаления

Не потому что
жаль
а потому что
было всегда

Как морозная
комната
и клейкая лента
вместо слов

Жестокость
разделившая
нас
на кровь
и слезы

Обратившая
зрение
в одно сплошное
свидетельство.

ЛЕТО НАКАНУНЕ ЗИМЫ

Посюсторонняя повесть

1.

По лицам мамы и отца летели тени. К закату солнце пожелтело, вагон сиял и подрагивал, как при пожаре.

Алёна достала из кармана сложенный вчетверо календарный лист, распрямила на колене – за двое суток тот обтрепался, в сгибах наметились дыры. Алёна решила считать памятным день, когда они уехали из ненавистой деревни – третье марта сорок первого. Новый год обещал перемены уже в январе, когда слегла бабушка. Тайком от неё родители собрали вещи, продали дом – давно хотели уехать в деревню побольше, поближе к центру. Смерть бабушки – долгий сон, в который она уходила на тахте под окном, – все приняли будто окончание зимы.

Отец без конца отлучался в тамбур и возвращался пропахший табаком до костей – у них уже наметилась дорожная дружба с парой таких же, уставших сидеть у окна. Вторые сутки в окнах неслись столбы, и взлетали, и падали дуги проводов. Мама вынула ноги из бот, потёрла одну другой, хотела склониться к плечу отца, но тот умаялся сидеть и снова пошёл в тамбур; как только скрылся, Алёна подалась к маме:

– А что бабушка перед смертью сказала?

Не в первый раз она осаждала маму, и та устало вздохнула.

Дед напротив бил о край скамьи третье уже яйцо и отдавал чистить внучке – она не ела их, только морщилась. Запах яиц за время пути стал таким привычным, будто ими заправляли поезд.

– Веришь, – помолчав, заговорила мама, – она как расцвела напоследок. Я реву, а она улыбается, лопочет, сядет на кровати, тянется встать, еле уложишь... откуль силы? Хотела бы я так уйти. Утром, часа в четыре, глаза ей прикрыла, а за сутки до того она как ожила – вспомнила, что малой с крыши ухнула, отец словил – месил раствор снизу. Дак всё до тютельки вспомнила: как ласточка мелькнула да рыбой жареной пахло, а руки у отца холодные, мокрые с цементу, а у соседей собака лает... И все последние сутки то одно, то другое вернётся ей, каждый чих, каждая пуговка, и всё ярче, ближе. Смеётся в голос, и я улыбаюсь, боюсь, хоть бы кто не увидел. Уж правда, думаю, прибрал бы её господь... взяла греха на душу.

Последнее она сказала тихо, и Алёна вспомнила, что в самом деле мама смеялась со слезами на глазах, когда выходила из комнаты бабушки.

– Как ребёнок радовалась, ей-богу. Одеядо к лицу подтянет, навроне тебя. Лежит, щебечет. А к вечеру вспомнила, как девочкой волка видела – и уж тока о нём до конца.

– Волка?

– На танцы ходили, в клуб, в село соседнее. Ночью назад. Она отстала, луной залюбовалась, глянь на дорогу – стоит, скалитися, еле на дерево запрыгнула. Утром рассвело, отец сыскал.

– И что сказала?

– Про запах волчий – острый, кислый запах. Он ей потом мерещился. А волк как вкопанный сидел, не бегал, не выл – ждал, облизывался, ирод. Сто раз повторила, какой язык у него длинный.

Александр Ливенцов родился в 1982 году в Москве. Окончил Университет связи и информатики по специальности программист. Публиковался в журналах «Октябрь», «Новый Берег», «Юность» и др. В «Волге» печаталась проза и критика.

– Что ж за ней не вернулись?

– Люди не святые, – отозвалась мама и прибавила: – Чтоб им ноги отсохли.

– А ещё? – докучала Алёна.

– Она его с дерева кляла в голос – надо так, чтоб страху не казать. Ветку отломала, ежи упадёт – волку в глаз сунуть. И всё твердила, какой красивый – высокий, лапы длинные. Чуть не слопал её, а она любовалась, мягкое у ней сердце было.

– А там есть волки, куда мы едем?

Мама пожала плечами. Она глядела на лес в проблесках солнца, и Алёна поняла, что мама видит не лес, а бабушку на тонкой подушке, с натянутым до головы одеялом. Алёна видела, что докучает, но вызнавала про смерть бабушки, не могла насытиться, а уловив в лице мамы усталость, винула себя и с этой тёплой виной в животе садилась ей под бок, обнимала что было сил.

Ещё зачарованная и волком, и луной, мама не заметила, как Алёна припала к ней, охватила горячими ручками. Дерево, у которого сидел волк, рисовалось небольшим, ветка с девочкой – низкой, ночь приправили звёзды да укрыл туман.

Вагон качало, дед напротив клевал носом, сопел, а если переходил на храп, Алёна бралась качать ногой, чтоб тайком ткнуть его под колено.

Вернулся отец, только сел, как на него упала корзина – покорябало щёку. Алёна кинулась выгирать кровь и зло покосилась на деда: тот кряхтел, втискивая свою поклажу назад и подпирая тряпками.

– Утром, без десяти пять, наша станция, – доложил отец, склонился к Алёне и сладко вдохнул от её макушки, точно от куска хлеба после стопки.

– Пusti её, – мама замотала рукой, – табачиной несёт, спасу нету.

Он сунул в рот спичку, уложил ногу на ногу и погодя сказал – не маме, не Алёне, а куда-то промеж них:

– Ни сегодня-завтра тепло... пошто тоска, не пойму.

Кровь запеклась на его щеке, Алёна хотела скovyрнуть, но постеснялась, и про дух курева смолчала, а только выпросила у мамы хлебную корку и отсела к окну. Ещё был сахар: два кусочка мама припасла, но Алёна знала, что всё посчитано на неделю вперёд и сверх того ничего не получит.

Желток солнца стекал с облака в облако, просочился меж деревьев, угас. К сумеркам вдоль дороги потянулась деревня, низкие избы росли в беспорядке, облепленные сараями, как бабки внуками. Алёна погрустнела: а если их новая деревня будет такой же унылой? И кто там будут соседи: старики да редкие злые дети? Опять? Чего сразу не переехать в город?

Но вдуматься не успела: у самых путей, обратив к поезду глазницы окон, пылала изба – вились лоскуты огня, небо чернил рваный дым. Вокруг неподвижными кольцами сомкнулись одетые по-зимнему люди, девочка в первом ряду непрерывно крестилась. «Ни за что бы не подошла так близко», – подивилась Алёна. Мин спустя крыша осыпалась, и душа избы взвилась вверх искрами.

2.

Школой была изба на две комнаты – в прошлой деревне и о том не мечтали. Алёна была из лучших, на уроке внимала каждому слову, частенько учительница просила её не смотреть так пристально. А если хвалила Алёну, то мама кивала без радости – дел и дома хватало, проку в этих пятёрках?

Но дома наставало время расспросов – уловив минуту, Алёна терзала маму. Собаки вон плавают и даже коровы, а человека учить надо? И зачем мальчикам то, чего нет у девочек? Да как это – носить дитя под сердцем? Да почему сердце слева? Почему ветер? Почему Бог?! Только мама разговоры зазря не терпела, и Алёна поступала хитрее: сядут чистить орехи – она испугается для виду, будто почерневшие руки уже не отмоются, а мама возьмётся успокаивать, вспомнит, что так же чистила орехи с бабушкой, вот и беседа.

Вечерами, у ворот, Алёна караулила отца, чтоб кинуться навстречу. Он стеснялся этих объятий посреди улицы, всякий раз просил её быть скромнее, а Алёна кричала на хмурые взгляды с чужих лавок: «Добрый вечер!» За ужином вымаливала у отца рассказы о городе, он вспоминал кирпичные высотки в четыре этажа, грохот метро, кино и афиши во всю стену кинотеатра.

Соседские дети шептались, завидев Алёну. Вдвоём с кем-то ещё удавалось потолковать, но стоило явиться третьему, и она выпадала. Совсем разладилось с детьми, когда кто-то надоумил их ловить воробьёв. Алёна поняла – умрёт много птиц и уже не могла вынести, как мама режет курицу.

По воскресеньям ходили в церковь в село по соседству. Односельчане одевались нарядно, шли осанисто, но истинным чудом было то, что взрослые, которые сомневались о всём в своей привычной жизни, дружно верили во всемогущего незримого волшебника. Всё церковное было Алёне в диковинку. На старом месте прихода не было, батюшка умер, и в пару лет церковь обветшала, снегопад промял крышу. Теперь мама подводила её к своей иконе, указывала, где Вера, где Надежда, и непременно шептала в ухо свой имя: «Люба – значит любовь».

Для односельчан Бог обитал в далёком грозном наказании и в запретах, которые несли посты. Отец ходил в церковь по праздникам: одевался в чистое, пах одеколоном, под треск свечей он переглядывался с другими отцами – им было неуютно, словно грешили чаще матерей. В церкви женщины становились сильнее.

Вечерами, управившись с хозяйством, всей семьёй шли в сад, расстилали коврик невдалеке от калитки: мама с отцом садились плечом к плечу, Алёна ложилась им на ноги лицом в небо. Мечталось, что еще годик-другой – и они уедут в город, и Алёна обращивалась к саду, будто прощалась с ним и уже скучала. Трава стелилась меж замшелых стволов, и, как насечки на металле, сияли нити паутины.

Боялась Алёна лишь почтового ящика – чернея от дождей, тот гнил на воротах забора. Всё чаще доносились обмолвки о приказах и о каком-то «сверху», откуда валяются эти приказы. В маму безнадега впиталась ровным сереньким слоем; в отце, всегда беспечном, от неожиданных новостей страх проскальзывал явно, словно искра меж проводов.

3.

О начале войны узнали из села по соседству – там в сельсовете стояло радио. Вечером в зале колхоза устроили собрание: деревня шлейфом потянулась в село, Алёна с родителями держались в серёдке. Кругом спорили, даже смеялись, мужья подбадривали жён, как дети в простоте утешают матерей, напуганных чем-то взрослым. Алёне с её тягой к расспросам настроено запретили любую болтовню ещё дома, но именно теперь не хотелось идти молча, и мама всю дорогу срывалась на Алёну. Отец молчал со спокойным видом, но легче от того не было.

В середине пути покатила волна ропота. Навстречу, с края дороги, шагал Ефим, рослый костистый старик с ржавой бородкой, лысый, как яблоко. Шёл босиком, ботинки нёс в руке – жарко ему было, на приветствия кивал без слов. Посреди пути встал-таки, оглядел шествие и с немым вопросом развёл руки.

– Война, – донеслось из рядов, точно кто выкашлял это слово.

Плавню, как в воде, руки старика опустились, один ботинок выпал. Опешив от новости, Ефим невольно кивнул и родителям Алёны, и ей самой, чего та не ждала и тарасилась на него во все глаза.

На месте, потребовав тишины, председатель изложил всё, что знал, кратко, ёмко, и Алёна навсегда невзлюбила председателей. Назад шли дольше, многие отстали – тот же шлейф тянулся по дороге, словно дырявый. То мама, то отец с трудом, будто ворочая камни, находили первые слова, но разговор не ладился. Даже у Алёны с её вечной жаждой поговорить настроение скисло. Она жалась то к отцу, то к маме, и они по очереди выпутывались из её горячих рук.

С того дня у злополучного радио дежурили толпы пацанов, ждали быстрой победы. Старшие, кто застал первую мировую – ещё не старики, но высохшие до старости – пророчили долгую

тяжёлую войну. Призывать начали с молодых, но к концу лета уводили тех, кому за сорок, за пятьдесят; семьи получали повестки и дважды, и трижды. Ранним утром, похмелившись, вспомнив ночное застолье, по двое, по трое – чужие отцы и сыновья с походными мешками отбывали на фронт.

Мама с Алёной стыли при мысли, что и час отца грядёт. Почтальон шёл с зарёй. Алёна боялась проверять ящик – мама ходила и возвращалась счастливая, крестясь. Только она не знала, что с вечера дочь непременно обвязывала ящик своим волосом – глупость, но прочих отцов забирали, а свой пока оставался. Смутный, неясный самой Алёне запрет обязал её держать это в тайне. Поужинав, пока родители сидели сомлевшие, она убежала к воротам, срывала у корня волос, охватывала им ящик и вязала узел.

Но в первых числах сентября, не веря слезам и мольбам повременить, мама постригла Алёну к учебному году, и вечером, сколько та ни дёргала с себя волос, ни одним не обхватила ящик, а наутро в нём лежала повестка.

Четыре семьи получили их. Провожали дружно, в родительском доме, хоть их и считали нососёлами – года не прошло с переезда, свежо помнилась изба, пылавшая у путей в окне поезда.

До проводов сделали фотокарточки в районном центре. Все приоделись, и Алёну нарядили в лучшее, до хруста накрахмаленное платье. Мастер – усатый, хромой, похожий на покосившуюся калитку, долго усаживал, ещё дольше колдовал под мантией аппарата и выныривал, чтоб повернуть чью-то голову или напомнить о улыбке. Столько раз, как в эти полчаса, на Алёну ещё не шикали. А всё же день этот даже маму развеял, и Алёна уверилась, что в самом деле было бы странно избежать повестки, когда по стране они валят градом. Горе минет – тут Бог не попустит: отвести пулю ему сподручнее, чем валандаться с этими приказами.

Неделю спустя отец забрал две фотокарточки: одну увозил с собой. «Косая калитка» так и не донёс важность улыбки: чёрно-белые лица были тверды, лишь Алёна с её блаженной улыбкой ожила, как перед распахнутым окном.

На проводы от каждой семьи принесли стол и скатерть – белая дорога легла через двор, по которому мама, крестясь, ходила каждое утро до ящика и обратно. Алёна ловила её заплаканную то в комнате, то на кухне; на дворе все бодрились, но с краю стола, отвернувшись, кто-то нет-нет да утирал слёзы. Алёна не верила, что отец сгинет, – Бог уберёт её от страха, значит, и отца сохранит, а у мамы на дружбу с Богом не достаёт времени, потому и боится.

Два деда помнили первую мировую и напутствовали отца, оба налегали на вино, но оно не пьянило. Больше спорили: один под малосольный хруст заверял, что в бой надо идти вымытым, выбритым, и получал от второго ровно обратное – ни в коем случае не мыться, не бриться, ничего чистого. После выясняли насчёт талисмана: первая пуля, хранить которую всю войну, или фотокарточка любимой. Уже захмелев, оба сошлись, что вещи убитого ни в коем случае не носить и места его в строю не занимать.

Солнце тронуло горизонт, остывало; налетел ветер и унялся, точно зная, что не вовремя. В вышине иглы звёзд уже дырявили небо. Алёна вдруг не нашла отца – выскочила на улицу и увидела его с самокруткой, дым летел под крону сливы. Села рядом. Впервые сказать было нечего, а отец смял окурки в консервной банке и вынул из кармана резной гребень:

– Тебе, Алёна. Бери.

Она взяла его с ладони и сразу, не разглядев, спросила:

– А маме?

– И ей. У обеих у вас по такому.

Ободок гребня оплела вязь косичкой, по зубцам легли борозды. Алёна уткнулась в отцовское плечо, зажмурилась. Всегда ей не хватало послушаться отца, наговориться, наобниматься с ним, и всегда он разжимал объятья раньше, чем ей хотелось.

И вот уже он встал, повёл Алёну на двор, обещая быть рядом остаток вечера. А назавтра простился с соседями и выслушал последние указы возвращаться живым. В тени слив горевали старухи. Колхоз выделил пару лошадей до города, повозку нагрозили вещами, сверху усадили

женщин, которые провожали мужей до вокзала, – маму тоже. Алёна так и не простила, что её оставили дома.

Птицы бессовестно пели, телега таяла на дороге, голоса убывали. Трижды отец обернулся, и Алёна махала обеими руками, будто сияясь взлететь, после отступила под крону сливы и так сжала гребень, что крайний зубец сломался, впился в ладонь и покраснел от крови.

4.

Колхоз отнимал все силы. Своё пахали ночами – не позволялось косить себе, не заготовив колхозного сена. Назначили проверяющих. За сортовыми семенами ходили в город. Женщины таскали мешки по слякоти, по весенним заморозкам, мама возила на санках. Здоровых лошадей всех забрал фронт. Но лошадь родители, слава богу, не завели – иначе пришлось бы мириться и с этой потерей. Быка, одного на всю улицу, запрягали возить дрова из леса: глупый был, с норовом, раз затащил воз в овраг – выбрались кое-как, перемёрзли, маму с тех пор разбил кашель.

В лес по одной не ходили, только дружно. Пели, шутили – ценили тех, кто ещё шутил. Алёна убеждалась – худшее на свете от мужчин: воюют, убивают, а дочерям и жёнам камень на грудь. В довершение всего весовщик на приёмном пункте разбил маме губу от того, что лошадь порвала её мешок с зерном. Со злости Алёна лежала в жару двое суток, а на третьи зажгла все свечи, какие были в доме, и стала молить Бога о каре этому мужичку.

Раз в день бегала к сельсовету. Чтоб люди не толпились внутри, радио выставили на подоконник. Динамик ревел, призывая опережать планы и участвовать в военном займе, – особая комиссия ходила по домам разъяснять, что деньги идут на разгром врага. Мама боялась, не знала, как поступить, – немного скопили с отцом. И соседи боялись, кто сберег хоть малость.

Зимой на план сдачи забрали последнее зерно. Алёна горсти не припрятала, корила себя – в голову не пришло, что отнимут всё. Мама слегла, говорила, был бы отец – не позволил бы, а Алёна вспоминала старшего из тех, что опустошали погреб, и не могла представить, чем отец помешал бы. Первый раз видела, чтобы у человека не было шеи – голова сразу росла из плеч, пульки глаз сидели глубоко, а заметнее всего были скулы. Какие тут споры...

Запасы таяли. От несущей курицы кормились семьями, берегли. Картошку ели гнилую, мороженую, серели от голода, как талый лёд, говорили реже и тише, сберегая силы. Алёну с мамой спасала корова, молились на неё, но корма не хватало, уж брали солому с крыши. По вечерам Алёна наведывалась в загон, гладила Липу по длинной шее, делилась тяготами, и в ответ та лизала шершавым языком колени Алёны.

В конце весны к прочим бедам в деревню повадился лис: что ни ночь – пропажа и перья по огороду. Залез и к Алёне с мамой – землю у загона оросила кровь, меж грядок плутали ромбики следов. Только к утру куры уgomонились; одна пропала. Недельку спустя ещё одна. С петухом осталось три.

Ялик, цепной пёс, поднял запоздалый лай. Все деревенские псы в свою очередь прозевали вора. Деда уверяли, что это именно лис – слишком умный. Тропы его нашли, но как ни исхитрялись, имели в награду лишь аккуратные пахучие кучки – любил оставить возле ловушки.

Зазвали из села тамошнего охотника, очень хвалили. Маленькой физиономией и чёрными глазами он и сам походил на хорька; слова глотал, коверкал, отчего его без конца переспрашивали, и Хорёк злился и тараторил ещё невнятнее.

У Алёны только кончилась учёба в школе. Она и мух в жару не била, но взялась за охоту. Что-то от отца слышала, что-то от пацанов под окном сельсовета. Поймать бы лиса первой – посадить в клетку, уж чем-нибудь прокормит. Выслеживая Хорька, Алёна вызнала лисью тропу и ставила силки рядом, надеясь, что зверь угодит в один из них, когда будет обходить главные ловушки.

5.

Солнце в то утро грело честно. Ялик вылакал две миски и, высунув язык, ждал третьей. Алёна покормила кур, прополола грядки. Хотелось скорее поесть и в лес – проверить ловушки. Мама

сварила яйцо, запарила малиновых листьев. Тюль на пороге кухни спасал от мух, через него Алёна увидела тётю Нину – та зашла во двор и крикнула:

– Люб, а Люб! Сегодня у Тони. Нет спасу.

– Лиса?! – мама поднялась над тазом с посудой. – Курицу?

– Утку, – встав у порога, тётя Нина отдышалась. – Тоня так ладно всё справила – шифером обложила, сеточкой. Но то не лиса, то бес. Подкопала, подлюка. С угла земля подмочена была, там и рыла. И собаки проспали.

С яйцом в руке, Алёна на цыпочках приблизилась к тюлю.

– Тоня бегала к Хорьку нашему, явился, обнюхал всё. Он попивает, говорю тебе. Ефим скорее поймал бы. Ефим чёрта достанет, да как не хочется его звать, – тётя Нина плюхнулась на стул и с сомнением прибавила: – Может, сходим к ему, бабами?

– Зовите, я с вами.

Алёна переменялась с ноги на ногу, половицы скрипнули, подлые. Полгода без отца – и всё прохудилось в доме.

– Бедная Тамара. Слышала? – тише продолжила тётя Нина. – Единственного сына... умом тронуться. Всё, никого у ней. Мужа тиф забрал. Хоть топись. Надо за ней доглядывать.

Не помня отчества, Алёна звала её Тамара Тамаровна. Дом её стоял посреди улицы – лавка была из тех, откуда летели хмурые взгляды, куда в ответ Алёна кричала своё «Добрый вечер!». Теперь, если шла мимо, она не видела в почерневшем лице Тамары Тамаровны даже боли – оно утратило все черты.

– Маленька така бумажка, вдвое сложена. Сын ваш у бою за родину, проявив героизм... и в скобочках: убит, запятая, ранен, умер от ран... а под низом приписано, что похоронен в селе, кое там близко. И с этой бумажкой идти просить пенсию. Бабы кажут, Тамара рвала её, пока под руки не взяли. Чтоб тем мужикам повылазило, ироды.

Закаркала ворона, пустив в тишине чёрную трещину. Легонько, боясь, как бы пол не скрипнул, Алёна попятилась в глубь кухни, а тётя Нина развязала платок, обтерла шею и справилась у мамы:

– Не пишет твой?

– Два месяца тишина.

– А, Люб... что мы знаем? Перебили рельс – вот и почта. Мужики проклятые.

Залаяла собака, лениво поддержали соседские. Со двора доносился лишь плеск – мама вернулась к посуде, и побряхтев, поёрзав на стуле, тётя Нина напомнила:

– Ефим замок тебе чинил, да? Мне машинку швейную. Еле уговорила. Прежде мой подкручивал, а теперь кому?... Ничего – наладил. Денег копейки взял.

– Сходим к нему?

Помолчали.

– Так не хочется, – тётя Нина вздохнула.

– Ну не съест же он.

Алёна дожевала яйцо, запила малиной и пошла крадучись через комнаты к другому выходу. Одежда для леса хранилась на улице под навесом с дровами. Переодевшись, Алёна в придачу натёрла полыньёю и себя, и ловушки, чтоб отбить всякий запах.

– Куда? – раздался мамин окрик, когда до калитки в сад осталось полпути.

– Я скоро, – заверила Алёна, не сбавляя хода. – Я всё сделала!

– Там без тебя справятся! Господнее ты наказание!

– Я всё успела!

...Во вторую неделю после переезда в деревню разладился замок на погребке. Отец, как назло, уехал в город. Соседи с замком не справились – побоялись испортить. Помог Ефим, нелюдимый старик с края деревни, кроме прочего славшийся мастеровым, – редко, но выручал односельчан.

Алёна из кожи вон лезла поглазеть на него: двор мела по второму кругу, мыла чистую посуду. Старик закусил губу, как ребёнок, поднёс замок к уху, крутил в скважине какими-то спицами и слушал так внимательно, что Алёне чудилось, будто она тоже слышит. Раз он глянул на неё, как на кошку, понял про её любопытство и поманил пальцем:

– Скажи мамке воды дать.

– Я сама могу, – насупилась Алёна, но вернулась и стакан подала, держа низко, чтобы их руки не коснулись друг друга. Только Ефим указал пальцем, куда поставить, и прибавил:

– Стульчик неси, поменьше.

Самым маленьким стульчиком, по мнению Алёны, была кровать куклы – отец и сделал её из табуретки. Лялю свою Алёна берегла, хоть давно не играла, везла в поезде, запретила выкидывать. Эта кроватка оказалась Ефиму как раз впору. Увидев, на чём он сидит, мама сбежала в дом, чтобы не рассмеяться, и уже оттуда погрозила Алёне.

Пахло от Ефима сухой травой и досками; казалось, так пахнет старость. Лысина блестела до звона – если б дать по ней мухобойкой, какой славный шлепок получился бы!

Когда отец вернулся из города, Алёна первым делом поведала о замке. Вечером, с отцом на лавке, она видела, как тот поглядывал на избу старика, голубеющую сквозь марь улицы. Отец хотел бы наведаться к нему, увидеть эти спицы и мастерскую Ефима, потолковать – они бы нашли о чём, но смущали дурные слухи о старике.

Теперь Алёна специально прошла мимо избы Ефима и присмотрелась к окнам – одно подмигнуло бликом, и она прибавила ходу. В лесу, миновав первую прореженную деревенскими топорами просеку, Алёна выбрела на поляну, где зрела ранняя клубника, пошуршала палкой от змей, присела, но улов не задался – деревенские опередили.

Солнце слепило через листву, лес стоял изумрудный и кутался в дымку, точно вблизи его подчистили для хорошего кадра. Вдруг донеслись шаги, и из чащи мелькнула лысина Ефима: он возвращался в деревню, за плечами висел мешок. Алёна подползла на корточках к кустам, молясь, чтоб не приметил. В лесу он смотрелся свежее обычного – будто, входя в деревню, старел. У кустов Ефим замер перевести дух, скинул мешок, и Алёна пригнулась ещё ниже. Минуту старик шурился на кроны деревьев, гладил бороду, а после опустил лицо и потребовал:

– Ну вылазь, вылазь.

С ветки сорвалась птица, и ветка качнулась, роняя листья.

6.

В платке тётя Нина смахивала на матрёшку с довольным пухлым личиком. Знатная сплетница, она ходила по гостям запросто, как если бы всем доводилась родней. Как-то, на радость Алёне, тётя Нина подсела к столу, точно дожидаясь, когда накроют, и обмолвилась о Ефиме, а после ещё и ещё – накипело.

К деревенским байкам каждый добавлял свою, но сходились в одном – старик знает с нечистой, и его долгие отлучки в лес лишь добавляли подозрений, хоть травнику и положено бродить по лесам. Изба Ефима стояла у края деревни, огород спускался к саду, вместо забора рос кустарник по пояс с мелкой липкой колючкой.

Со слов тёти Нины, знахари не только лечили и далеко не одними травами – уверяла, что за знания и силу они продают душу чертям. Иные, потомственные, копили навыки поколениями и умели то, что было неведомо новообращённым. Но страху нагоняли и те и те: всё зависело от поголовья нечисти в подчинении. Слабый знахарь распорядился двумя-тремя чертями, сильный, как полководец, – несметным множеством. За обещанную душу слуги исполняли любые прихоти, но так, чтобы эта служба вышла хозяину боком. Вдобавок их войско следовало сдерживать, поскольку оно ежеминутно требовало работы. Толковый знахарь рассеивал горсть золы и наказывал: «Свейте веревку!» С таким заданием черти на время отставали.

– А неграмотный им на гармошке играет, – улыбнулась тётя Нина. Она ещё улыбалась – с приходом войны это разучились делать многие молодые.

Алёна слушала в удовольствие, но сомневалась, что это про Ефима, – шkodливые бесы не вязались с его статью, хоть он и мог то, чего не могли другие.

– Нина, останетесь на обед? – донеслось из кухни.

– Спасибо, Люба, – старушка кивнула в сторону тюля.

Мама давно смекнула: чтоб не болтать с ней, этим можно занять дочь.

– Дак они в ад попадают? – допытывалась Алёна.

– Ото ж, и помирают в муках, – тётя Нина замотала головой, будто самой довелось помереть. – Когда силу преемнику не отдадут – мучатся, ох мучатся. Степаниха слегла – как крутило... уж помирать пора, девяносто поди. Не может – с нечистой зналась. Тужится, стонет. Батюшка с отходной пришел – она без креста, понятно. Свой надел. Степаниха его в рот, в комочек смяла и выплюнь, а ни зуба во рту. Руку тянет, орёт – на, на! Все от той руки к стене жались. Полено сунули – подержалась, силушка вышла, и с концами.

– Страсти какие, – охнула мама, проходя мимо.

– Ты поживи, Люб, не то увидишь. Ага? – и тётя Нина подмигнула Алёне.

Такие байки ходили между детьми. Живо представились и комок крестика, и закутанная в одеяло, стонущая Яга. «Кому ж Ефим отдаст силу, ежели один-одинёшенек? Деревьям?» – рассуждала Алёна. В лесу она и сама любила прислониться то к одному стволу, то к другому, выслушивая своим нутром нутро дерева.

В ответ на мамины сомнения тётя Нина приосанилась, хотела продолжить, но тут и Алёна принялась хихикать.

– Смеёшься, да? А как не смеяться?.. Такого понарасскажут, туши свет. Всё брехня. Кто поумнее, говорят, знахарство это – грех, но я думаю – нет. То Ефим ко всем не спиной, дак боком, а как заведено было? Дожди затяжные, засуха – к знахарю идут. И от прочих тока свой спасёт. И нагадает вернее – то ж хлеб его. А приворот?

Перебирая в уме деревенских пацанов, Алёна сомневалась, что какие-то чары влюбили бы её хоть в одного, хоть чуточку. Тётя Нина отобедала, ушла, а Алёна осталась в сомнениях. Теперь и вечерние откровения с Липой, пусть та лишь мычала в ответ, казались чем-то эдаким, уже не говоря о волоске вокруг почтового ящика.

Ефим помогал нехотя, а чаще его и дома не заставляли. Если удавалось подловить, то на девять из десяти просьб старик напутствовал не верить в приметы и избегать продавцов волшебства.

– Брешут, – заверял Ефим.

Пару раз его видели пьяненьким, но тётя Нина считала это самой слабой брехнёй из всех. После отлучек в лес Ефим возвращался такой грязный да вонючий, что за ним подозревали страсть к бутылке. И ходил он обычно злой, точно без опохмела, детей материл, когда шумели.

– Вон, паскуды! – было обычной его просьбой.

Поговаривали, что прежде Ефим лечил в полную силу: кости правил, роды принимал. Или чахнет ребёнок, молчит, ест по чайной ложке – несут к Ефиму, тот голову его помнёт, покачает легонько – дитя оживёт. Сейчас эти дети внуков нянчили, а Ефим наперекор былой славе уверял, что занимался баловством и в лечении знает не больше любой сельской старухи, которые, надо сказать, знали порядочно.

Одну из таких – Марфу, невысокую, простоватую с виду – встречали поклоном. Она слыла потомственной знахаркой, помогала всем, и связи с нечистой в ней не искали; в плату брала что давали и не стеснялась. Марфу чтили, как почитали её мать и бабу, проживших бессовестно долго. Но первым делом шли к Ефиму, знали – он откажет и обидит, если будет не в духе, и всё равно шли к нему.

Единственный род просьб, на которые старик откликался, – это починить что-то по части механики: замок, швейную машинку; Ефима звали настроить пианино, он мог сделать иголку и прочесть письмо.

Ещё подметили, что он скорее выручал, если просила женщина: розовел, мялся и уже на взводе, чертыхаясь, соглашался. Но именно бабки и матери пугали им детей и наставляли ходить мимо его дома взявшись за пуговицу или с фигой в кармане. Они же уверяли, что продавшему душу знахарю полагается родинка на левой ягодице, а как помрёт, хоронить его надо лицом вниз. И стоило Ефиму отлучиться в лес – дружно соглашались, что лучше б не возвращался.

Наконец, его не видели в церкви даже на праздники – одним этим опытный спорщик мог урезонить любую похвалу в адрес старика.

7.

Тропа петляла по кромке леса. Уже виднелась деревня; редкие трубы дымили, но дым сносило, ветер не унимался. В низине, по оврагу, разбрелись коренастые деревца.

Ефим шёл привычным шагом, а Алёна еле попевала – забегая вперёд, успевала спросить о чём-то и, пока слушала, отставала. Помня о любви старика к технике, она заговорила о силках, но лиса ему была интереснее.

– То лиса. То девочка, а не самец, – уверил Ефим, когда Алёна обмолвилась, что деревенские ловят мальчика. – Это напасть, коли така повадилась. Она и поест, и поиграть хочет.

В пятнах света его рыжая борода горела янтарём. Алёна ставила ладонь козырьком, шурилась на деревенские крыши и молила, чтоб её не увидели, – только сплетен недоставало. Первым делом она поведала, что хочет не убивать лису, а посадить в клетку, пусть будет её и ничья больше.

– Мышей ей буду ловить, яблоки давать, – на бегу расписывала Алёна. – Они правда яблоки едят?

– Любят, – Ефим пригнулся под веткой и тут же зачеркнул все надежды: – Не дадут её тебе держать. Окстись. Мать первая прирежет или позовёт кого. Зверь же. Удерёт, всё по новой.

– Не удерёт.

– Ну-ну, твоё дело ловить – их бежать.

Ветер мял траву, воробьи неслись к огородам, вспархивая один над другим. Алёна проводила их взглядом и замечталась:

– Потолковать бы с ней.

– С лисой? И что б ты сказала?

– Что убьют. Словят же.

– Не знаю, не знаю.

– Могут не словить? – просияла Алёна.

– А ты, я вижу, рада.

Спрятав лицо, она притихла, но язык сам выболтал:

– Всё зверьё друг дружку понимает, одни мы никого.

– Хошь с лисой поболтать? Я пособлю, – и с тем же одобрением Ефим прибавил: – Тока после она умрёт.

Алёна глянула на старика, на его спокойные глаза и янтарную бороду, и не поняла – шутит или всерьёз.

– Как это?

– Расхотела? – и он сбавил ход, дав сравняться с собой.

– За что ей помирать?

– Устроено так. Тебе худого не буде.

– Я ж маленькая, – напомнила Алёна, угодила в паутину и долго тёрла лоб и уши, сгоняя липкое чувство.

– Тут спустимся, – Ефим вышел из леса и указал на склон холма – крутой, вовсе негодный для спуска, что означало войти в деревню с огородами, со стороны сада. – Скорее буде, – пояснил старик.

«И не увидят. Ведь не сыщут, коли что», – насторожилась Алёна. А Ефим так кряхтел, спускаясь, что она уверилась: «Это для виду. Неделями по лесам ходит, а тут устал, нехристь».

Вялый от жары петушинный крик огласил полдень, повеяло варёным щавелем, кто-то уже накрывал на стол.

– Тебе коли живую, о силках забудь – она принюхана к обману, – и, сойдя со склона, Ефим обнадёжил: – Благо не волка ловить.

– Да уж, – запыхалась Алёна.

– С волком не приведи бог, – старик отмахнулся, как от беды, и пока шли через сад под теньями яблонь, припомнил: близ лисьей тропы есть поляна, где прошлым летом буря с корнем вывернула сосну. В лесные прогулки этот корень пугал Алёну, словно вот-вот выберется из земли и поползёт пауком.

– Если сесть к ему спиной, – рассудил Ефим, – лиса за ним спрячется. А что ей удобно – и нам впрок.

«Хитрюга», – скребнуло в душе.

Отворив калитку огорода, Ефим пропустил Алёну вперёд. Отсюда до его двора лёг ход в рядах кукурузы, которая скрыла их обоих от чужих глаз.

– Близ корня поджаришь мясо, мышей тех же. Проквась для запаха – я научу. Жарь помаленьку, нагони духу. Отойдешь, сядешь к корню спиной. Лиса наглая, из-под носа стянуть захочет.

Сядет Алёна, к губам прижмёт дудку, какую даст старик, перед собой повесит зеркальце, и как появится лиса – возьмёт нужную ноту, та ляжет на лисье ухо сладко, а за первой нотой и две другие, и так по кругу – томно, ласково. Лису сморит, Алёна кинется к ней – и раньше, чем зверь придёт в себя, стрельнёт из самострела. Ефим и его обещал, и дротик, и чем мазать.

– После вяжи её, в мешок и скорее домой, пока не очнулась, – наставлял старик, заходя во двор. – Увидят, что за спиной мешок пляшет, – не донесёшь.

Алёна встала у умывальника, осмотрелась: двор как двор, со столом и лавкой – только чисто очень, банки на заборе аж слепили намытым блеском. По огороду разбрелись вишни. Под лавкой примостилась канистра – краска на углах облупилась, царапина на царапине. Ефим зачерпнул из ведра ковшом, жадно выпил, а после скрылся в доме и открыл изнутри форточку.

Убедившись, что он не смотрит в окно, Алёна тоже отпила из ковша, причмокивая, – понять, такая же тут вода, как дома, или иная?

Вернулся старик с полными руками. Дудка – короткая, деревянная – звучала на удивление мягко. Сыграв три протяжные ноты, Ефим вручил её Алёне. Та надеялась, что это хоть отдалённо напомнит музыку, но увы. Важнее прочего было добиться плавной смены нот, и старик наставлял, как менять пальцы, пока хватало терпения, но оно скоро кончилось:

– Ты ж смотри, куда показую! – красный, как петушиный гребень, он тыкал в нужную дырку. – Тут жми, посередь этих.

От страха у Алёны невольно сладилось, Ефим утёр лоб и остерёг её:

– Дудка и тебя усыпит, если долго играть. Тошнота подступит, мутить начнёт – значит надо кончать. Уснёшь – не заметишь.

Самострел походил на пистолет: трубка, рукоятка, курок со жгутом. Дротик был аккуратно обструганной веточкой, насаженной на иглу, с боков крепились два пера. К дроту прилагался напёрсток с бесцветной жижей.

– Сюда иглу макнёшь. Грязи не нанеси да не уколись бога ради.

По вишням пролетел ветер, листва нехотя отшумела. Одиноким лист слетел под лавку, Алёна проследила за ним и заметила на канистре коробок спичек – отец всегда встряхивал такой, прежде чем достать спичку и прикурить. Все эти звуки один за другим прозвучали в голове Алёны, и было странно, почему не запахло табаком.

Закончил Ефим на том, как ловить мышей, как проквашивать для запаха и как скрыть эти хлопоты от матери.

– Спасибо, – Алёна потупилась, повесила на плечо отяжелевшую сумку.

– Ну, марш отседова. Расскажешь потом, как сладится, – велел Ефим. Он так устал за эти полчаса, что дрожали и голос, и руки.

Уже протиснувшись сквозь колючки, Алёна догадалась: раз он не велел уйти садом, то и встречу их не желал скрыть, а может, и вовсе напоказ выставил. Ничего Алёна не поняла о нём, только тумана прибавилось, и под эти мысли Ефим крикнул ей со двора:

– Доброй охоты!

Она заозиралась: улицу разморило, ни души из конца в конец, лавки опустели, лишь качнулась занавеска в соседском доме, откуда пахло щавелем, но окно было распахнуто – может, сквозняк.

Домой Алёна шла как из школы. Словно новый учитель рассказал о жизни в далёком краю, поведал, чем полны его дни, не похожие на дни Алёны. Хоть сама затеяла эту охоту, а старик лишь снабдил всем готовым, внутри свербело и думалось, что теперь это всё по его воле. Так и прошла дорога, не распутав чувства, и уже отворяя свою калитку, Алёна вспомнила слова Ефима, словно задела больное место: «Тока после она умрёт».

8.

Тренироваться с дудкой Алёна убегала в сад. Хуже всего давалась смена последней, третьей ноты на первую, из-за чего раскричался Ефим, – дырочки слишком далеко отстояли друг от друга, явно под взрослую руку. Но настал момент, когда рядом с Алёной начали падать птицы. Полежат кверху лапками, встрепенутся, упорхнут. Тогда она наведлась в сарай. Куры расселись по жерди; встав перед ними, как перед залом филармонии, Алёна заиграла, и вскоре они стали валиться на землю.

Наконец, в одну из тренировок Алёна очнулась под деревом с пустой звенящей головой, хотя только что сама выдувала ноту. Мышей к тому времени наловила, держала в ящике за сараем, даже их убивать было тошно – думала, сами помрут без еды, да, видно, долго ждать пришлось бы. Взяв шило, Алёна с час промучилась у ящика – мыши будто поняли всё и носились из угла в угол.

К вечеру, когда аппетиту лисы полагалось проснуться, Алёна надела всё чистое, натёрлась полыньёй и отправилась охотиться. Слово это – «охотиться» – гремело в мыслях пустым ведром; пересекая сад, Алёна подбирала ему замену.

Точно лоскутным одеялом огорода укрыли низину. Солнце остыло к закату и осветило одну только яблоню на участке Тамары...

«...Тамаровны, – додумала Алёна. – А сына как звали?»

Но этого уже не вспомнила. Три женщины обступили яблоню: две утирали слёзы, третья обхватила руками голову. На чёрной ветке, на чём-то тонком, невидном Алёне, недвижно, как новогодняя игрушка, висела Тамара Тамаровна. Один тапочек слетел, второй чуть не касался земли, на груди поблёскивало, и Алёна невольно взялась за крестик. Вдали, за лесом, золотилась полоса вечерней реки. Пахло акацией. Ветка прогнулась... тапочки... крестик... как игрушка на новогодней ёлке... Меж грядок к яблоне подходили соседи и вставляли поодаль, словно вблизи костра, от которого пышет жаром.

На поляне Алёна утёрла запоздалые слёзы. Дождь намыл под корнем ходов – Алёна завалила их ветками, оставив лисе один центральный. Проквашенные мыши воняли до рвоты. Связав их проволокой, Алёна час тушила «лакомство» на тихом огне, после оставила слипшийся ком мяса у костра, села к нему спиной, смазала иглу дротика и зарядила самострел; прижала к дрожащим губам дудку. Мамино зеркало висело на палке, отражая корень, а перед глазами так и стояла яблоня с длинной провисшей веткой... блестел крестик.

Лиса явилась к сумеркам.

Зеркало чернело – ничего в нём было не разобрать. Треск сверчков качался волнами. Ныла спина, ныли ноги, тело в неподвижности затекло и болело. Алёна уже кляла Ефима теми словами,

какие запрещали говорить вслух, и тут в зеркале заиграло рыжее пятно. Лиса долго сновала меж корней, наконец показалась, вперилась в спину Алёны, не удостоив мышей вниманием.

Первая нога далась на удивление хорошо, всплыла из неоткуда. Лиса уже целиком вылезла из норы под корнем и двинулась к мышам. Но звук окреп, три ноты отыграли, вернулись к первой, и зверя как подменили: лиса выпрямилась, безвольно открыла пасть и словно на глазах потолстела.

Помариновав её так с минуту, Алёна плавно, на первой ноте, сбавила звук, положила руку на самострел, обернулась и... увидела лисий зад – шатко, кося вбок, точно пьяная, рыжая спешила к норе. Но Алёна сиганула на корень и уже метила в тот единственный лаз. Лиса получила свой дротик, как только выскочила наружу.

Это и вправду оказалась лиса, а не лис. Вынув дротик, Алёна секунду смотрела, как по игле сползает капля крови, после связала свой трофей, запихнула в мешок и поспешила домой. С неба на землю уже смотрела ночь.

Часом позже Алёна пересекла огород. Мешок забрыкался, заскакал на плече, но деревня спала. Напуганная отлучкой дочери, мама сходу влепила Алёне оплеуху и принялась ругать. Голос ее осип, под глазами легли тени, обида Алёны угасла, не разгоревшись. Увидев мешок, мама сперва не поверила, после хотела топить лису, но сжалилась, отсрочила казнь:

– Всё равно до обеда не доживёт! Люди не дадут! А смолчим – худо будет. Знаешь, что случилось?! Тамара-то...

Клетку Алёна заготовила, сама опустила в неё лису, мама надела рукавицы и развязывала верёвки, причитая, что кормить её не станет. Рыжая покрутилась меж стенок, заскулила – голос её походил разом на собачий вой и скрип двери. Ялик поднял лай, цепь гремела не смолкая. Алёна загнала пса в будку, но тот вился на месте, фыркал, не понимая, чем провинился.

Назавтра только мёртвые не пришли поглазеть на лису. Впрочем, больше разглядывали Алёну, будто прежде вместо неё тут жила другая девочка. В мужичках томился немой вопрос, пацаны завидовали, лишь старики и немногие женщины согрели её похвалой. О помощи Ефима смолчала. Позже всех пришёл нанятый Хорёк, посидел у клетки, небрежно усомнился, что для следов на огородах лиса маловата да поймана далеко от тропы, да в придачу самка.

В чём не сомневались – что нужно прирезать скорее и покрепче прожарить. Алёну корили за слёзы: такая взрослая, а не понимает. Тамару вспомнили, суток не прошло. Как можно о лисе плакать?.. Нервы у мамы сдали, ходила меж всех сама не своя, искала слова – и всё не те. Сошлись, что день-другой обождут новых краж, но вера в расправу только крепла: пропадут куры или нет – рыжей не жить.

Всякую минуту Алёна сбегала от домашних забот к клетке: поила лису, несла яблоки, глядела на неё – не могла наглядеться. Ни с кем не шепталась так искренне, даже с Липой. Лису же и эти беседы, и сам голос маленького человека – всё пугало, лишь несмолкаемый лай Ялика оставлял равнодушной.

Детей Алёна пускала к клетке ненадолго, как медсестра в палату к тяжело больному. Дети печалились о судьбе лисы, лишь взрослые пацаны напоминали, что прожарить её надо как следует. Половина из них явились из села. Самый юный, Витька, жил в соседнем дворе, уже ходил в школу, но от него больше шуму было, чем толку. Чёрный деревянный пистолет, который он не выпускал, казался продолжением руки, а дуло – пальцем Витьки.

Сперва дети говорили о лисе, но скоро в беседу вторглась война. Оказалось, наши войска шли в подмогу Ленинграду, но потопли в болотах и потому не добрались к сроку.

– ...немцы врзали, ждали поди. Наши шли блокаду сымать, а полегли там, – сказал самый высокий, самый взрослый парень.

Витька сжал пистолет и почесал им живот. Оставшись без внимания, лиса заняла дальний угол, вой притих. Парень, что говорил, сел на корточки и продолжил:

– Лёнчик скажет, что как, полгода по окопам. То срок, то такой срок. Другой Лёнчик вернётся.

– В девяточку клал, – напомнил сосед.

– Ещё положит. Пуля пожалела, може, жизнь спасла – так домой и с почётом, а то лови другую.

Лёнчик был немногим старше остальных, но попал под призыв. Когда собирались гонять мяч, все хотели его в свою команду – шустрого добряка. Увели Лёнчика в декабре, в канун праздников, а к концу весны телеграмма – ранение, госпиталь, ждите на поправку. Уже заждались.

– Батя твой пишет? – спросил Алёну всё тот же парень. Она покачала головой, шепнула о двух месяцах тишины и вспомнила последнее отцовское письмо, в котором он рассказывал о шоколаде – что-то вкусное неопишимо, чем порой с солдатами делились офицеры.

Не найдя себя в разговоре, Витька нагнулся к клетке, прицелился через прутья в лису, и Алёна подумала, что если бы его пистолет стрелял такими же чёрными деревянными пулями, они уже сидели бы и в лисе, и в самой Алёне.

Когда минула неделя и кражи кур прекратились, самые рьяные односельчанки пришли к маме и потребовали к вечеру нового дня лисий труп. Все эту неделю Алёна вынашивала холодок страшной мысли и теперь смирилась: «Так и так пропадать рыжей – хоть объяснимся». Чужа неладное, украдкой в час полевых работ она отправилась к Ефиму.

9.

Пока Алёна шла, у неё скребло на душе, стыдно было, что не явилась рассказать о охоте, хотя старик просил; даже дудку с самострелом не занесла, каждый день откладывала. Мог осерчать. Ефим возился в огороде, но, завидев Алёну, пошёл навстречу, она же встала у кустов и не смела идти дальше. Взяв из её рук, всё, что вернула, он указал на лавку.

– Навроде сладились? – то ли спросил, то ли поздравил Ефим, примостился рядом и выдал: – Пойдёшь ко мне в ученицы? – но спохватился, понес дудку с самострелом в дом, а как вернулся, лишь похвалил: – Хорошо, что про меня молчала, то лишнее.

Деревню разморил зной. Мухи лезли в лицо, казалось, не летают, а плавают.

– Я вот, смотри, удумал, чтоб с картошкой не маяться – и старик заулыбался.

Показал коробку: снаружи ручка, внутри стержень с десятком лезвий. Ефим достал пару картошек, почистил наскоро, опустил в коробку и стал крутить ручку. Внутри коробки грохотало, но вскоре звук утих, рассыпался. Старик открыл её: все лезвия, отломанные, сидели поровну в обеих картофелинах. Алёна покраснела и вжала голову в плечи со словами:

– Годная вещь.

Вглубь коробки он смотрел с недоверием, обиды на лице Ефима Алёна так и не увидела и, пока рассказывала о охоте, он слушал молча.

– Я говорил – не дадут её держать, да в такое время... ни. А сбежит – уже с вас спросят.

– Так можно потолковать с ней? – Алёна совсем оробела. – И после она умрёт?

Ей думалось, Ефим, если не отговаривать станет, так хоть спросит – готова ли? Он же с ходу взялся наставлять:

– Есть отвар, прежде чем выпить, надо день молчать и голоса людского не слышать, чтоб голова отвыкла, не то зазря погубишь. Да глотай первая – каплю, не боле, после – лисе. Спутаешь – приду на твои поминки. Помрёт тот, кто глотает вторым, кому под первого подлаживаться.

Алёна сжала губы.

– Пузо поболит потом – то ничего, пройдёт, – заверил Ефим и скрылся в доме.

Оставшись одна, она огляделась. Теперь всё, куда ни падал взгляд, виделось иным: стол на трёх ногах вместо четырёх, умывальник большущий, а полотенце белоснежное, и сколько банок висело на жердях – Алёна и не видела зараз столько.

Ефим вернулся, поставил на лавку крошечную склянку – внутри качнулось желтоватое масло.

– Я отмерил. Каплю тебе, остальное ей.

– Как же ей в пасть-то? – забеспокоилась Алёна.

– Оно по-ихнему вкусно пахнет, вылакает, еще попросит.

– Сегодня до вечера я успею?

Солнце взбиралось по высокому летнему небу.

– А что нет, – благословил Ефим, встал, свет блеснул на его лысине и сполз в бороду. – Шибко не беги – на душе и в теле тихо должно быть. Представь, что промеж их нитка, а посередь её колокольчик – как он смолкнет, открывай склянку.

Улица лежала пустая, вдали серыми точками слонялись без дела дети. В голове не укладывалось, что кто-то может сейчас скучать. Вблизи двора Алёна услышала лай Ялика – третьи сутки сходил с ума. Мама была в поле. Зная, что влетит, Алёна сочинила записку: пообещала вернуться с мёртвой лисой, взяла клетку и под скрипучие лисьи жалобы через огород, через сад поспешила в лес.

Местом Алёна выбрала поворот реки. Деревенские добирались сюда с корзинами ловить пещарей, но не купались из-за крутого спуска. Алёна осталась в лесу на крошечной поляне, которая всегда манила одной странностью: с краев поляны, из старых сосен, друг в друга смотрели два дупла.

Опустив клетку, Алёна села напротив, увидела лисий взгляд, отвернулась. Ведь остерёг Ефим – не дадут держать рыжую, в тот первый раз остерёг – сама себя обрекла, никто не звал в палачи. И вспомнилась то ли шутка его, то ли... Алёна терялась, как понимать предложение идти в ученицы. Не казалось ей, что, как все старики, Ефим хочет иметь подле себя хоть кого-то, лишь бы не быть одному.

Любуясь на свету жёлтым ядом в склянке, Алёна гадала из чего он сделан: «Лисам нравится, сама вылакает... Из кур, что ли?»

Полдня съела тоска. Глупые птицы распелись, не ведая о скорой беде, солнце чахло в дымке. Только лиса скулила, чуя погибель, да голоса в голове не унимались: и собственный, и мамин с папиным, и соседские. Алёна боялась – не повредят ли они обряду наравне с обычными людскими голосами, о чём предупреждал Ефим? Колокольчик на нити меж душой и телом трезвонил, не умолкая – удумал же старый. Щебет, шум ветра и даже ломкий лисий вой отвлекали, но слабо, то были тихие голоса. И тогда Алёна стала колоть ножом в ладонь, стоило чуть задуматься; боль прожигала руку и пока тлела, Алёна не думала ни о чём, держалась за неё как за спасение.

К закату колокольчик наконец стих, мысли размякли, и даже для лисы не осталось слов, кроме «прости, рыжая». Уже без всякого волшебства Алёна слышала в её ломком плаче: «Отпусти – не буду красть ваших кур».

Когда чашу заволок синеватый сумрак, Алёна приказала сердцу молчать, макнула палец в зелье и опустила на язык горькую каплю – вкус раскрылся терпкий, пряный, но распробовать его Алёна постыдилась и скорее сунула склянку меж прутьев. Рыжая боязливо обнюхала угощение и тут же вылизала склянку дочиста.

Внизу по берегам наплыл туман. Ветер клал на реку прохладную рябь, и Алёне подумалось, что Бог готовится отхлебнуть, когда вдруг она уловила вблизи себя смутное тепло – живое, беспокойное: то был лисий ум. И рыжую озарило, с тревогой взглянула на Алёну, но следом узнала, что умрёт, узнала от чего, и передался её страх, словно вода потекла из сосуда в сосуд.

Извинения лиса слушала молча. На домыслы, в которых она якобы обещала не красть кур, в мыслях Алёны возник беззвучный ответ: «Воровала бы до последнего». Затем рыжая уложила морду на лапы, уставилась в гаснущее небо и так же неслышно поведала, что копать у загона с птицей надо с подмоченного угла: и легче, и шуму меньше.

Умерла как заснула – только уши разъехались. Алёна встала, принялась ходить, обхватив голову, только бы заслониться от этой тишины. Звёзды роились, мерцали и будто слышались их писклявые голоса. Лес почернел, куда ни глянь, везде, словно в этих двух дуплах, повисла темень. Лишь ветер гулял по реке, радуясь самому себе.

Наконец Алёна прислонилась к дереву и, сдерживая тошноту, вспомнила, что лисий труп ждут в деревне. Подняла клетку, тельце лисы сползло к дальней стенке. Всю обратную дорогу, как обещал Ефим, ныл живот – тупая боль обжилась в нём и спасала Алёну, давала отвлекаться.

А дома ждали трёпка и крик: маму трясло, она сорвала голос, сипела и назавтра слегла с сердцем. Деревенские приходили смотреть на лису, а после заходили к маме, желали здоровья.

10.

Теперь Алёна жалела, что в прошлую встречу Ефим не просил зайти, поведать о исходе дела – хоть словом хотелось обмолвиться о случившемся. Решила сходить, занести склянку – старую, мелкую, явно не редкость в его доме. Спустила день, как все налюбовались лисьим трупом, лил дождь. Утих к вечеру – деревенские сидели по домам, а Алёна месила грязь по пути к избе Ефима.

Знала бы мама, кто увидел в Алёне свою ученицу. Не примет она, не поймёт. Вдобавок ей всё чаще нездоровилось: кашель всю зиму, теперь – сердце. «И пошто Ефиму ученица? Неужто права тётя Нина – силу до смерти отдать да сбавить муки?» – Алёна представляла полено в руках беззубой умирающей ведьмы. Дерево чернело, корёжилось, смятый в комок крестик катился по полу.

С того раза, как Ефим похвалил за охоту, Алёна ждала его одобрения. Легко и ясно он излагал мысли – всё до мелочи понимала, хоть и боялась его гнева. Отец объяснял хуже, прыгал с одного на другое, матерился, если не доходило, мог вовсе уйти, хлопнуть дверью. Оба они были вспыльчивы: отец наружу, громко, как холостой заряд, Ефим – внутрь, лишь искры летели.

Уже под конец пути, завидев опоясанную кустами избу и кроны вишен, Алёна смутилась – зачем сравнивает отца с Ефимом?

Старик сидел на крыльце, стругал колышек, но увидел Алёну и отложил. Закинув ногу на ногу, он подождал, пока она войдёт на двор и смерил Алёну взглядом:

– Никак склянку принесла?

Вдали ухнул гром, дождь скрылся за лесом, а солнце так и не растопило плена мокрых туч. Вишни поблёскивали, грядки разбухли и почернели. Тут и там по огороду стояли посудины с воронками. Старик проследил за взглядом Алёны и пояснил:

– Хороша водица, колодезная против неё – дрянь.

Алёна только присела, как Ефим, устал кутаться в овчину, встал и позвал в дом:

– Идём. Больно сыро.

В избе её поразил шкаф во всю стену: на верхних полках корчились обрубленные корни, свисала бахрама трав, средние полки укрылись за створками, на нижних лежали инструменты. В шкафу темнел проём, обрамлённый чёрной рамой, как на фотокарточках с покойниками. У стены с окнами была мастерская: стол, изувеченный царапинами, сплошь в застарелых пятнах, точно переболел всем на свете; остатки работы разбрелись по нему гвоздями и стружками.

Ефим прихватил с кухни плетёную миску и указал Алёне на этот стол. В миске лежали ломти хлеба. Лето только началось, пшеницу сеяли месяц назад, первых сборов ждать в августе – стало быть, он сберёт зерно прошлого года – это с его-то махоньким огородом! В деревне уже забыли вкус хлеба.

– Бери, – двинул миску к Алёне.

Хлеб, пусть и чёрствый, казался невозможным вкусным, особенно корочка. Алёна как могла тянула удовольствие, но ломоть кончился быстро, словно не было.

– Ещё бери, – велел Ефим и сам взял. – Потолковала с лисой?

На её кивок старик отложил ломоть, не успев откусить. В бороде повисли крошки, во взгляде сомнение.

– Что ж тут? Вы ж отвар дали, – изумилась Алёна.

Нехорошая догадка сковала её: может, в склянку он налил простого ароматного масла, а волшебства и не было? Ведь только в голове своей она и слышала лису – умом, а не ушами.

– Не у каждого ладится, пусть с отваром. Чуть сдуришь – всё насмарку. Сама уже знаешь.

– Она сказала... – выдавила Алёна, хоть думала, слова польются рекой.

– Не-не, то ваше, – остановил Ефим.

Со двора доносилась капель, жук ворчал в углу потолка, наворачивая круги. Пауза затянулась, и вспомнилось, как тётя Нина поведала, что каждому знахарю положена родинка на левой ягодице. Стараясь не засмеяться, Алёна ляпнула:

– Говорят, вы лечили прежде.

– Возьмусь лечить – очередь выстроится, – откликнулся Ефим. Встал сердитый, с трудом усадил себя. – Полечил уже. Есть заботы первее.

Со смертью лисы душа наполнилась тихим страхом перед этими «заботами». Алёна поёжилась, сунула руки под мышки.

– А сколько калек буде... Они ж все воротятся калеками, кто не сгинет. На век боли хватит. Лечить... поди вылечи.

Старик махнул обеими руками, опустил голову, в лысине отразился оконный свет. Издали, со стороны дома, пропел петух – то солнце прожгло тучу и вытекло на горизонт. Алёна повернулась к окну, снова увидела на грядках посуду с воронками, выросшими как грибы после дождя. Потянуло домой.

Потерев колени, Ефим поднялся, и сам кивнул на окно:

– Последнее солнце. Идём на лавку.

Вдоль порога натекла лужа серого неба. Ветер тряхнул вишни, с листвы осыпалась стеклянная крошка; зашумела кукуруза, точно потирая бока от холода. Алёна запахла кофту, подышала на руки и решила не мешкать, минуту побыть тут – и домой, а что старик даже в шутку не позвал в ученицы – и слава богу.

– Да вы не травник?

– Это как? – просиял Ефим.

Алёну уже злило, что должна отвечать вместо него.

– Умеете, чего другие не могут.

– Умею, – согласился старик самым приятным своим голосом и выставил ногу в добротном ботинке. – Обувку вот.

Алёна вообразила такие же ботики втрое меньше на своей ноге – чистенькие, остренькие – отмахнулась от соблазна и настояла:

– А ещё?

– Могу не думать, и крепко, как никто тут, – подмигнул Ефим. В бороде его так и висели крошки, он о том не ведал и довольно улыбался.

– И ни один чёрт вам не служит?

– А они умеют служить?

– И влюбить-разлюбить можете?

– То к Марфе.

– А чего она вас боится? – приврала Алёна и закусила губу.

Ефим полюбовался на ее красные уши и покачал головой:

– Баба-яга. Без дела она не буде... Что, судачат, как схоронят меня вниз лицом? Да ты сама детей не любишь и со мной водишься. О боге поди думаешь, сомнение у тебя в голове, вопрос на вопросе.

– Неправда! – выпалила Алёна. – Нема у меня такого.

– Есть. Всё, что треба, у тебя там есть.

– Для чего?

– Вверх копать, – старик поднял палец.

Алёна растерялась, но слова, смутные, как туман, укрывший деревню, всё же были ясны.

– Глаза уводишь, – попрекнул Ефим. – Тебе боле негде о том сказать, как тут. Ты хочешь, чего другие в голове уложить не могут. Стыдно не хотеть. Стыдно пожить зазря – и в землю. Потому и охота заладилась: знала, на что шла. Я стольким пособлял – постарше, половчее. И с отваром никто не сладил – уж сам зверя ловил, готового давал – в лес уйдут, день человека не слышат, а в

голове-то думки, балаболят там – всё насмарку. Специально о том молчал. Не ведают, что творят. Ни ума, ни сердца.

Старик прошёлся туда-сюда, доски под ним устало скрипели. От духоты и волнений спина у Алёны вымокла, одежда липла к плечам, хотелось вытереться насухо и одеться в чистое.

– Читать можешь? – спросил Ефим.

– Могу. А вы в бога верите? – осмелела Алёна.

– Не хотят люди знать! Не хотят. Картошка в огороде, бог в церкви. Так, да?

– Мама с папой всё бы поняли, да нет времени по лесам ходить!

– Нема у нас ничего, окромя времени! Дом сгорит, и нема дома. Что нажил – отберут. Жена – помрёт, сбежит, наскучит. Дети вырастут. Руки, ноги твои, голова да брюхо – болят, когда не надо. Одно время у человека есть, ничего боле.

Опять Ефим заходил из стороны в сторону, как цепной пес. Угол крыши ронял капли, одна капля – одна секунда, и с вишен падали секунды, и с кончика умывальника, а старик нахаживал и тёр бороду.

– Мне бы домой, – Алёна поднялась, и он тотчас очнулся.

– Пойдёшь в ученицы? Сядь, чего вскочила.

Села нехотя, задела ногой канистру, так что упал коробок спичек; пахло керосином.

– Я вам нужна, чтоб в смерти не мучиться?

Ефим поморщился:

– Судачат, да? Мыши серые. Бабки расскажут, как ведьмы крестики во рту мнут. Сама-то ве-
ришь?

Она опустила глаза, провела пальцем по краю канистры. Лужа вдоль крыльца поголубела на-
последок, и почему-то только сейчас одно «но» перечеркнуло все «за» и «против»:

– Мне мама не позволит.

Ефим сплёл руки на груди, ловил взглядом клочок чистого неба, и не сразу спросил:

– Отец пишет с фронта?

– Два месяца ни письма. Три уже.

Ветер сорвал капли с крыши, спугнул воробья с ветки вишни. Алёна достала из волос гребень, повертела и спрятала меж ладоней, чтоб старик не видел. Когда подняла глаза, солнце село, над горизонтом повис жёлтый дым.

11.

С того заката на лавке Ефима минуло три месяца. Лето кончалось, деревню затопила жара – последняя и такая злая, что улица кипела в мареве и оживала лишь к вечеру.

На исходе августа пришли вести с фронта. Маму отпустили с поля, чтобы успела в село на по-
чту. Соседка предупредила Алёну, но побоялась обнадёжить письмом отца – велела ждать. Алёна
слонялась вдоль забора, гадала и даже не пыталась занять себя чем-то.

От блужданий её отвлёк Лёнчик. Тот, которого так не хватало пацанам, скучающим по краси-
вым голам в девятку. Медленно, насколько позволяли одна нога и костыли, он пересёк дорогу в
сторону Алёны. Весть о ранении в деревню дошла, но что Лёнчику отхватили правую по колено,
узнали, уже увидев его на костылях. В полевом госпитале солдаты чуть не лежали друг на друге:
врач-студент, два санитары, из всей аптечки – камфора, йод да эфир для наркоза. Лёнчик схлопо-
тал пулю в голень – считай, повезло, подлечивали, на поправку шёл, бодрился, так на гангрену и
вышел.

– Мама на почте? – он приковылял к лавке, повесил костыли на сук сливы и плюхнулся возле
Алёны.

– Да.

– Не болит, – буркнул Лёнчик. Как и все, она первым делом уставилась на его ногу, которая
кончалась у колена узлом штанины. Почесав за шеей, Лёнчик сплёл руки на груди и сказал задум-
чиво: – А офицерику нашему по жопу оттяпали, считай полчеловека.

Через силу Алёна отвела взгляд от узла на штанине.

– У немца авиация крепкая, покрошили нас на юге. Мы растянулись шибко, они и налетели своими шмитами, – сам с собой толковал Лёнчик. – Боле всего пехота авиацию не любит. Ох, не приведи бог.

Костыли белели совсем свежие, дерево не успело потемнеть, перекладины не обтёрлись.

– Про указ слышала? – безучастно бормотал Лёнчик. – Ни шагу назад, двести двадцать седьмой. Заградотряды за войсками ставят, чтоб воевалось охотнее.

Его серенькие пузыристые плевки окружили косточку сливы – он метил в муравьёв, и парочка безнадёжно увязла, остальные суетились вокруг, пока Лёнчик не примял эту «пехоту» пяткой.

– Пойду, – шумно выдохнул. Повевало брагой, как порой пахло от отца, если праздновал с вечера.

Опершись о костыли, Ленчик вынул коробок и пачку «Казбека» – добыл на фронте. Сельские курили махорку и папирос в глаза не видели. Алёна пригляделась, только теперь заметила и дрожь в его пальцах, и что папирсы со спичками все были поломаны. Минуту он пытался совладать с руками, ругался под нос, затем Алёна встала, взяла коробок из мокрых рук Лёнчика и прикурила ему.

Мама вернулась поздно, пряча лицо, сказала, что на почте ошиблись, легла к стене. Будто и не плакала, но от тусклых глаз веяло холодом. Никогда прежде не случалось у них с Алёной такого скупого вечера, чтоб ни поесть вместе, ни поговорить. Наутро мама не встала. Воздух в комнате повис затхлый, пылинки замерли, точно вмёрзли. После уговоров мама согласилась выйти во двор, но лишь спустила ноги с кровати – и повалилась. Уложив её, Алёна кинулась за врачом, за Марфой; Ефим, как назло, пропал в лесах.

Врач – немолодой, жидковолосый, чтимый и в селе, и в деревне, хотел взять маму в город, но сейчас бог знает чего там ждать и как везти. На себе? В дороге хуже станет. А что машины не достать, он понимал лучше Алёны. Обещал захаживать, назначил питьё, покой, велел не унывать.

На кухне уже дожидалась очереди Марфа. Увидев её, врач удручённо вздохнул и вышел. Алёна сразу дала ей молока, и та спрятала его в сумку. Прежде знахарка не бывала в их доме: отец не болел, а себя и Алёну мама сама выхаживала. Приземистая, не старая ещё женщина, Марфа села у маминой постели: шептала, руками водила и снова шептала. Ушла смурная, как врач. Сказала – будет заглядывать, дала чем поить, научила молитве.

Устав от новых людей, мама уснула, и Алёна поспешила на почту. Бежала и плакала; солнце расплзлось сияющей кляксой, облака текли акварелью. В комнатке почты, с порога, по нависшему молчанию Алёна уловила, что её ждали: ошиблись, девочка, и маме твоей так сказали, нет вестей, ни дурных, никаких.

На крыльце она встала плечом к столбику, закусил щеку, чтоб не реветь. Через дорогу по радио из окна сельсовета оглашали новую резолюцию: «Еще теснее сплотим ряды... будем трудиться... больше потребуем от себя и других...» Пацаны скучали без сводок с передовой, самые терпеливые расселись по подоконнику.

Первый раз Алёна побрела в церковь одна. Вера-Надежда-Любовь глянули на неё как на сестру, а их мать Софья – словно на дочку. «Люба – значит любовь», – ожил в памяти мамин шёпот. Подпалив свечу от другой, Алёна осмолрила конец, нашла ей место и долго глядела на святые лики. В центре Любовь – самая маленькая, с самым строгим лицом, в нём и правда угадывалось что-то мамино. Справа Надежда – постарше, а крест держит робко, точно боится сломать. Вера – высокая, умудренная, как если б знала, чего не знают сёстры. Смотреть на материнский лик, повисший слабым светилком, Алёна не хотела, но смотрела против воли.

Всю обратную дорогу она вспоминала, как тётя Нина описывала извещение о смерти, пришедшее Тамаре Тамаровне: «Маленька бумажка... за социалистическую родину... проявив героизм... убит, запятая, ранен... похоронен в селе...» От этой бумажки Алёна спасалась последним письмом отца, словно раскрывая его поверх похоронки. Она знала его наизусть, будто вслух отец

зачитывал свои строки – неважно, шла Алёна по лесу, лезла на дерево или засыпала в кровати. Отца можно было остановить, расспросить подробно – он отвечал, если курил – Алёна морщилась и задерживала дыхание.

Больше всего из письма запомнилось, что подтираться немецкими листовками было неудобно: царапались, и вдобавок их запрещало хранить командование. Одежду регулярно прокаливали в печах от клопов и вшей – ими и офицеры мучились. Но офицерам выдавали зубной порошок, у них водились папиросы и шоколад – это последнее было что-то удивительное, со слов отца.

Заканчивая на шоколаде, он гасил в консервной банке самокрутку и с дымом растворялся. Алёна кривилась от табачной вони и, если было вдохновение, отмахивалась рукой. Часто вспоминать письмо не стоило: отец ленился рассказывать, прятался за мутным стеклом, но стоило выждать неделю, и он являлся и был так близко, что, казалось, можно разглядеть его щетину.

12.

Вера была в одного Ефима. Неохотно Алёна вспоминала их последний разговор. Первое время и вовсе боялась, что за отказ идти в ученицы Ефим покарает – не со зла, а так, невольно. Теперь он мог обидеться уже за то, что всё лето она сторонилась его дома и вот явилась с просьбой.

Однако старик вернулся и принял Алёну на удивление радушно, усадил посреди лавки, сам продолжил мыть посуду – множество каких-то горшков. Борода серебрилась от капель. Алёна сбивчиво поведала о маме – беседа, ей казалось, не завяжется. Покивав мрачно, Ефим вытер руки о фартук, позвал в избу. Пока собирал сумку, расспросил подробно, а уходя, велел:

– Закрой форточку, придём откроем.

Это «придём» не понравилось Алёне, но в суете забылось.

Увидев, кого она привела, мама даже привстала, но Ефим жестом уложил её и сел с другого края кровати, о болезни осведомился легко, как о порезанном пальце, после взял мамины щиколотки, подержал молча. Она и уснула. Прежде чем уйти, Ефим обошёл дом, оглядел по-хозяйски. Скрип петель и половых досок, подтёки с крыши, треснувшее стекло – на всё он цокал языком и приговаривал, что «надо подлатать».

– Идём, ко мне, потолкуем, – заявил на дворе.

Алёна хотела и о маме спросить, и отчего нельзя говорить тут, и почему он сумку не открыл, которую так тщательно собирал, но не решилась.

Впервые деревня видела, чтоб Ефим сам вёл к себе. Кто лужгал семечки, кто опирался на таяпку посреди огорода – все покладисто кивали ему, но без улыбок. Глядя в лица односельчан, Алёна подумала, что если б не те встречи со стариком втихую, не было бы и этой явной, а он в благодарность за лечение потребует идти в ученицы.

«Не он ли наслал болезнь? – проползло в мыслях. – Дак мама и хворала давно...»

Пересекая его двор, Алёна через силу отогнала тревоги: ведь в одного Ефима и верила – не в Марфу, не в доктора. Мама – Любовь, а он, значит – Вера. В памяти ожила икона с ликом старшей сестры, и от мысли, что к Ефиму с его тайнами ушла вся вера, стало не по себе.

Прихватив из-под лавки канистру, старик повёл Алёну в дом, к шкафу с чёрным проёмом, за которым темнел тупик: там, против библиотеки, висела резная рама с косматой бурой шкурой внутри, такая картина. Алёна только и успела подумать, что Ефим пошёл за книгой, как он повернулся к библиотеке спиной, сунул руку в шкуру, и половина рамы отворилась – мех скрыл зазор меж дверьми. Распахнув одну, чтоб свет очертил лестницу, Ефим торопливо спустился. Алёна сходила осторожно, когда нога коснулась пола, старик уже смочил из канистры факел и подпалил.

Внизу было сухо, ни сырости подвальной, ни духа плесени. Спящая печка выпирала из стены жабьей мордой. По углам массивного стола росли факелы, потолок над ними чернел от копоти. Стены ушли под полки – ни у отца, нигде больше Алёна таких инструментов не видела: чудные железные ветки, кручёные серпы, сита в три уровня и гора спиц, какими год назад Ефим открыл мамин замок на погребке. В мутной качке света всё это то пряталось, то выступало наружу.

– Ставь два стула и слушай, – велел Ефим. – Я тут покамест, но скоро опять уйду. Есть одна травка – заварить её, подавать день-другой. Коли не она – я не знаю что. Кустики такие, не боле ведра. Листики острые, как ивовые. Тока волк найдёт, у них нюх дай боже. Хворый волк ту травку ищет.

Живот так и сжался в комок. Невольно Алёна открыла рот:

– За волком бегать?

– Прежде словить, – поправил старик и медленно распрямился, – да ослабить, чтоб еле живой был. И ловить на себя. Но для запаха нужно мясо – мышами не обойдёшься, куру прирежь – волк на неё придёт. За рекой они водятся, где поля и дальний лес. Тока в него не суйся. Сядь на холме, кой покруче. Смекнула где?

Те края Алёна видела лишь с макушки самого высокого дерева в колхозном саду. За оврагами начинался ближний лес, там зеленело море листвы и островами темнели ельники, а вдали лежали голубые складки холмов, о которых и говорил Ефим. В груди словно камень вырос, холодил сердце, а Ефим продолжал как ни в чём не бывало:

– Не тушуйся. С лисой сладила – и волка причешешь, – он постоял в раздумьях, склонился, достал из ящика стола чёрную полированную дудку – длиннее прежней, звучала она холоднее и ниже, особенно последняя третья нота – вкупе все три напоминали вой. Оттуда же достал самострел с дротиком и чем мазать, а после кивнул в угол, на самодельную телегу – решётка, четыре колеса да цепь вместо верёвки.

– Волка не снесёшь, тяжёлый, ирод. К телеге примотай, да крепко – то такой зверь... ни дай бог.

Решётку покрыли застаревшие пятна – давно высохшие, несомненно, от крови, она до сих пор выглядела липкими.

– В сарае спрячь его. Развязывать не вздумай и за пастью следи, завоет – все соседи твои. Собаки учуют – вой подымут, и пусть – люди на мамку твою спишут, они знают приметы. Дней пять треба ослабить его, чтоб душа еле держалась. Ни еды, ни воды! Зверь неделю без воды живёт, без еды – две. Лапу надрежь, заднюю, бо не угонишься, – Ефим изобразил рукой волчью лапу и указал где резать. – До дому свезёшь – сразу режь, чтоб затянулась корочка.

Факел потрескивал, но в тишине казалось, что хрустят и ломаются доски. Алёна соглашалась, кивала, а речь Ефима рисовала дурной сон.

– Как ослабнет, телегу с ним вывезешь в сад, там развязывай, да смотри – покусает, еще тебя лечить. А как травку съест – он же её и съест. Этим спугнёшь, подуи – они не любят свисту. Подарок тебе.

Старик достал из стола свисток на шнурке, повесил Алёне на шею. Невесомый, меньше мизинца, с боков завились резные листики, совсем как на отцовском гребне – лёг посередь груди, и захотелось сдвинуть его вбок.

Из последнего ящика Ефим извлёк бутыль с тёмно-бурой жижей. Откупорил, повеяло боло-том.

«Кровь», – пробрало Алёну.

– Не кровь, не бойсь, – по испуганным глазам догадался Ефим, поднёс бутыль к факелу, полюбовался – внутри колыхался рубиновый свет. – Хлебнёшь – и для леса тебя не станет. Волк не учует, что по пятам идёшь.

Алёна глотнула, как если бы опрокинула в рот стакан этого яда. С перепугу совсем скрутило живот.

– Сутки прежде ни крошки в рот! – наставлял Ефим. – Как почувствуешь, что поплыло всё – не забудься. Помни, что тебе надо – крепко помни. Оно думки попрячет. Сладко станет, томно – не заиграйся, Алёна. Ты можешь, – и Ефим прибавил мягче: – В змею не ступи. Поранишься, укусит кто, спугнёшься – чары спадут. Береги их.

– Из чего оно? – не стерпела Алёна, напуганная рубиновым светом.

Вместо ответа старик достал баночку, налил в неё из бутылки по палец. В воздухе распустилась терпкая горечь, Алёна потянула носом. Ефим приметил, улыбнулся, и закралось сомнение: неужто не запас он этой волчьей травой? Наверху шкаф до потолка, тут целый стол в ящиках. Такая важная – и нету?

Но Алёна спросила, потупившись:

– Точно эта трава маме поможет?

– Изнутри её буровит, из головы – село у ней там, ест её думка, съела почти. Мы подлечим, только разговорить мамку надо, развязать, чтоб выболтала, чего прячет. То только ты можешь, от тебя она прячет. А мы подлечим – травка поможет, должна. Ежли не она, я не знаю что, – повторил он то, с чего начал, и встал. – Идём. Это я прихвачу, а ты канистру, нельзя её тут держать.

Полная, тяжелая, как ведро воды, канистра воняла керосином, внутри глухо плескалось. Ко-е-как Алёна подняла её по лестнице и несла на двор под лавку. Тут пахло помидорами, грядки жались к частоколу жердей, и сами помидоры уродились мясистые, в руку не поместятся.

– У меня той травы нет, я б дал. Старый за волками бегать, – признался Ефим, выходя в тень крыльца. – Телегу я к вашей калитке ночью свезу – заберёшь, чтоб деревенские не прознали.

Алёна провела пальцем по дудке, вспомнила, как замороженные куры падали с насеста.

– Три месяца не казалась, – обронил Ефим, и она отняла руку от дудки, словно он запретил. – Я не в упрёк, Алёна. Я б столько тебе показать мог. Есть у тебя родня – примут, коли что?

– Брата папиного на фронте убили, маминых тиф забрал.

Старик погладил бороду, но было видно, как под ней ходят желваки, как не может он подобрать слов. Наконец оглядел выбеленную засухой улицу и посулил:

– Я могу поведать много такого, что...

– Я крещёная! – нагретая страхом, выпалила Алёна.

– ...что ни мамка, никто тут не знает! – твёрже dokonчил старик. – Что в хозяйстве каждый день треба. Много ты таких помидор у кого видела? То не черти, то я растил этими руками.

Он поднял большущие стариковские руки, каждая в две Алёнины. Поглядев на них, на помидоры, она закусила губу: «В ученицы так в ученицы – чего ж делать».

– Я ежли зол, то недолго, – остыв, заверил старик. – Пальцем не трону, то для меня святое. А коли говорят, что я спятил – ты не верь.

– Хорошо, – не поднимая лица, кивнула Алёна.

– Что?

– Согласна я, – ещё ниже она опустила голову.

– Ой, иди уже, горе луковое!

Старик махнул рукой на брешь в кустах, матюкнулся в бороду и с неохотой натянул фартук.

Уходила Алёна, потяжелев вдвое, набухшая страхами, оглохшая – щебет и ветер в листве казались отдельными, чужими. Настоящей была боль в мыслях, словно там прожигало дырочку. И Ефим эту боль умножил. Он, верно, не понял, что сказал о маминой болезни, о думке, какая угнездилась в ней и травит – но поняла Алёна и шла, будто пьяная, как на чужих ногах.

«Но может, ошиблись, мама, может, ошиблись» – думалось всякий раз, как слёзы подступали к горлу. Огибая колдобины, она смотрела на дорожную пыль и не видела её, не видела колдобин и дороги, и что с каждого двора на Алёну оглядывались, она тоже не знала и не хотела знать.

Вблизи дома на улицу выбежал соседский Витька, потрясая своим чёрным пистолетом, жадно огляделся в поисках развлечений, но только появилась Алёна, как мать погнала его домой, да так грозно, что подчинился сразу. Уже из-за ворот он обернулся, приставил ко лбу кулак с оттопыренными пальцами вроде рогов и зарычал.

– Быки не рычат, дурень! – не стерпела она, а в уме отозвалось: «Может, ошиблись, мама...»

Поднимаясь к себе на двор, Алёна оглядела грядки с последними вялыми помидорами – пахли они, только если поднести к носу. Сорвала парочку, может, мама съест... «Может, ошиблись, мама, может, ошиблись...» Оба помидора уместились в руке, рядом с Ефимовскими они казались двумя крупными виноградинами.

Неужто он – её вера? У той, с иконы, милость в лице, а он как глянет – душа в пятки.
И кто тогда Надежда?

13.

С новой дудкой куриц вышибало куда раньше, а птицы валились с деревьев, как яблоки, если потрясти. Саму Алёну от слишком усердных тренировок мутило до тошноты, час-другой ходила, сдерживая рвоту.

Мама не вставала, ела после уговоров, травки Марфы пила по чайной ложке. Весь дом пропах отваром, молоко до капли уходило знахарке, а мама чахла и убывала – подушка под её головой точно распухла с каждым днём.

Свежим, прохладным утром Алёна уложила нож у плоского камня в углу двора и вошла в курятник с чувством, что входит в детскую спальню. Помимо петуха имелись старая насестка на серых мохлястых лапах, и белая курочка с тонкой алой гребёнкой. По правде, резать надлежало старую – пожила ведь, но гадкий голос шептал: «Для жертвы бери молоденькую, красивую». На-супившись, Алёна взяла в охапку ту, которая «пожила», и наказала себе замахнуться посильнее да без лишних слёз.

После, заварив травок, провела маму. Та встревожилась:

– Чего глаза на мокром месте? Из-за меня? Хватит, Алёна. Поправлюсь.

Алёна же все еще видела, как кровь брызнула на «эшафот» в углу забора, и на забор, помнила куриные трепыхания в руке. Оставив маме питьё и мякиш хлеба, она тихо ушла. Полегчало в лесу. Ветер тормозил листву, спугивал птиц – отвлекал как мог. Телега катила легко, большие колёса глотали ямы и корни – всё прочитал старый чёрт.

Так далеко Алёна не забиралась. С любимого дерева в саду было видно два крошечных дуба за рекой, на их фоне голубели складки холмов. Путь к дубам лежал через низину у изгиба реки, сплошь в заводях и с ордами комарья. Зной усыпил всё вокруг. Ивы, свесив космы, клонились над рекой, лишь рябь от ветра бродила у берега да петляли голодные стрекозы.

Солнце уже взобралось под купол неба, когда Алёна добралась до дубов. Они стояли друг против друга, одинокие, как на дуэли. С трудом она разглядела свою деревню: крыши белели россыпью за садами. А впереди шумел на ветру незнакомый лес – макушки деревьев качались, будто головы, шелестели, приговаривая: «Ай-ай, чего затеяла».

Уже к вечеру, взбираясь на заветный холм, Алёна спугнула птицу, та выпорхнула из травы и испугала саму Алёну. Столбы сосен накалились докрасна; в вышине, словно дым, растворялась прозрачная хвоя; кочки сияли, как комки пуха. Еле рассмотрев вдалеке два крошечных дуба, Алёна поняла, как далеко ушла от дома, и ладонь сама легла на пояс у рукоятки ножа.

Место нашла близ леса, натащила коряг – хоть какие-то баррикады, и сразу взялась за костёр. На сучок куста Алёна повесила зеркало, зарядила самострел и принялась коптить курицу: та румянилась, шкворчала, упала капля жира и зашипела. Никто не готовил курицу вкуснее, чем мама. В пути Алёна съела припасённые морковку с яйцом, но от ходьбы и тревог голод не унялся. Проглотив слюну, она настроилась ждать: упёрла дудку в подбородок, повернулась к зеркалу; спина и ноги ныли загодя, помня охоту трёхмесячной давности.

Так Алёна провела час. Умаялась больше, чем за день пути, тело затекло от шеи до пяток. Низина уходила в сторону дубов-дуэлянтов и гасла в сумерках. Размышляя, как поступить, если охота не состоится, Алёна заметила в зеркале две ели, темневшие на фоне закатного неба, и изумилась – никаких елей, пока собирала дрова, там не видела. То были волчьи уши. Вслед за ними в лесном сумраке проступили узкая острая морда и высокие лапы. Волк замер, будто нарисованный чёрной краской.

Сперва Алёна подумала о ноже, затем о самостреле, а уж после – о дудке. Других «елей» в зеркале не было, но шорохи надвинулись со всех сторон. Волк лёг, не издав звука, и Алёна восхитилась: «Красивый какой».

Месяц вспорол тучу.

Приложив дудку к губам, Алёна взяла первую ноту, и волк наклонил морду, повернул ухом. Но звук дрогнул, разладился – вторая и третья ноты выгладили его, а первая замкнула петлю, и кольца пошли оплетать зверя. Алёна вперилась в зеркало, ждала, волк лежал, подняв уши. Тогда она заиграла громче, и он сел, а после встал на четыре лапы, переминаясь. Меж лопаток стекла тёплая капля пота, другая зрела у виска. Сбавив громкость, Алёна заиграла мягче – ещё круг, ещё... дудка скользила в мокрых пальцах. Зверь пошатнулся, пошёл навстречу, и Алёна, хоть видела волка впервые, подивилась, как он ступал: лапы еле сгибались и неуклюже задевали корни.

Меж тем голос дудки проник в Алёну, от него мутило, никогда прежде она не играла так долго. На тренировках этот гипноз кончался пробуждением под птичий щебет – чем обернётся теперь, и думать не хотелось. И этот звук, и тошнота, и голод крутились в теле винтом.

На кромке леса волк встал, качался, как под ветром, тянул морду, хотел подвыть. «Этого не хватало!» – отчаялась Алёна и поняла, что хочет перестать играть, но пальцы и губы как сговорились против неё. Наконец, взяв длинную вступительную ноту, она поднялась, на слабых ногах добрела до коряг и сквозь муть в глазах различила перед собой волка: не сходя с места, он мотал головой, будто пытаясь выпутаться. И в Алёне три ноты не угасали, вращались колесом, самострел обжигал руки. Прицелившись в упор, она выждала, пока уляжется дрожь, и выстрелила.

Тут тошнота поднялась нестерпимо, Алёну вырвало желчью, в ушах звенело. Когда пришла в себя – зверь лежал на боку. Утерев рот рукавом, Алёна ткнула палкой ему в бок, в шею, в нос – ухом не повёл, только лапы дрожали. Лишь подойдя ближе, она отметила, что поймала не волка, а волчицу – нестарую ещё, сильную. Значит, выдержит. Вспомнился голос, который велел резать молоденькую курицу. «Хорошо не послушалась!» – уверилась Алёна и следом подумала, что поймать волчицу – это добрый знак:

– Мы ж девочки: мама, я, ты, – шептала Алёна, сев на корточки. – Мы пособим друг дружке. И вдруг её озарило: волчица и есть Надежда. На неё же, в конце концов, она и надеется.
– Надя, – сорвалось с языка, – Наденька.

По пути назад волчица не очнулась, но так и дёргала лапами – неслась куда-то в беспокойном сне. Весу Наденька набрала с три лисицы, если не больше, туго бы пришлось без телеги. Луна напустила в зелень бледного дыма: куда ни глянь, всюду мерещились волчьи уши, в голове звучал вой вперемешку с дудкой. Полегчало у реки, когда Алёна завидела на воде дребезг лунного блика. Все сверчки леса сползли к берегу, сквозь навязчивый душный стрёкот ухала сова. Отдыхавшись, Алёна снова намотала цепь телеги на руку и вспомнила, как зимой отец сажал её в санки и так же возил за собой на верёвке.

Когда вернулась в деревню, уже светало. Телегу закатила в сарай и сразу метнулась к маме. Та спала, в чашке недоставало на пару глотков, мякиш хлеба лежал нетронутый. Алёна склонилась уловить дыхание, ни целовать, ни гладить не стала – побоялась разбудить.

В сарае она плюхнулась у стены и сидела, пока горячее, мокрое тело не перестало гудеть, как улей. А волчица так и спала, лапы так и дрожали.

«Наденька, – умилилась Алёна, и тут же её обдал страх, – может, мертва, а лапы так дрыгаются? Тётя Нина божилась, что с покойниками это бывает». Но грудь волчицы ходила вверх-вниз; нагнувшись к морде, Алёна различила дыхание и села назад к стенке.

Предстояло самое скверное: вспоминая руку Ефима и долго прилаживаясь, она надрезала волчью лапу, как он показывал, – самую малость. Наденька вздрогнула, засуетилась, снова обмерла. На землю упали тёмные капли. Алёна отвернулась и быстро начисто вытерла нож.

14.

Утром она проснулась от несмолкаемого воя: собаки голосили с каждого двора, но громче всех заходился Ялик. С появлением Алёны он юркнул в будку и глянул оттуда, вопрошая взглядом: «А тебе не страшно?»

«Ежли Ефим не ушёл – смекнёт», – порадовалась Алёна и пошла к маме. Та не спала, всплеснула руками и повинила дочь:

– Куда пропала вчера? Весь день тебя не было. Я слышу, коли никого в доме.

– В лес ходила по лекарство.

– Врёшь. Марфа всё дала. Всё! – на этом силы спорить иссякли. Поникшая, мама прибавила, глядя в окно: – Собаки воют, Ялик аж заходится. Худой знак.

«...соседи на мамку твою спишут, они знают приметы...» – вспомнились слова Ефима.

– Голодный Ялик, не кормила ещё, – спохватилась Алёна.

– Ты что в лесу забыла? Ефим надоумил? Кошей. Перед людьми совестно, что с ним водимся. Помнишь, как про него толкуют?

Мама сжала руку Алёны, но хило, как ребёнок спросонья, – Алёна сжала в ответ сильнее и решительно соврала:

– То сплетни. Судачат, когда ума нет. За травами он послал, навроде Марфиных. Я заварю.

– Ишь, заговорила, – подивилась мама. – Ялика накорми да Липу – мычала полночи, не давала спать.

Прежде чем уйти, Алёна достала из-под кровати мамин горшок, но в нём третьи сутки было пусто.

– Чего ты там ждёшь? Иди уже.

Ветер трепал виноградник, срывал ещё зелёные листья и нёс по двору. А мечталось, чтоб он унёс разом всех собак. По пути к будке Алёна представила, как, кувыркаясь и визжа, они полетят над крышами. Вместо еды Ялик трижды получил хворостиной, пока не спрятался в будке.

– Тока тьякни! Посмей тока! Ей скормлю! – пообещала Алёна, указав через двор на сарай.

Заварила Марфиных трав, накрыла их полотенцем и поспешила к сараю, шла и корила себя: «Теперь и мама в страхе – псы паскудные, никого спасу от них... сама, опять сама...»

Не дойдя до сарая, Алёна расслышала скрип телеги, сбавила шаг и подошла к окошку чуть не на цыпочках, протёрла, глянула – пленница извивалась на телеге. Лязг засова насторожил волчицу, она дёрнулась поднять голову, но верёвки не дали. Внутри стоял смрад острее собачьего, от кислой вони хотелось зажмуриться.

Набравшись духу, Алёна примостилась против волчицы. Солнце уложило на стену полосу света, пыль плыла через луч, кувыркалась. Жёлтые волчьи глаза смотрели не моргая, пока Алёна вымаливала прощение: «Надя... Надя, послушай...» Но скоро та взялась скулить насколько позволяли верёвки, – не по-собачьи, гневно, низко.

Уходя, Алёна затворила дверь, а волчица всё вертелась, силилась совладать с верёвками – и не заметила, как тюремщица вышла. Гордость от удачной охоты канула, сама охота вспоминалась сплошным обманом Наденьки.

Ефима дома не оказалось, ушёл, избу запер, даже форточку затворил изнутри. Остаток дня прошёл за хозяйством вблизи мамы. Когда в обед та уснула, Алёна вышла полоть огород и сквозь вой собак услышала скрип из сарая – не унималась Наденька. Сходив в дом, Алёна заткнула уши ватой и вернулась к сапке, но скрип так и повис в голове. Когда кончила с огородом, к большой своей радости увидела во дворе тётю Нину. Та села к столу в тени ореха, стянула платок, дала голове остыть.

«Матрёшка, ей-богу, матрёшка» – мелькнуло в мыслях.

– Ты, что ли, подросла? – пригляделась тётя Нина, повязала платок и заметила между делом: – С вами повзрослеешь, да?.. С войной вашей сучьей.

– Молока хотите? – нашла Алёна, думая отлить от порции Марфы, пока та не пришла.

– Не, с жары этой ничего в рот не лезет.

Соседский пёс прибавил жалобных нот к общему вою, остальные подладились.

– Чтоб вас чёрт забрал, псы паскудные, – бросила тётя Нина. – С утра эта песня. То на жару, Алёна, ты не думай.

Обе покивали.

– Тамара повесилась – и никто не выл, – сказала Алёна, но звучало так, будто спрашивала.

– А то. Кому как написано, бог не спросит. И Тамара не одна – в селе тоже женщина с собой кончила, отравы глотнула кой-то, сожгла себя изнутри. Два сына у ей враз отняло. Война така – грохочет там где-то, а мрут тут.

Петушиный крик отвлёк тётю Нину, ненадолго он перекрыл голоса собак. Что слова её омрачили Алёну, она не видела, продолжила как ни в чём не бывало:

– Ты, Алён, с Ефимом поди сдружилась? Мать он лечить взялся да опосля к себе водил. Сколько живу – того не видела. В сам деле вы знаете?

– Мама заболела, я и пошла к нему. А прежде ко врачу да к Марфе, – щёки Алёны налились жаром.

– То верно, ты молодец. Тока видели, что ты и прежде у него на дворе была, в начале лета, – усомнилась тётя Нина. – Может, врут. С людей станет. Обознались, может. Тока ты думай, прежде чем делать что. Шёпоты эти за твоей спиной – оно тебе надо?

Лицо охватил огонь. Алёна пожала плечами: не хотела ни врать, ни искать оправданий и только спросила:

– За что его не любят? Никому ж зла не делал.

– Еще не хватало, чтоб зло делал. Когда с людьми не в ладу – уже худо. Пособит ежли – чудо, а то матюкается, на ребят шикает. Ты б хотела подле такого жить? Може, он посулил чего?

Алёна помотала головой, смяла в руках лист ореха.

– Люди копят помаленьку, а случись что – дак всё наружу. Попадёшь вместе с ним под горячую руку, – словно повинилась тётя Нина. – Раньше-то – скот падет, неурожай – знамо ведьму ищут. Дед говорил, икоту одна наслала. Всем селом били, донага раздели – хвост искать. Не нашли. Ну, под калёной кочергой созналась. Ты того хочешь?

– А коли у него помидоры боле наших втрое – тоже худо?

Тётя Нина вздохнула, смела крошки со стола.

– Я у мамки твоей была, она получше. Ты лечи её, что Марфа велит, делай, что Ефим сказал, делай, всё делай. Наладится мамка. Чем надо пособим, не молчи тока.

Опершись о стол, она встала, отряхнула халат.

– Уходите уже? – изумилась Алёна.

– Пойду.

– Так не будете молока?

– Не, дочка. Ты помяни, что я сказала. Баба Нина старая, но сказать может, боле нет с неё проку. Всё, не провожай, – и она поковыляла к калитке.

Часом позже навестил врач, повторил, что надо бы в город – вот если бы машину... И Марфа побыла у маминой постели и ушла, избегая встречи с Алёной. В сумерки, покормив Липу, она сама наведалась к маме – уговорила съесть хлебный мякиш, напоила отваром, да та подавилась – и половину разлила мимо.

– Навроде легче от твоих травок, – согласилась мама. Круги под её глазами как будто светлели. – У врача ботинки в пыли, с утра по жаре ходит. И ему молока дай. Придёт, всё расспросит. Марфа – та сама говорит, лучше меня про мои кишки знает. А Ефима сторонись. Слышишь? Христом богом молю.

Откинув полу одеяла, мама провела рукой по влажной груди, обернулась к окну и потянула носом:

– Вечером свежо пахнет, вкусно. Завтра выведем меня на двор – умаялась лежать.

Соседская собака завывала громче остальных, уже звенела цепь Ялика, но, помня утреннюю хворостину, он вяло потявкал и залез в будку. Мама зашептала хмуро:

– Худой знак. Откуда у них силы глотки рвать?.. Иди, Алёна, глаза слипаются, – последнее потонуло в зевке. Мама уложила руку на её плечо и так уснула. Вскоре её пальцы стали подрагивать.

Алёна нанесла Липе сена, долго гладила тощий коровий бок и приговаривала: «Ничего-ничего, наладится. Помаленьку, потихонечку». «А ну как нет?» – мычала в ответ Липа, и приходилось объяснять ей: «Дак и в тебе душа еле держится – одни рёбра, а живёшь, глупая».

По пути в дом Алёна прошла у будки, заглянула к Ялику, чтоб не поднимать шума:

– Убью – пасть откроешь, – и уходя пояснила: – Кормить перестану.

15.

На второе утро Алёна сразу поспешила к Наденьке: ночь выдалась душная, немая, разбудил страх, что Ефим ошибся и суток волчица не протянет. Но встретило Алёну то же спёртое рычание да скрип железа. Пока проветривала сарай, оглядела деревню: дома будто отвернулись и выставили взлохмаченные затылки, заря красила трубы.

В сарае Алёна не стерпела – стала поить Наденьку из ковша, метя струёй в щёлку пасти. Хотелось погладить её, почесать за ухом, но точно не было на то согласия ни волчицы, ни божьего. Напившись сколько дали, та зарычала пуще прежнего. Порез на лапе стянула корка – Алёна тронула её, и волчица заматалась, ещё туже стягивая узлы. Стены сарая розовели, через открытую дверь виднелось пугало с соседского огорода.

По пути во двор захотелось оглянуться: за сараем темнели кроны сада, а дальше, совсем чёрная, лежала полоса леса. Собаки уже распевались. Ялику Алёна пригрозила на день вперёд, но так пропахла волчьим духом в сарае, что бедняга понюхал её ноги и шархнулся в сторону. Алёна переоделась, согрела молока и поспешила к маме.

– Чем пахнуло? – сморщилась та. – Поди псиной.

– Дак я от Ялика, – заверила Алёна, опешив: «Быть не может – всё ж чистое надела».

Но мама уже забыла о том и шурилась на окно.

– Опять пекло, царица небесная. Никакого спасу от того солнца.

С самого утра и правда ни облачка не было, ни ветерка – двор застыл, как картина, только воробьи порхали под виноградником.

– Мы в тенёчке сядем, в уголок? – взмолилась Алёна, но мама не ответила, поднялась на локтях и спросила не своим голосом:

– Ты куда собралась?

– Я?! – Алёна отшатнулась, но, привыкшая врать, перебрала в мыслях: «Может, в сам деле надо куда?»

– Липа мычала без тебя, – снова переменялась мама и рассеянно взглянула на руки. – Снилось что-то... как в тумане. И думать ничего не могу, – вдруг её взял испуг, опять поднялась с подушки. – Ты ж не к Ефиму? То добром не кончится.

Алёна затаила дух, пристально посмотрела на маму, но та на глазах стала прежней, и голос её остыл:

– Псы воют, не уймутся. Может, правда на жару.

– Конечно, душно как. К дождю, – поддержала Алёна, не понимая, каким словам верить.

– Мне в тех соснах волчьи уши чудятся, – мама повернулась к окну. – Как вой подыметесь – стоят, слушают.

За садом, на взгорье, росли две высоченные сосны, острые к макушкам.

– Дак выйдем на двор? – настояла Алёна. – Я топчан застелю, ляжешь в тенёчке.

– Не тяни душу. Я скажу, как захочу. Иди хлопочи, засохнет всё – зимой околеем с голоду.

И она перевалилась на бок – сорочка липла к худой спине, все кости проступили. Алёна сходила за свежей, а как раздела маму – охнула да скорее отвела глаза, твердя в уме: «Чего худого сделали, боженька?.. Ведь ничего! Дурак ты старый!»

В горшке желтело на донышке. Прихватив его, Алёна побрела на двор.

К обеду явились односельчанки; разгорячённые полевой работой, утолили жажду и двинулись в дом. Алёна обмолвилась о волчьих ушах, что мерещились маме вместо сосен, и прочла

в бабьих лицах скорбь. Но её взялись успокаивать, вспомнили дюжину безопасных примет и о собачьем вое, и о волках. Со слов односельчанок, мама и выглядела лучше, хоть нос её нехорошо заострился. Они причитали на зной в поле, на сроки сборов и больные спины, хоть в чём-то желая казаться не такими здоровыми и румяными. Тётя Нина стояла поодаль, кивала да отводила лицо. Соседка по участку Зоя Филипповна, старенькая, сморщенная, как сухофрукт, поддакивала остальным и тоже пятилась, чтоб не поймать мамин взгляд.

– ...лежи-лежи, свой угол лечит... солнце лютует... к дождю... – слышала мама, но все слова летели мимо, ни одно не смягчило её лица. И уходя последней, Алёна заметила, как мама обернулась к окну и подивилась шёпотом: – Ухи. Ей-богу, ухи.

На улице женщины снова черпали из ведра и жадно пили, так что Алёне самой захотелось; другие, не стесняясь её, судачили:

– В селе? Где сельсовет?! Чем отравилась-то? Уксусной?! Мать честная... – женщины крестились и охали. – Уж лучше, как Тамара, ей-богу. Это ж как болеть должно внутри...

Алёна отступила на шаг, встала боком, чтоб не подумали, что слушает.

– Лёнчик-то попивает. Помню, бегал малой, худоблист наш, пиской тряс. Кутнул вчера, домой с одним костылём явился. Он теперь с мужиками кто остался – а кто там остался... – тень махнула рукой.

– Даша сказала, он ногу чувствует, кой нет, – чешется меж пальцев. Врач был у него, она отвела врача, сказала, что Лёнчик не спит толком, забыл половину, руки ходуном ходят – закурить не может. А как ночь – находит на него: неудобно всё, форма давит, сапоги жмут, а он в трусах на кровати. В полку его половине в голову напекло. Под осадой сидели, немцы лупили по ним с миномёта – так до истерик у солдатиков делалось, пока обстрела ждали.

– Что за бесы в мужиках сидят?.. Батюшки святы... Алёна, поди. Чего Ефим за маму сказал?

Напоследок ей обещали скорый дождь – тогда псы и уймутся – и дружно заверили, что помогут собрать картошку. Хвалили Марфу, велели верить ей, молиться, как учит, соседей звать, если что – не стесняться.

Ушли. Бойкие, плечистые. Алёна гадала, о чём они шепчутся за забором – тихо, с оглядками. Да лучше не знать, лучше б не приходили они. Отводя от себя эти мысли, точно ветки в густом лесу, она вернулась к маме.

С полудня стояло пекло, деревня кипела в мареве. Кто не спрятался в доме, расселись по лавкам в тени деревьев. Алёна управлялась с делами к самому зною, осмотрелась на улице и не смогла вспомнить, когда в последний раз видела её такой пустой.

Тут на одну из лавок вышла внучка Зои Филипповны – Мила, редкая девочка, с кем удавалось найти общие темы, если оставались вдвоём. Завидев Алёну, та поспешила навстречу. Однако к забору спустилась Зоя Филипповна, наружу не вышла, лишь тень её с поднятым кулаком легла на калитку, и Мила понуро вернулась во двор.

Вечер Алёна провела в саду, бродила от дерева к дереву и остужала тревогу, сжимая отцовский гребень до тупой боли – шрам от сломанного зубца белел с края ладони пятнышком. Мама хранила свой гребень в шкатулке и ругала Алёну, чтоб та тоже сняла да спрятала – упаси боже потерять.

Устав ходить, Алёна разулась, вырвала пальцами ног клочок травы. Вдали пропела кукушка: раз-два и смолкла.

– Я тебя ни о чём не просила, – крикнула Алёна в сторону леса и повернулась к нему спиной.

Во дворе она заходя шикнула на Ялика, не удержалась и снова побрела к сараю. Телега под Наденькой стонала, будто это телегу наказали, привязав к дикому зверю. Алёна прибрала за волчицей, обтёрла решётку и с час проветривала сарай – вонь стояла нестерпимая. Весь этот час Наденька била хвостом о землю, ворчала. Рана на лапе подсохла и не кровила. Лишь волчьи рёбра виднелись всё явнее, так же, как мамины, что утром проступили, когда Алёна меняла ей сорочку.

Переодевшись, Алёна процедила остаток трав и отправилась к маме, да так и не добудилась. Тепло весь день сочилось в дом и к вечеру осело в каждой комнате, но мама укуталась, натянула одеяло по уши, пальцы выступали из-под него совсем маленькие.

Напоследок Алёна заглянула к Липе, посетовала на односельчанок и услышала в ленивом мычании, что ни им нельзя верить, ни их тревогам. А если соседка гонит от Алёны внучку – то со страху: коли ума нет, вместо него селится страх, подрастёт Мила, будет умнее своей бабки – будут дружить.

В своей комнате Алёна села на кровать, достала баночку с Ефимовым настоем – тот был почти чёрный, как вино, лишь поднеся его к свече, можно было увидеть рубиновый перелив.

16.

Третьим утром мама повернулась к Алёне, но глаз не разомкнула, точно веки слиплись. Сквозняк распахнул ставни, занавеска взлетела под потолок, и Алёна вскочила с кровати, чтобы скорее затворить окно. Мама наморщилась, подтянула к груди руку.

– Ты глаза не открываешь, – садясь назад, промолвила Алёна.

– Устала. Ветер там?

Пришлось целиком затворить окно и задвинуть щеколду.

– Там славно, жары нет пока. Выйдем, посидим маленько? Ты спала?

– Снилось что-то.

Ветер трепал виноградник, редкие синие грозди темнели в листе.

– По сю пору не верится, что ты в сам деле ту лису словила. Алёна-Алёна... Мне б твоё нетерпение – уже бы в городе жили. И Марфа сказала – следи за дочкой, шибко смышлёная.

– Так и сказала? – наострилась Алёна.

Но мама помолчала и заговорила уже другим, упавшим голосом:

– Помнишь, орехи чистили, а ты боялась рук не отмыть?

– Конечно, чёрные такие. Дак ты откроешь глаза?

– Иди-иди, потом.

Алёна выдвинула ногой горшок: беленький, чистенький, тот удручал своей пустотой больше, чем мамина бледность.

С ковшом воды отправилась к сараю, минуту глядела в окошко: волчий хвост беспокойно вилял. Распахнув дверь, Алёна отшатнулась – дышать внутри было нечем. Подождала и села у теплого. Надо поить волчицу, хоть глоточек – погрёт, и тогда всё зря. Опять шёпотом, глотая слова, Алёна вымаливала прощение. Наденька напилась и зарычала всем телом. Хуже этого сарая, этих стен в голубой извести, наверное, и не было для неё места. Алёна выйти не успела, как раздался знакомый скрип. Небо глядело на неё с укором, на ум лезло и лезло, что она давит из Наденьки силы, и, прикованная к кровати, так же томится мама.

Заварив травок и полив грядки, Алёна дала крюк через сад, решила проведать Ефима, мало ли – воротился, но его изба стояла запертой. За это огорчение и за всех деревенских псов, что голосили без устали, расплатился Ялик с его истошным лаем. А из сарая не смолкал скрип, остатки волчьих сил уходили на проклятые верёвки.

У мамы уже сидела Марфа: наговаривала, поила. Алёна заглянула к ним:

– Мне пособить чем?

– Иди хлопочи, – отозвалась знахарка.

Но часом позже она вышла от мамы и осталась на пороге кухни. Сначала высматривала Алёну, а как заметила, села во дворе за стол. Давно ждавшая беседы, Алёна поспешила к столу и вперёд слов выставила молоко.

– Справляешься, дочка? Псы развелись, чтоб им пусто было, – посетовала Марфа, пряча банку.

– Зла на них нет. Чего лают?

– Ты о дурном не думай. Столько народу без всяких собак померло.

В загоне закудахтал петух; дождавшись, когда умолкнет, Алёна спросила:

– Пошто мама болеет?

– Надо, значит. Все болеем, я тоже.

– Может, ей сказали, что отца убили, а она мне...

– Ты гадай меньше, – перебила знахарка и откинулась на спинку стула. – Повоюет, вернётся, то его дело мужицкое. Так справляешься с домом? – Марфа опёрлась локтем о стол и подалась ближе. – Старый захаживал? Тож мамку доглядует? Лису он пособил словить? Не тушуйся, никому не кажу, – она подмигнула.

– А вы боитесь его?

– Есть чуток.

– За что?

– Его спроси. Вы ж знаете?

Алёна потухла, но не смолчала:

– В лес вы тоже ходите?

– Хожу. Сыщу своё и до дому, а чего он там по месяцу бродит, я не ведаю.

– И нема у вас травки, кой волки лечатся?

– Он посулил такую? – Марфа сощурилась. – Тех травок столько. А зверь земли, бывало, лизнёт и поправится. Ох, Алёна, хлебнёшь ты с ним горя.

– С волком?

Знахарка не ответила, махнула рукой, согнала со стола муху. Взыл соседский пёс, Ялик выскочил из будки, но, завидев Алёну, поник и юркнул обратно.

– А в бога вы верите? – решила она.

– Шли бы ко мне люди, коли не верила.

Повеяло дымом. Кто-то в эту жару топил печь – уму непостижимо. «Запах огня» – как Алёна звала и аромат костра, и смрад пожара – дурманил её.

– Может, я к вам заходить буду? – обратилась она и вдруг поняла, как сильно хочет этого. У Марфы и внуков не было, а сына с мужем прибрал фронт. Не дожидаясь ответа, Алёна бойко заверила: – Я отвлекать не буду, я только...

– Не, дочка. Ты ежи с Ефимом, так уж с ним, – отклонила знахарка и прибавила на тон ниже: – Никто тебя тут не примет, пошла молва – не воротишь.

Ветер сорвал листья с ореха, прокатил по двору. Алёна не стала допытываться о той молве, и только спросила:

– Что с мамой будет?

– Тяжела. Точит её. Села в ней заноза, в голову, в думки. Оно опосля на тело кинулось, уж мы лечим что болит, а сперва думка была, её наружу надо – она мать стравила.

Алёна закусила губу. Приметив это, Марфа увела взгляд, точно проговорила, даже села вполборота, но потом заставила себя обернуться к Алёне, а та уж не хотела ничего спрашивать и только прибавила для полноты:

– Я в церковь ходила.

– Молись. Дай бог, услышит, – Марфа встала, кряхтя. – Взрослеть тебе раньше времени... война проклята. Жили же как-то. Не надо боле молока. Мать пои, молись, не забывай.

Алёна проводила Марфу до калитки, нарвала у забора мяты и вернулась за стол, как если бы они так и сидели со знахаркой – словно та согласилась на просьбу Алёны и осталась потолковать.

Снова час ушёл на огород. Когда вернулась на двор, соседка уже накрыла стол, утром приехал на побывку то ли сын, то ли брат её – вчера шептались односельчанки, но Алёна не расслышала, а в лицо родню соседей толком не знала. Витька носился по двору со своим пистолетом, верещал радостно и грозно – он уже победил немцев. Запахло супом – слабенько, но хотелось вдыхать, будто повеяло мирным временем.

Отобедав, солдатик закурил – полетел дух махорки, и Алёна поспешила от него в дом, но лишь порог переступила и замерла: как будто смех поселился меж стен, прозрачный, сыпучий, обжилсь по углам. Алёна шагнула, снова встала и поняла – он из маминой комнаты.

– ...тож деда того корзина была... он яйца о край скамьи бил, а внучка чистила, – взмокая, мама сидела на кровати, уже порывалась встать, но, увидев Алёну, с жаром продолжила: – А корзина на отца упала, щёку окорябала... кривила потом щека...

Снова она подалась встать, и Алёна удивилась, откуда столько сил. Глаза мамыны – навывкате, точно рыбки – смеялись, смотрели сквозь стены, сквозь этот день.

– ...кровь вытер и сказал, что утром наша станция. Без десяти пять.

– Какая станция? Бог с тобой.

– ...и повозку надо успеть взять, бо народу пропасть... а по щеке кровь...

– Какая повозка? Какая кровь? – Алёна налилась жаром.

– ...и до тебя прижался, от головки твоей вдохнул. А я ему – поди прочь от неё, табачиной-то как несёт.

И так это рассмешило маму, глаза заблестели, а Алёна – сидит, не поймёт, бежать за соседями или рано? Окно стояло распахнутым, стёкла кинули на кровать блик, качались на ветру, и вместе с ними качалась кровать, будто люлька.

– ...пусти её, говорю!

– Кого? – глотая слёзы, выдавила Алёна.

– Тебя, дурёха... куревом до костей пропах – как теперь. Чуешь?

И точно: тут, как и на дворе, пахло самокруткой соседского солдатика, от чего Алёна сбегала в дом – только сразу о том забыла.

– Я как унюхала табачину – аж до мурашек, – и мама подалась сесть, но закашлялась, повадилась на подушку. – Всё до тютельки вспомнила, как мы в поезде сюда ехали. Отец с тамбура вернулся, прокуренный, ословел аж, корзина свалилась, щёку ему окорябала... обнял тебя, да ты отсела, корку хлебную у меня выпросила, мусолила её у окна.

Алёна разом вспомнила ту поездку: деда, корзину его, запёкшуюся кровь на отцовской щеке, и станция их была под утро, сошло полпоезда, а повозок стояло всего три. Но было еще что-то яркое и страшное, никак не получалось выудить на поверхность.

– А после изба у путей горела, – лицо мамы озарилось, будто подсвеченное тем забытым пожарищем. – Народ вокруг кольцами, девочка, как ты, без конца крестилась, в платке в белом. Крыша осыпалась, искры вверх...

За окном что-то хлопнуло, с соседских грядок вспорхнули воробьи. А мама ничего не заметила. Такой восторг на её лице был однажды, когда в новогоднюю ночь отец принёс бенгальских огней. Сама Алёна вспоминала вагон поезда, летящие сквозь него закатные тени да беседу с мамой о смерти бабушки: и та, прежде чем отойти, расцвела напоследок, сутки вспоминала то одно, то другое, смотрела будто кино, не могла нарадоваться... каждая мелочь ей вернулась, каждый чих.

– ...всё до тютельки помню, – лопотала мама. – И девочка та в платке крестилась... а ты корку мусолила... а отец шепнул, что дурная примета, коли дом горит... щетиной оцарапал... тут...

Она тронула шею, а Алёна гладила, гладила маму, пока та не ушла в дрёму, комкая во рту вязкие, примятые сном слова: то яичная скорлупа вспоминалась под ногами деда, то вонь пожарища, то суета на станции и ругань за повозку.

Собаки на полуденном пекле утихли все, кроме соседского Полкана: скулил, метался, насколько пускала цепь. Выйдя из дома, Алёна сразу заметила его. Донеслись причитания вперемешку со слезами: соседка вышла на крыльцо, плюхнулась у порога, обхватила голову, плечи мелко тряслись. Солдатик смолил окурки и матерился с красным, как стакан вина, лицом.

На улице к их воротам уже набежали. Там Алёна узнала, что во время обеда не уследили за Витькой: нашел солдатский пистолет да отстрелил себе палец. Пуля пробила зеркало и застряла в стене. Ждали врача, да было ясно – расти Витьке без пальца.

– Ладно и так, бо мог в лоб зарядить, – слышалось украдкой. – Сколько еще тех пулек буде.

Алёна послунылась вдоль чужого забора, послушала старух и не нашла в себе жалости ещё и на Витьку, сбежала в сад. Мысли её ходили от одной печали к другой, как сама она от дерева к дереву. Всё мама вспомнила. Всё, кроме своего же рассказа о кончине бабушки – будто кто уберёт маму. Ведь бабушка любовалась кладовыми памяти ровно сутки, а стало быть, завтра к обеду всё кончиться. Солнце висело в зените.

На обратном пути Алёна быстрым шагом миновала сарай. Скрип не унимался, и она со злости стукнула в дверь сарая кулаком.

Три часа кряду мыла комнату за комнатой, чтоб дышалось легче, но жара затопила дом, сколько ни воевала с ней – свежее не стало. Лишь к вечеру сумерки остудили землю, и духота спала, как опадает вскинутый ветром тюль. Алёна отправилась к маме с травками для неё и яйцом для себя. Весь день кусок в горло не лез – в животе ныло, а о еде и думать было тошно.

Мама не спала, в глазах блеснуло и погасло, но уже без огня. Алёна пригляделась, как обычно смотрели на неё, подозревая в чём-то, – и от сердца отлегло. Села, взялась поить и приврала для начала:

– Порозовела ты. Может, поешь?

– Вы утром с Марфой говорили, я слышала. Ты бы с ней дружилась – не с Ефимом, с бесом тем.

– Лучше с ней, – вторила Алёна и покосилась на сосны. Уж ей самой в них виделись волчьи уши. – И псы унялись. Лаются глупые, когда скучно.

Нехотя мама перевалилась на бок, хотела откашляться, но раздумала и продолжила сонно:

– Ну, точно уши – слушают, не уймутся... Стыдно кому сказать... Ведь он замок нам справил, кощей как есть, а рукастый, умище... Как Бог делит, кому что?.. Один пугало огородное, за иным бегают, не допросятся.

Алёна кивнула, но вместо Ефима помнился отец в том же вагоне поезда, в кепке, нога на ногу. Она вынула из волос гребень, сжала в руке и так оставила.

– Спрячь, Алёна. Спрячь в шкатулку. Потеряешь, локти будешь кусать.

За год гребень обтёрся, потемнел – представилось, как отец начищал его шкуркой, сдувал опилки с рук...

– ...и кулак у него мягкий... большие такие пальцы... по одному отгибала...

Уже в тоне мамы Алёна услышала перемену, а как взглянула – сердце упало: точно ребёнок, та подтянула одеяло к лицу, лицо лоснилось от пота, опять глаза навывкате, опять они полнились смехом.

– ...с вишенку было... на мизинец... из гвоздя отец его сделал... обстукал, начистил до блеска... каждую царапину вижу, царица небесная – ей-богу, каждую... – мама вертела в пальцах невидимое кольцо. – В тот день его не было, а у меня именины. Как ждала, обиделась... Вечером явился, кулак какет, большой, мягкий – внутри, мол... по пальцу отгибала... как любила то колечко...

На улице завyla собака, соседские подхватили, понесли от дома к дому. Алёна затворила окно, да зря: ничего мама не слышала, укрылась в своё видение – то подкатывало всё ближе, а она тянула к лицу одеяло:

– ...каждую царапину, каждую... посередь ладони...

– Красивое, – надломилась Алёна.

– ...и не зимой уже, в марте, но снег лежал, мы в снежки играли... а тепло, все без варежек, неудобно в варежках... глянь на руку – нет его... руки мокрые, слетело... не хватило ума сберечь... – мама натянула одеяло поверх носа, одни глаза остались. – Обыскалась. Снег сошёл – всё излазила... скормила его земле...

Тихонько, обманом Алёна спустила одеяло, убрала с маминого лба взмокшие пряди и встала, чтобы распахнуть окно, а как вернулась, та опять спряталась чуть не с головой. Руки, совсем худые, смотрелись точно детские.

– ...никто не сказал, что беречь надо... думала, раз кольцо – носить буду...

– Другое бы сладил, – не выдержала Алёна.

К сумеркам орех за окном потемнел, дома в тени крыш меркли. Загомосил петух, и ветер понёс его крик к саду.

Алёна поставила чашку с отваром на стол, глянула на несъеденное яйцо, и её передёрнуло. Подув себе под ворот, она выгнала остатки жара, легла вдоль мамы бочком – та и не поняла, забылась, дышала чуть слышно. Пока лежала, Алёна зареклась: ни капли больше Наденьке. Прав был Ефим – заигралась, дурёха, дождалась. Нет у мамы ни дня, некуда тянуть, утром же волчицу выпускать надо, пусть и резвая – этой же ночью, только поспать до зари, скопить сил.

Гребень Алёна выложила в шкатулку рядом с маминым – оба легли братьями.

У сарая, прежде чем отпереть, Алёна встала к окошку: пленница ворчала, молилась своему волчьему богу. Открыв дверь, Алёна пустила воздуха, и Наденька смолкла, молиться при чловеке не пожелала, принялась за свои упражнения: жалостней всего скрипели колёса под задними лапами – не пришлось бы их Ефиму чинить.

– Уймись ты! Уймись, ишь горячая! – вспыхнула Алёна и пошла прочь.

Одна Липа была добра. Но тёплое тело её дрожало, корова замычала испуганно и попятилась – даже она учуяла Наденьку. Выплавав печали, Алёна вернулась в дом, собрала на столе нож, свисток Ефима, баночку с настоем – снова допоздна любовалась им. Сон не шёл, лишь глубокой ночью её сморило, ворочалась, спорила с кем-то смутным, кто по очереди становился то отцом, то Ефимом, то председателем сельсовета.

17.

Под утро снилась мама: металась по постели от дурного сна, как волчица на решётке, но Алёна добудилась её, допросилась открыть глаза, и они по-волчьи сверкнули жёлтым, а вместо слов мама завывала во весь голос.

Этот вой и разбудил Алёну. Небо накаляла заря, ещё пахло ночью. Холодная, долгая нота перекрыла собачий хор, голос Ялика на её фоне звучал, как капризный плач.

Алёна кинулась к сараю, застыла у окна. Телега опустела, под ней поблёскивал моток цепи. У края, где были привязаны задние лапы волчицы, решётка разошлась. Наденька расшатала её, выломала прутья и стянула верёвку, державшую лапы, а после разодрала другие верёвки и ту, что была на пасти. Благо собаки голосили – заглушали волчий вой, пока деревня спала. Увидев в окне свою надзирательницу, волчица расставила лапы и завывала, глядя в упор.

Невольно Алёна коснулась рукой стекла, протёрла, хоть и так всё видела, зажала руками уши, а Наденька не унималась и повышала ноту. Когда опомнилась, Алёна поспешила к дому, заткнула нож за пояс, надела свисток – тот лёг на грудь рядом с крестиком. Настой Ефима мерцал на просвет, баночка держала тепло, будто внутри остывал чай. Прихватив её, Алёна поблагодарила Бога, что так и не съела ничего за минувшие сутки.

Но перед комнатой мамы она оробела, оперлась о стену, перекрестилась. Вошла. В бреду мама мотала головой по подушке и с каждой волной воя морщилась, как от зубной боли; волосы спутались, липли ко лбу, сорочка вымокла. Алёна зажмурилась, пообещала себе, что справится, будить не стала и юркнула в коридор, но из-за двери вырвалось:

– Куда, Алёна? Поди ко мне.

– Я вернусь! – откликнулась, только в коридоре её снова как подкосило. Всё лето промелькнуло перед глазами, и лишь теперь пришло на ум, что, может, и не было веры Ефиму в тот первый раз, как встретились в лесу. Тогда казалось, она что хочет, то и делает, а старик помогает, но каким-то чудным подлым образом Алёна слушалась его во всём. Сейчас же, меж этих низких штукатуренных стен, где тонул мамин стон, вдруг подумалось, что никогда она старику не верила и не верит, только прежде боялась о том помыслить, а теперь куда откладывать?..

– Может, остаться? – Алёна замерла. – Бог знает, когда вернусь... последний день, может.

Вспомнился утренний сон: жёлтые волчьи глаза на мамином лице и как она металась по постели, будто не могла выпутаться... и вот мама завывала... Собаки подпели ей неумело, и Алёна по-неслась к сараю, прочь от этой муки, от низкого потолка и штукатуренных стен.

Прятаться на огороде было негде, Алёна приоткрыла дверь сарая, отскочила. Чуть погода в шёлку протиснулась волчья морда. Не издав звука, хромая и выкрашивая землю кровью, Наденька кинулась к саду – корка на лапе, видно, сразу и треснула; знал Ефим, где резать. Настой Алёна проглотила залпом, рот наполнила вязкая горечь, в животе потеплело. У калитки волчица оскалится – пришлось отстать, жар из живота растекался по телу, спина горела, хотелось лечь прямо тут, оставить волчицу в покое. Кое-как Наденька одолела забор и поспешила под тень груш.

За садом стелилось сонное поле. Алёна на бегу обернулась – деревенские дома стояли, как разбросанные игрушки. В памяти всплыли провода отца, телега, гружённая вещами, мама на ней... скрип почтового ящика... Забежав на пригорок, волчица передохнула у кромки леса, язык свесился из раскрытой пасти – дышалось Наденьке тяжело. Алёна встала поодаль, и её настигла волна дурмана, будто неслась следом; тянуло лечь в траву, поваляться кошкой, а ещё сильнее тянуло в лес, такой близкий, еще не разбуженный птицами.

Окинув взглядом дома-игрушки, Алёна прошептала, сбиваясь от частого дыхания:

– Бог играет в игрушки... а небом отгородился... и смотрит из-за него.

Волчий хвост уже мелькал в чаще, и она кинулась вдогонку. Стоило проскочить меж двух первых деревьев, и зелень осветилась, словно в небе повисли два солнца. Кроны дышали, живые, тонко, нежно вдыхали берёзы, сосны посвистывали, гулко сопели дубы и клёны. Миг назад с пригорка Алёна увидела замшелый валун, а теперь знала, что под ним гадюка глотает мышь; ночью мышь таскала в нору съестное – ей было хорошо, теперь хорошо гадюке.

Наденька виделась зыбко, уже не оглядывалась на Алёну, не чуяла. Алёна и сама еле помнила, кто она да зачем бежит сломя голову: тело несло над землёй, словно клубы пара. Уже нельзя было ткнуть пальцем в грудь и сказать «тут сердце», – всё смешалось, сердце билось везде, и на кончике пальца тоже. Лишь вид хромающей Наденьки отравлял радость, волчья кровь оросила траву чёрными кляксами, те светились – никогда Алёна не видела, чтобы чёрное светилось.

Весь лес она одолела на одном дыхании, а сил только прибавилось. Алёна остановилась, коснулась дерева, пальцы промяли его, утопая в коре: дерево откликнулось тугой дрожью, листья зазвенели на ветках – ему было щекотно. Когда же Алёна опомнилась, волчицы и след простыл. Лес навис со всех сторон, точно на глазах вырос, чаща сияла, а Алёна вмерзала в неё, будто в лёд – забыла, как дышать.

Тишина.

Вдруг сбоку, в глубине, где высились карандаши сосен, вспорхнула птица и другая. Алёна со-рвалась с места, а когда нагнала волчицу, чаша кончилась, в низине лежала река. Камыш смеялся на ветру, вода искрилась. В тени ивы вода чернела, кувшинки парили, точно в пустоте, со дна л-тели пузырьки, будто там грелся большущий кипятильник. Летом в деревню свезли утопленника цвета рыбьего брюха – весь разбух, и караси общипали. Тогда, увидев его, Алёна не спала две ночи, теперь ей показалось смешным, что он вот так соединился с водой.

А Наденька спешила к взгорью, где росли два дуба. Над ними желтел восход – Алёна залю-бовалась и со всех ног понеслась прямою к дубам. Луч прожёл листву, засиял, запел трубой, и Алёна укорила себя, что сомневалась в Ефиме: как обещал ей – так и есть, а она слабая, потому нет веры.

К полудню солнце поднялось злое, белое – его стало слишком много.

Наконец Алёна вбежала на холм, где охотилась. Всё тут было неприятно знакомо. Перепрыгнув горку золы, она оглянулась на крошечные дубы и ощутила, как утомилась, точно усталость давно ждала, чтоб заявить о себе, но молчала. А Наденька так и семенила хромая, оставляя по траве пунктир крови. Еле-еле Алёна нагнала её, на лицо липла паутина, вязкий воздух сгустился и уже не летел сквозь неё, как прежде.

Скоро показался пригорок с низким развесистым клёном. Туда и неслось волчицу: взбежала и скрылась под деревом. Глотая воздух, Алёна взобралась следом, достала свисток, но глянула с пригорка и обмерла. От пролежины вглубь спускалась нора. Наденька сунулась к норе: из неё полезли волчата на толстых лапах, вывалили скопом, облепили, тычась кто куда.

«Дурак ты старый... – колючим жаром обдало Алёну, и вспомнилась лысина старика с налипшим бликом. – Старый ты дурак! Чтоб те ноги отсохли... Нет той травки! Нема и не было, леший проклятый!»

В сердцах Алёна рванула свисток с шеи, швырнула, не глядя, а секундой позже поняла, что со свистком сорвала и крестик – на груди было пусто. Закрыв глаза, она сползла по пригорку, выдохнула остаток сил. На щенячий писк отозвался знакомый низкий ропот, какой звучал в сарае, только этот был тёплым и давался Наденьке без натуги.

18.

Теперь солнце жгло в спину.

Чары убывали, листва ленилась мерцать и висела слепой завесой. Комья облаков, мошकारа, стрекот – всё опротивело, и мечталось Алёне об одном: спалить эту чашу да реку с прибрежным ветром и рябью по воде, да с этим небом в придачу, где он прячется, отгородившись облаком – и первой поджечь бороду его мягкую седую.

– Доигрался ты, боженька... Ни капельки тебе не жалко... – в голос укоряла Алёна.

Икона вспомнилась, постояла перед глазами – три сестры и мать смотрели сквозь подступающие слёзы; всегда казалось, что вот-вот заплачут.

Выбившись из сил, Алёна споткнулась о корень, лежала – не могла надышаться, сердце колотилось в горле. Лес склонился, макушки шептались меж собой: «Молоденькую надо было резать – поди и волк бы иной попался... зря поила, зря – вон сколько сил в ней было...»

Сев под дерево, Алёна отлепила рубашку от груди и подула внутрь, ноги гудели, во рту пересохло. Вдруг позади раздался холодный протяжный вой – ниже, чем вой Наденьки. Любимый её вернулся, и она откликнулась ему своей нотой. Алёна дослушала их до конца, и вдруг подумалось, что Наденька, если осталась в ней злоба к маленькому человеку, без труда отыщет дорогу к сараю.

«Нехристь... кощей... – угольком жгло душу, сальный блик белел на лысине Ефима. – Зачем говорил, когда всё впустишь?.. Знал ты, знал, чё так будет. Всё у тебя наперёд известно...»

На поляне она обогнула пятно костра и глянула в небо: перевалило за полдень – сутки минули с тех пор, как маму одолели воспоминания. И Алёна гадала: что припомнилось маме, пока сама она в упоении мчалась через лес? Из детства, верно, с самого доньшка. Но к этим думкам липли другие – скверные, отмеряя злосчастные сутки, где уже не было маминых воспоминаний, и её не было.

Часом позже по горизонту легли тучи, налетел ветер, и заплутал в листве. Дым облаков успокоил солнце, но духота катила приливами, и Алёна тонула в ней – больше шла, чем бежала.

На исходе дня она миновала два дуба, теперь они походили на мужа с женой, стояли потревоженные. Внизу тусклым зеркалом загибалась река. Спустившись к берегу, Алёна отвела кувшинку и зачерпнула полные ладони, умыла лицо. Солнце ослабло, уже не слепило – и она смотрела на него, вспоминая, как прошлым вечером в этот же час навелась к маме, узнала о кольце из гвоздя.

«Скормила земле...» – долетело из вчерашнего дня.

Гроза прошла стороной, погромела и боком уползла за далекие бледные холмы. Алёна и смотреть туда не хотела.

Лес принял под родной свод, точно домой с улицы. Спустились сумерки; птицы подняли недолгий крик и утихли. Опять Алёна шла, сил бежать не осталось, даже мысли ворочались туго. И всегда вслед за мамой вспоминался Ефим – бормотал что-то, тёр колени... извинялся, искал слова, но ни прощенья не было, ни веры, что он ошибся. А стоило вспомнить как этим утром, выйдя от мамы, Алёна отмела последнее сомнение в нём – каких-то полдня назад, рукой дотянуться – и такая брала обиду...

«Ирод старый... не буду терпеть... прости, боженька», – кипело в душе.

Миновав поляну, где два дулла смотрели друг в друга из двух сосен, Алёна подумала, что было бы, встретить она Ефима сейчас: ведь тоже по лесам бродит, неделю как ушёл, мало по его меркам – столько же, если не больше, ему ходить, – и только в сентябре, с последними тёплыми днями он покажется в деревне. А злость на ту пору уляжется, уймётся, простится ему... Против воли Алёна увидела, как сейчас в такой же сонной чаще он сидит на бревне, жуёт свой вечерний кусочек хлеба, лапой своей большущей бороду чешет, куцую свою бородёнку в крошках...

Под закат солнце нашло в завесе туч брешь, полыхнуло с горизонта, последний блик согрел деревенские крыши.

Чем Алёна ни утешала себя, как ни отговаривала – ноги несли к дому Ефима. Высокая лохматая кукуруза скрыла её от чужих глаз, как и в начале лета – когда первый раз Алёна была у старика в гостях. Ночь зажгла кое-где окна, петухи отпели, не унимались сверчки, и удивительным показалось, что не хватало собачьего воя.

Взмывая, шатаясь, как спяну, Алёна ступила на двор Ефима и оперлась о жердь, притихла, хоть некого было бояться. Хотела отдышаться и не могла; огляделась, но всё вокруг вязло, будто в киселе, и терялось. Утерев лоб рукавом, Алёна сжала кулачки и лишний раз подумала: «Гуляй по лесам, гуляй... там и сиди, чтоб тебя мошка заела! Ненавижу!»

Лавка глядела на Алёну старой собакой, умывальник обронил каплю. Как и прежде, коробок лежал на канистре: её хватило два раза обойти дом, керосин выкрасил стены тёмными мазками, пах нестерпимо до тошноты. Замкнув второе кольцо, Алёна вернула канистру под лавку и поняла, что если подождёт хоть минуту – одумается.

Чиркнула, отошла. Ноги окатило быстрым жаром.

Не было в деревне дождя, обошёл стороной, земля от недельной засухи крошилась и шла трещинами. По стенам пламя ползло с гулом, роптало, а Алёна думала, будет шелестеть да потрескивать. Цепляясь за углы, огонь лез на крышу, пенился, искры брызгали в стороны. Пройдя ряды кукурузы до середины, Алёна обернулась и в волнах огня углядела лавку, канистру и даже открытую форточку – та виляла, точно махала рукой. Канистра рванула, но неслышно в шуме огня, скамейка подлетела и сгнула. Поодаль, в сполохах света, к грядкам помидоров жался умывальник.

Сад Алёна пересекла неспешно; завидев свою калитку, села под грушей, и подумалось, что до утра можно остаться тут, лишь бы никто не видел. От платья пахло керосином, желтоватое пятно темнело выше колен. Дым плыл над кронами... наверное, бегают с ведрами, клянут старика. А в маминной комнате, поди, ждут... столпились, платочки комкают... тётя Нина, Марфа, Зоя Филипповна – меньше всего хотелось к ним.

На ногу заполз муравей, карабкался по волосам, как по бурелому. Алёна смотрела на него, правила травинкой и никуда не шла.

19.

Беленький, точно из воска, с пожелтевшими губами, но с такой же рыжей бородкой, Ефим лежал в гробу лицом вверх – Алёна настояла. А когда её словам не хватало веса, включалась мама: глядя на неё, ещё бледную, с впалыми глазами, односельчане отступали, стеснялись спорить. Спасибо и Марфе: кивнула на просьбу Алёны во время совета – ничего не сказала, но кивок видели и зачили.

Сама Марфа бросала на маму такие пристальные, полные детского изумления взгляды, что делалось неудобно. Вдобавок мама выпалась без ознобов и сходила наконец в туалет – как вернулась Алёна о всём расспросила без стеснений и довольная, приплясывая, накрыла на стол. За завтраком мама съела больше, чем за минувшую неделю, и выпила кружку смородины – румянец на её лице не скрылся от Марфы. На похороны знахарка пришла позже всех, стояла в стороне, мало интересуясь покойником. Алёна поклялась бы, что Марфа мечтает подступить к маме, пощупать её, расспросить, как старик лечил – больше некому, хоть в деревне о последнем визите Ефима никто не ведал, и мама с Алёной о том молчали. Обе они, не сговариваясь, хранили тайну.

Со слов мамы, он явился утром, сразу, как Алёна выбежала, заверив: «Мама, я вернусь!» Прошло несколько минут, и на дворе послышались шаги, калитка не скрипнула – стало быть, шли с сада. Ялик поднял лай и тотчас подавился им, даже цепь не дребезжала. Скрипнули половые доски, потёк воздух, и прежде чем войти в комнату, старик подал голос из-за двери:

– Хозяйка, а хозяйка. То я, Ефим.

Вошёл несмело, как кошка в собачью будку, мама только услышала его – и повалилась на подушку. Старик не поверил, что разминулсЯ с Алёной, в окно выглянул, окликнул даже, но в голове у мамы всё путалось и менялось местами. Позже, окрепнув, она заметила сапоги Ефима – налипшая земля высохла добела. Накидку его усеял репейник, нос обгорел, шея облезла – от старика разило потом, он был голоден и частенько отлучался на кухню.

Ярче прочего мама помнила, как он уложил руки ей на лицо и давил пальцами, вминая поглубже. Затем голову покачивал легонько, точно правил картину, чтоб висела ровно; а после запустил руки в волосы и мЯл, так, этак, всей ладонью – и в маму просачивалась томительная щекотка; мама ворочалась, изнывала, не могла вынести.

– Терпи, терпи, Люба, – твердил Ефим. – Сегодня велено терпеть. Ишь вертит.

И она опускала плечи, забывалась, а как приходила в себя, снова его сухие холодные пальцы топтались по её лицу, снова мурашки и щекотка – колючая, во всём теле до пяток.

К полудню немой тёмный вал откатил от мамы и больше не звал в сон; далёкой тёмной каймой он охватил горизонт души, где и лежал всегда, не тревожа. Отступила безносая, и, глядя ей вслед, мама рассмеялась короткими сухими всплесками, будто не смеялась, а плакала.

Ожившую, отмытую от смерти, Ефим стал поить её, приговаривая, что отвар новый – тот, о каком он говорил Алёне, чтоб слова его она в точности передала дочке. Мама глотала противный чай, и травки были те самые, что она пила трое суток – наизусть эту горечь выучила. Всю кухню Алёна излазила, нашла и чайник заварной, и комок жмыха в мусорном ведре – ни зёрнышка нового – те самые Марфины травки.

Вечером, когда мама уже изнемогала лежать, Ефим в сотый раз подошёл к окну и с досадой отметил, что Алёны не видно. Очень ему хотелось встретить её в этой комнате, не дождался, ушёл к себе – видно было, что с ног валится, хоть утром явился свежий, по-обычному крепкий. С полудня, как старик закончил мять мамину голову, силы оставили его. Изнурённый, он просидел у стены до вечера.

Но прежде чем уйти, Ефим просил передать Алёне, чтоб зашла к нему... и сразу передумал – сам обещал явиться утром. Всегда благодарная за помощь, мама с трудом находила слова в ответ на его старания – только и ждала, чтоб ушёл, и с тем же неудобством он принимал её благодарность. Когда вышел, уже смеркалось. Калитка и в этот раз не скрипнула, сколько мама ни слушала.

20.

Сегодняшний календарный лист Алёна уложила к первому со времён переезда – тот, старый, от третьего марта прошлого года, обтрепался уже в поезде, а новенький она отгладила до хруста. Тройка с единицей смотрелись над «августом» исполинами. Хранились листики в шкатулке с гребнями и отцовскими письмами с фронта. Поверх неё стояла фотокарточка из районного центра, все трое на ней – отец с мамой и Алёна – стояли обнявшись. Почему она сохранила этот календарный лист, а не тот, что три дня назад вернул маму к жизни, – Алёна не знала, но, проснувшись утром, ровненько отрезала его и приобщила к семейным драгоценностям.

Похороны Ефима справили быстро, людей под пасмурным небом собралось немного, слов нашлось и того меньше. Мужички сторонились гроба, рассмотрев покойника – отходили, женщины пугались воскового лика старика, но возвращались и глядели снова. Каждой хотелось сказать о нём больше, чем было к месту, и всюду царил шёпот. Тётя Нина пустила слезу, прибрала рукавом, тоже пошла шептаться.

Витьку взяли с собой, слонялся, не зная, куда приткнуться; забинтованная рука его как будто не тревожила, но всё, что приходилось делать левой вместо правой, получалось с трудом и плохо.

Одним из первых он бросил землю на гроб и не попал. Каждый кинул горсть, глухие удары отметили число скорбящих, и могилу закопали, не дожидаясь грозы.

Потушить дом не смогли, так быстро он занялся да со всех сторон разом – лишь остов уцелел. Обычно огонь не заглатывал избу целиком, соседи успевали спохватиться, и потому с начала похорон Алёна слухала, как женщины шушукались о поджоге. Ефима вытащили – да отошёл уже, задохнулся во сне и, верно, не знал, что кругом полыхает, лежал, отвернувшись к стенке.

Кладбище стояло на взгорье. Пока спускались в деревню, и шутки звучали, и смех. Кто помянул Ефима красненьким, шагали румяные и говорили в голос. Лёнчик на полпути упал, покатился кубарем, дружок поднял его, вернул в строй, другой подобрал костыль и плёлся следом – все трое поминали Ефима с вечера.

– Ты знаешь, как миномёт садит?.. Ты не знаешь... Он дай боже бьёт... Стены, люди – всё в труху... – передал ветер; голос Лёнчика осип, еле узнавался.

Тише всех держалась незнакомая пожилая женщина, непривычно высокая, в сером пальто. Она единственная хранила траурный вид, но обливалась потом и шла нараспашку – иного наряда, видно, не было. Звали её Светлана Самуиловна, месяц назад эвакуировали из Ленинграда, все пожитки уместились в двух чемоданах. По решению сельсовета да с общего согласия деревенских её поселили у Тамары Тамаровны и прикрепили к школе, поскольку в Ленинграде она преподавала математику. Мама подступила к ней, познакомилась: слова Светланы Самуиловны ложились одно к другому, как друг в друга входят шестерёнки часов – Алёна и не знала, что можно говорить так долго, так слитно и взвешенно.

Светлана Самуиловна была одной из тех, кто подтвердил: немец близко и скоро покажется в деревнях. Старухи горевали, многие рыли второй погреб на дне первого – свежая земля застелила огороды, день и ночь её носили вёдрами. Мужчины, стоило заговорить о немце, бросали редкие слова, точно камни, и скорее искали дела, чтобы занять себя.

При входе в деревню Лёнчик опять обронил костыль, пацаны подхватили и стали с хохотом расстреливать из него всю троицу. Он с друзьями принял круговую оборону – за недолгую перепалку отгремела вся матерщина, какая была в ходу.

Пока брели по улице, маму выспрашивали о здоровье, дивились на неё, вернувшуюся с того света. Самые смелые, те, что в начала лета требовали прирезать лису, визнавали, не навещал ли в последние дни Ефим, но мама своё исцеление целиком объясняла заслугой Марфы. Принимая лавры, знахарка розовела и обтирала платком лоб, так и шла последней, отстав от всех. Мало-помалу женщины расходились, скоро и Зоя Филипповна покинула шествие, пожелала маме здоровья и сказала Алёне, точно дала конфету:

– Ты заходи с Милой играть, заходи. Она ждёт тебя.

Как сейчас Алёна видела её тень с поднятым кулаком и Милу, понуро идущую к калитке.

Дом уже показался за поворотом, но мама невольно остановилась у двора Тамары Тамаровны – казалось, все, кто не пошёл на похороны, столпились тут. Сквозь спины Алёна не сразу углядела солдата на скамейке: смуглого, опухшего от слёз, с толстыми детскими губами. Папироса в его руке истлела, пальцы просмолились до желтизны, окуркам вокруг числа не было. Маме шепнули, а она поведала Алёне, что на побывку на целую неделю вернулся сын Тамары Тамаровны, по ошибке причисленный к убитым. Спутали в штабе графу, не там легла роспись, а на солдатыке и царапины нет. «В рубашке воюет», – звучало тихо.

Не смея приблизиться, у забора остановилась Светлана Самуиловна, пальто несла в руке, запыхалась. Ей тоже рассказали, коротко, на ухо. Став у забора, она смотрела поверх голов на низкое небо, не могла надышаться и не знала куда глаза прятать. Солдатик глянул на неё и отвернулся, как обжёгшись, – кинул окуроч, ударил по нему сапогом.

Когда добрались до своей лавки, уже накрапывало, но хотелось обождать с дороги, посидеть и после идти в дом. С приходом дождя улица опустела. Мама сняла платок, распустила волосы, чтоб голова дышала. Отыскав сливу, счистила с неё смолу и долго нюхала, прежде чем откусить.

– Алён, он когда высматривал тебя в окне, говорил, огород у нас бедный. Иначе, сказал, сажать надо и полоть не так, всё мимо... без ума, без чуйки. Обещал, заживём вместе – научит.

Другая слива, неприметная в листе, выглянула – Алёна сорвала её и сразу откусила половину.

– Петли, сказал, устали, крыша худая, замки на ладан дышат, а пол жук точит. Всё перелаживать надо, да всё пособит, инструмент есть.

Кинув косточку в консервную банку, Алёна поглядела вдоль улицы назад, где прежде голубела изба Ефима, но дождь линовал всё кругом штриховкой, ничего было не разобрать.

– Время, сказал, не то, чтоб порознь жить. Война, война – раз сто про войну вспомнил. Чего, мол, по одному мыкаться. А мне все слова его поперёк... не могу, киваю, бо как не кивать, а сама через силу слушаю. Теперь думаю: может, прав он был?

Мама глядела на Алёну, ждала, чем отзовутся слова, но та встала на цыпочки и выискивала новую ливу, а не сыскав, промолвила в шелесте капель:

– Бедненький.

– Да. Вижу, ты горюешь, – ухмыльнулась мама.

– Че ж нет?

– А то, что платье твоё в керосине было, как воротилась.

Дождь припустил, но тёплый, капли лупили по листьям, сбивая пыль, гроза обещала отмыть перед осенью все деревья. Ничего не ответив, Алёна примостилась с края лавки, уставилась на дрожашую лужу.

– Дочка-дочка, откуда ты такая ума не приложу.

Накатил первый гром, окутал, лёг невидимый, отвлёк маму.

– Орехи сымать надо, ветки под ими ломаются. Картошку собирать, сено, акацию. Не сегодня-завтра сойдёт тепло – лето кончилось, считай, зима настала.

Алёна закивала в охоту.

– И завтра в школу. Чудо, что осталась школа, в иных сёлах позакрывали, одни мы такие – ломоносовы. Четыре класса отходишь и хватит. Я как ты была – в поле работала. Теперь жалеют детей. Да, это «теперь» – кончилось, – мама уронила руки.

Дождь спустил вдоль улицы тюль, ветер качал его: то сомнёт, то расправит; казалось, где-то окно распахнуто – затворить его, и беды улягутся. Лужа расплзлась грязным морем, листва сверкала, как стеклянная, с веток капало.

– Давай, мама, в город уедем?

– Давай, – усмехнулась та. – Давай всё бросим, самое время.

– Там новое заведём.

– Да, нас ждут там.

– Дак уж тут никто не ждёт! – вспыхнула Алёна. – Не вернётся отец! Ты за то и слегла, что молчала, упрятала в себя, а оно ест внутри. И теперь молчишь, думаешь, отстало, насовсем, думаешь, – а нет! Ефим сказал, что легло у тебя вглубь, в думки твои, и сосёт. И Марфа так сказала. Оба на том стояли. Вынуть его надо. Слышишь?!

Крик у Алёны не вышел, слёзы размыли его ещё в горле, она била кулаком о лавку и захлёбывалась:

– Смолчишь – оно вернётся. Говори! Сейчас говори! Ефима уж нет, никто тебя не подымет. А я всё знаю, сняла гребень, лежит с твоим рядом, ты ж видела.

Громыкнуло, рокот прокатился по небу, согнал с придорожных кустов воробья, и тот поспешил под крышу. Когда дождь пошёл в полную силу, капли сочились сквозь крону сливы, и уж было не разобрать, где они, а где мамины слёзы, но Алёна уткнулась в её щёку и изредка ловила их солёный вкус у себя во рту. «Может, ошиблись, Алёна, может, ошиблись», – твердила мама, будто оправдываясь, но всё тише, пока шёпот не канул в шуме дождя.

Дмитрий СМАГИН

ОДИНОКАЯ ПЕЧЕНЬ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

Всё сооружение оказалось
таким узким,
что нельзя было расправить
плечи и вдохнуть
полной грудью.
Когда накрыли крышкой,
стало темно.
В кармане брюк
завибрировал телефон.
Пытаясь дотянуться
случайно сбросил звонок.
Да и что я мог сказать,
впервые в жизни
у меня не было выхода,
во всяком случае
прямого.

Моя
жизнь
в кукольном
доме
полна
опасностей.

В любой
миг
в комнату
могут
влететь
осы
или
вдруг

Дмитрий Смагин родился в 1974 году в городке Воздвиженка Уссурийского района Приморского края. Окончил филологический факультет СмолГУ. Публиковался в журналах «Арион», «Крещатик», «Новая Юность», «Звезда», TextOnly, «Формаслов», на сайте «Полутона». Автор книги стихов «Путаница» (2017). Живёт в Смоленске.

обезьяна
просунет
лапу
в дверь
и попытается
меня поймать.

Я научился
уворачиваться
от неё,
перебегая
из угла
в угол
и всегда
держу
наготове
кортик,
с тех пор,
как стал
самым
маленьким
человечком
в стране.

«Лошади там
носили шляпы
с прорезями
для ушей».

При встрече
они вежливо
касались полей
кончиками кнутов.

Снимали со всеми,
пока выгружали
на кладбище
зашоренных мертвецов.

Во сне я стоял
на коленях
на краю ямы,
потому что
в зале кто-то

чихнул,
когда товарищ
Сталин
делал доклад.

В другом сне
шел
навстречу
медведь
на задних лапах.
Надо бы закричать,
но потерял
дар речи.
Так и стоял
столбом,
пока он, подойдя,
не заговорил
со мной
моим же
голосом:
– Ехали медведи
на велосипеде.

С плоской,
как стол,
скалы
морской лев,
похожий
на громадного
слизняка,
равнодушно
следил за тем,
как волны
швыряли
челнок,
на дне которого
мальчик спал
и видел во сне
родные места
и старый
«Адмирал Бенбоу».

Наступит день
и стрела
пропoeт в воздухе,
как шершень,
вопьётся
между лопаток
и пронзит насквозь,
чёрная стрела
с чёрным оперением,
предвестница
похорон
с надписью на древке:
«...от Джона
Мщу-за-всех»,
выпущенная
из тишины леса
группой
неустановленных
лиц.

Я хотел бы знать не больше
дерева в лесу,

только то, до чего можно
дотянуться веткой,

стоя на одной ноге
с дятлом на плече,

и не упасть.

Из 40 л
сока
получится
1 л сиропа,
а самый
гуманный
способ
сбора
древесных
слёз
поставить

клёну
капельницу
и оставить
на время
одного.

Вчера в лесу
встретил
косую
и теперь
эта встреча
не выходит
из головы
какие-то
доли секунды
смотрели
друг на друга,
пока я,
шевелинувшись,
не пересёк
дозволенную
черту,
и вот уже
мелькает
среди сосен,
то и дело
зависая
в воздухе,
уверенная,
что её
никому
не поймать,
даже сейчас
в моей голове.

Руки
раз
за разом
поддевают
лопатой
лёд
и отбрасывают
в стороны,
а могли бы

грузить
на тачку
и катить
по всем
правилам
ручками
вверх,
колесом
вперёд.

Обстоятельства сложились таким образом,
что мне пришлось стать холодильником.

Зато корпус теперь повышенной прочности,
а дверь удерживают магнитные затворы.

Новенький орган, прикрученный снизу,
поддерживает необходимое давление.

Есть конденсатор в форме змеевика
и его антагонист – испаритель.

По ним циркулирует хладоагент:
то жидкий, то газообразный.

Внутри в ожидании съёмные полки.
Такова сегодня моя анатомия.

Одинокая печень в морозильной камере.

Дмитрий ЛАГУТИН

ОБЕД

Рассказ

Хорошо обедать в офисе!

Не тратить время на дорогу, не торопиться, не тыкаться по парковке в поисках места, не просить Виталика отодвинуть свою Ниву, перегородившую выезд.

А уж в такие дни, как этот – когда льет и льет с самого утра как из ведра! Тук-тук-тук по карнизам, тук-тук-тук, и слышно даже, как шумит под водосточной трубой, спускающейся прямо к парковке, к Виталиковой «Ниве».

А уж в такие обеды как этот – когда все из офиса р-раз и сорвались, уехали, разбежались кто куда: кто домой, кто в бистро, кто в кофейню на том конце улицы, кто... Да мало ли куда? Гитарыч вот походил утром из угла в угол, поворчал, отчитал отдел на правах начальника, меня вообще уволить пообещал – уволит, как же, раз в две недели стабильно обещает, а потом фыркает со смеху, по плечу хлопает – взял в бухгалтерии пачку документов, печать и укатил на объект.

Последним из офиса уходил безопасник: возился долго, оглядывался – где все? – звенел ключами, на меня поглядывал с подозрением, точно спросить хотел:

– А ты чего это не уходишь?

А за окнами все тук-тук-тук, кап-кап-кап, бьет, сечет по густым кронам, заносит в приоткрытое бухгалтерией окно – и веет от этого окна тоненько-тоненько, сладко-сладко июльским дождем, проливным, на несколько дней, душистой прохладой, травой, листвой, мокрой и жирной землей с газонов; но веет совсем слегка, не разбавляя теплый и густой офисный воздух.

Посматривает безопасник, а я знай сиюю носом в монитор – до рези в глазах – и по поручению Гитарыча печь новую в цех выбираю.

– Я задержусь, – предупредил безопасник и позвенел связкой ключей. – Ключей надо надевать, все дубликаты разлетелись. Ты скажи, если что.

– Скажу.

А сам не верю своему счастью – уйдет, вот-вот уйдет, и останусь я один-одинешенек!

Побренчал еще ключами, повздыхал на окно, спросил, нет ли у меня зонта – нет – и ушел, громыхнул дверью.

И как только затихли, обогнули офис по коридору, растворились где-то у лестницы его шаги, я выдернул наушники из системного блока – музыка хлынула в колонки – сделал громче, выпрыгнул из кресла и протанцевал в сторону кухни.

Хорошо обедать под музыку!

На полпути я выбросил руку в сторону и погасил надоедливые офисные лампы – и так светло, от окон. Потолок погас – и гудеть перестал – а окна, наоборот, озарились: тугая, плотная зелень листвы, и в прорехах – бледно-серое, белое почти небо.

Дмитрий Лагутин родился в 1990 году в Брянске. Окончил юридический факультет Брянского госуниверситета. Победитель международного конкурса «Всемирный Пушкин» в номинации «Проза» (2017 и 2018 гг.), лауреат национальной премии «Русские рифмы» и др. Публиковался в журналах «Новый берег», «Нева», «Урал», «Знамя» и др. В «Волге» публиковалась проза (с 2018 года).

Нырнул в кухню – кухню? кухоньку! коробок в коробке, пять шагов на четыре, и ни одного окошка – протанцевал, прислушиваясь к музыке, от холодильника к микроволновке, погрел привезенный утром обед. Пока грел, обыскал хлебницу – все подъела бухгалтерия, ни одного печеньица не оставила, а вчера еще вон какой пакет был! – поскреб ногтем магнитик на холодильнике: красный мостик «Сан-Франциско», привезенный, да, прямо оттуда исполнительным директором.

Поел, глядя в телефон, слушая, как в офисе одна песня другую сменяет, бросил посуду в раковину – потом помою, в конце дня – подождет, пока закипит чайник. Две ложки – кофе, две – сахар, пластиковый наперсточек сливок – и на все сверху кипятка-а, да так, чтобы колыхнешь чуть кружку, и польется на пол, на руки, на джинсы...

Хорошо обедать одному в офисе! Поел быстренько, кофе заварил – и сиди себе в кресле, играй во что-нибудь, на рабочем-то компьютере. Или профили однокурсников-однокурсниц изучай – кто где? – и пиши даже: давно не виделись, полтора года с выпуска, посидеть бы где-нибудь, по бокальчику пропустить. Или фильм смотри.

Сегодня я был настроен именно что посмотреть фильм – я его даже заранее нашел, когда увидел, что безопасник ключами звенит.

Сиди себе, пей кофе и смотри – вон еще сколько времени. А потом набегут, зашумят, застучат клавиатурами – и ты стучи себе, шуми, делай важный вид, а тихий – тихий? музыка вон как гремит! – обед с фильмом останется в памяти и будет в ней приятно так лежать, греть – и до конца рабочего дня поможет не взвыть и не затосковать.

«Маленькие офисные радости», – так это называет системный администратор.

«Маленькие офисные гадости», – ответил бы Гитарыч, если бы услышал – и зафыркал бы от смеха.

Уселся я, ногу за ногу закинул, развалился в кресле – дотянулся и стукнул по клавиатуре, запустил фильм. Потом снова дотянулся и снял со стола пышущую горьким паром кружку, поднес аккуратно к губам, отпил, обжигаясь.

И пока плавали по экрану титры, пока называли всех этих актеров, композиторов и сценаристов, операторов и мастеров монтажа, я смотрел на окна, на то, как за ними колыхнется, танцует под потоками воды листва, как качаются, цепляясь друг за друга, ветви, как светит сквозь них песцовое какое-то, серебряное небо.

И потом, пока менялись на экране крупные и средние планы, пока расхаживали туда-сюда актеры и говорили, смеялись, дрались даже, я все поглядывал, потягивая кофе, на листву – фильму меня увлечь не удавалось.

А как только стало удаваться, как только сел я ровно на краешек кресла и даже кофе отставил – в ту же секунду дверная ручка дернулась раз-другой безрезультатно, а потом в дверь постучали. И позвонили даже для верности – постучав.

Восторг мой – обеденный – как рукой смело, еще не успел звонок затихнуть.

Потом я, правда, пока шел к двери, себя успокаивал – почта там какая-нибудь или ошиблись, спросят и уйдут, у своих же всех ключи – но восторг тайлся и возвращаться раньше времени не спешил.

А за окнами – за спиной моей – все тук-тук-тук, упруго, резиново, а фильм молчит, на паузе оставленный, актер с открытым ртом замер, как статуя.

Выдохнул я, щелкнул замком, приоткрыл дверь настороженно – и увидел за порогом этого бедолагу, Седова, с мокрыми от дождя волосами, шмыгающего носом.

– Здравствуйте... – проговорил Седов и заглянул через мое плечо в сумрачный, с погасшим потолком офис. – А...

– Так обед же, – ответил я. – Нет никого.

Седов оглянулся на часы в конце коридора и повторил не то растерянно, не то задумчиво:

– Обед... А я рассчитаться пришел, мне сегодня в любое время сказали...

Я знал, что его увольняют – столько людей в цеху не нужно больше, даром, что ли, новые станки завозим? – и, признаться, был за него рад.

– До двух никого не будет.

– Не будет... – повторил Седов. – Ну что же делать, я тогда подожду, хорошо?

– Заходите, конечно... – протянул я и открыл дверь шире, отступил в сторону.

Плакал мой обеденный восторг – теперь сиди под присмотром Седова.

Седов шагнул через порог, огляделся, пригладил мокрые волосы, поправил сумку, болтающуюся на плече.

– Я бы погулял пока, – выдавил смешок он, – но погода, сами видите...

– Погода, да, – кивнул я неопределенно. – Вот, садитесь сюда, например.

И я показал на гостевой диванчик – между стойкой секретаря и столом безопасника.

Седов поблагодарил, уселся, скинув с плеча сумку, уложив ее на колени – потом спохватился и привстал, протянул мне руку.

– Руслан.

Я знал, что он Руслан – но вживую мы виделись впервые. Я назвал свое имя, сжал холодную тонкую кисть и вернулся к своему столу.

– У меня тут работа, извините, – соврал я.

Седов закивал понимающе.

Я размотал провод, пустил звук в наушники и заткнул ими уши.

И включил фильм – актер закрыл рот, закончив реплику, начало которой я забыл; пришлось листать назад и переслушивать.

И пока я смотрел фильм, я нет-нет а поглядывал на Седова – а Седов сидел на диванчике, положив руки на сумку, приглаживал волосы и оглядывался: рассматривал заинтересованно офис.

Не был он тут, что ли? А где принимали?

Седов пришел ненадолго, но все-таки раньше меня – когда устроился я, он уже работал в цеху, но услышал я о нем месяц или два назад, когда завертелась эта кутерьма с камерами.

В цеху камеры смотрели из всех углов с начала времен – и безопасник с помощником по мере необходимости проверяли их записи – а вот над входной дверью, с улицы, над крыльцом, повесили только-только, после того как шпана эту самую дверь зарисовала из баллончиков.

Вот тогда-то Седова и заприметили – безопасник сперва смотрел, прищурившись, потом помощника позвал, потом Гитарыча, а уж Гитарыч весь отдел согнал и поднял такой гогот, что офис задрожал.

Оказалось, что Седов, если оставался в цеху последним – по графику – и вынужден был закрывать дверь на все замки, потом еще по десять раз возвращался и перепроверял: закрыл ли? Закроет, отойдет, а потом возвращается – и давай дергать ручку. Подергает, постойт – и отходит. А потом бац – и опять возвращается. И так по десять раз – натурально. Бывало, даже откроет все замки ключами, и закрывает по новой – но и тогда все-таки вернется и подергает.

– За станки парень боится! – гоготал Гитарыч. – Что сопрут, а на него повесят!

И весь отдел за ним гогочет.

Я сперва тоже гоготал, за компанию – без году неделя в коллективе, попробуй не погогочи – а потом перестал. Я вспомнил, что в классе нашем год или два – седьмой и восьмой, по-моему, – учился мальчуган, который также чудил: только не с замками, а с мытьем рук. Что ни перемена – бежит руки мыть. Помоев, возьмется за что-нибудь – и обратно, в туалет. Тут уж и Гитарыча не надо было никакого – вся параллель смеялась, во главе с уборщицей: она как ни зайдет воду в ведро набрать, а он все там, у умывальника топчется.

Перевелся мальчуган, конечно, не из-за насмешек – переехали они вроде, всей семьей, – а вот я, надо же, про него напрочь забыл и вспомнил впервые за все эти годы, только когда стали все гоготать над Седовым.

– Это расстройство какое-то... – нерешительно предположил я, обращаясь к безопаснику. – У нас в классе пацан учился, тоже вот так...

– Да какое расстройство! – гремел Гитарыч. – Забубённый просто! Тощий вон, как спичка – а занимался бы физическим трудом, так и дурь бы вся из головы вылетела!

– Это вот точно, – отзывались из бухгалтерии. – Ему бы корову, а лучше две – не до дверей будет.

Как-то очень быстро о злключениях Седова узнал весь офис – всем было интересно, все подходили и заглядывали в монитор через плечи уже собравшимся. Кто-то качал головой и отходил, кто-то крутил у виска пальцем, кто-то оставался и вливался в компанию гогочущих.

Я отвлекся от фильма и увидел, что Седов что-то говорит – пришлось вынимать наушник, ставить фильм на паузу.

– Что, простите? – спросил я. – Я тут в наушниках...

– О, ничего-ничего, – замахал руками Седов. – Это я задумался, извините. Погода, говорю – льет и льет.

И он посмотрел на окна.

– Льет, – согласился я. – И всю неделю лить будет – обещают.

Седов развел руками.

– Что поделать, – вздохнул он. – И дождь – тоже ведь нужен...

– Нужен, – согласился я. – Вам, может быть, это... Кофе, чай?

– Нет-нет, спасибо, – замотал головой Седов. – Работайте, не буду отвлекать.

Я пожал плечами, вернул наушник на место, запустил фильм. Повозил по столешнице кружкой с остывшим кофе и осушил ее в несколько глотков.

Седов между тем открыл свою сумку, долго в ней шарил, а потом выудил какую-то книгу. Закинул ногу за ногу, устроился поудобнее, переложил из середины книги в конец, под корешок, цветастую закладку и стал читать.

Я прищурился незаметно и различил на обложке тиснёное – моргнуло, когда подвинул книгу, перелистывая, отразило бледный свет окон – «Бунин».

Различил и порадовался: не посадил еще зрение за компьютером, единичка, как и была.

Наблюдение за Седовым – за тем, как он закрывает многострадальную дверь – стало чем-то вроде традиционного развлечения. Гитарыч хлопал безопасника по плечу, спрашивал, не вышла ли «новая серия», безопасник лез проверять или сразу кивал с готовностью, довольный: есть.

– А вот, смотри-смотри! – хрипел Гитарыч, задыхаясь от смеха. – Тут даже с другой камеры видно, как ушел-то далеко! До остановки, наверное! А нет же, вернулся!

Вокруг Гитарыча складывался, хохоча, пополам весь технический отдел.

– Оторвет сейчас! Ну оторвет же ручку! – кричал, давась чаем, безопасник. – Или замок ломает нахрен, так я ему тогда вставлю по первое число!

– Да ты посмотри только, посмотри! – тряс мое кресло Гитарыч. – Это ж надо таким быть!

Я бросал взгляд на монитор и видел, как по черно-белому крыльцу топчется черно-белый Седов – дергает дверную ручку, смотрит на нее, приглаживая волосы – вспоминал одноклассника, которому даже учителя говорили, что у него с рук скоро кожа слезет, и качал головой неопределенно:

– Расстройство же... У нас вот один тоже...

– Да иди ты! – махал в сердцах рукой Гитарыч. – Если расстройство, пусть доктора ищет! Не видит он, что ли, что камера над ним висит!

И он обзывал Седова самое слабое «идиотом» – а там уж подбирал слово покрепче в зависимости от количества присутствующих на данный момент в офисе женщин.

– Пардон, – хлопал он себя по губам, натываясь на укоризненный взгляд из бухгалтерии. – Но ведь по-другому не сказать! Не сказать же по-другому!

Смеяться над Седовым – все записи оставались храниться на сервере – заходили логисты, сотрудники соседних офисов, друзья безопасника из вневедомственной службы, заезжающие к нам с документами на подпись. Раз Гитарыч даже заманил исполнительного директора – но тот посмотрел рассеянно, оторвавшись на миг от планшета, хмыкнул для виду и ушел к себе.

Заведующая производством – в подчинении которой находились все работники цеха – о Седове ничего слышать не хотела.

– Нету у меня времени на ваши глупости, – бросала она Гитарычу, не вникая в то, что он ей говорит. – Наплевать мне, сколько он там что закрывает. Закрывает – и хорошо, лишь бы работал.

Работал Седов – как выходило из ее слов – нормально. Но вот исчезла необходимость держать такой штат, и его сократили.

Раз не сорвали со второго офиса юриста, обошлось, как я понял, без скандалов и недовольства.

Я смотрел фильм, а Седов все сидел и читал – читал и читал, приглаживая свободной рукой волосы. Когда он опускал руку, чтобы перелистнуть страницу, из-под рукава на запястье выскальзывала – я сперва решил, что это такой тоненький браслет – обыкновенная резинка, которой стягивают, например, деньги при инкассации. Потом читать Седову, видимо, надоело, потому что он прикрыл книгу, заложив ее пальцем, и снова стал оглядывать офис, останавливаясь то на окнах – а там все лило и лило, сыпало и сыпало, и листва танцевала по-прежнему, то открывая, то пряча светло-серые лоскуты, – то на кораблике на стойке секретаря.

Кораблик – в бутылке, с парусами и мачтами и ниточками канатов – привез из Португалии исполнительный директор. Долго думали, куда его в офисе пристроить – чай не магнетик, на холодильник не прилепишь – и решили водрузить секретарю на стойку, вроде как чтобы встречал проходящих, радовал глаз. Сейчас в изгибах бутылки – я видел из своего кресла, спасибо единичке – отражались, светясь, те же самые окна, с зеленью.

– Красивая вещь, – сказал Седов, и я услышал его, потому что остановил фильм, едва он открыл рот.

– Красивая, – согласился я. – Ручная работа вроде как.

Седов качнул головой восхищенно и продолжил рассматривать кораблик – даже шею вытянул. А потом – насмотревшись – раскрыл книгу и вернулся к чтению.

Я уже вовсю следил за фильмом – сумевшим меня все-таки не на шутку увлечь, до такой степени, что я не услышал, как щелкает, открываясь, замок.

Я только увидел, как вздрогнул и повернулся к двери Седов – а затем в офис ввалился, фыркая – фильм уже стоял на паузе – и отряхивая зонт, Гитарыч.

– Ты чего в темноте шкеришься? – усмехнулся он, посмотрев на меня, и потом только заметил, что на гостевом диванчике кто-то сидит.

– Здравствуйте, – поздоровался Седов и прикрыл книгу.

Гитарыч быстро обернулся на меня, показал взглядом на Седова – точно сообщил мне о его присутствии – подавил смехок и протянул:

– Здравствуйте.

– Руслан, – сообщил Седов. – Седов. Я в цеху работал...

– Да мы в курсе, – все-таки не удержался от смеха Гитарыч.

И снова обернулся на меня, заморгал весело, растянул рот в улыбке.

Потом он прошел к своему месту, встряхивая зонтом – на линолеум сыпались мелкие капли – и упал в кресло. Потом встал, раскрыл с хлопком зонт – капли полетели во все стороны – и пристроил его в углу, у стеллажа. Потом шагнул к выключателю, зажег свет – лампы под потолком заморгали, загудели, разогреваясь, окно погасло, листва за ним потемнела – и тогда только вернулся в свое кресло.

Во время своих перемещений он поглядывал то на Седова, то на меня, кивал мне, прятал улыбку, выдыхал озабоченно, нарочито шумно, чтобы не рассмеяться.

Седов поерзал на своем диванчике и открыл книгу. А Гитарыч продолжил подмигивать мне, кивать, качать головой на Седова и возить бровями туда-сюда. Время от времени он закрывал рот и вздыхал, или покашливал – потом брался за документы, листал один-два, скрипел по ним карандашом, но затем снова сверлил взглядом Седова, и лицо его ходуном ходило от избытка эмоций.

Я понял, что сейчас он что-нибудь брякнет – и с надеждой посмотрел на часы.

Обед заканчивался, вот-вот в офис должны были посыпаться довольные и сытые коллеги: бухгалтерия сладостей закупит, системный администратор приволочет какую-нибудь бандуру с проводами, потащит, царапая линолеум, в серверную...

– А я вот не помню, – задумчиво проговорил Гитарыч с серьезным лицом и тут же метнул на меня хитрый взгляд, – закры-ыл ли я дверь...

Седов – я видел – никак не отреагировал и продолжал читать.

– Надо бы прове-ерить, – протянул Гитарыч и встал, скрипнув креслом.

Он прошел через офис к двери – Седов только на миг поднял на него рассеянный взгляд и вернулся к книге – и дернул дверную ручку.

Мне показалось, что съеденный с таким удовольствием – пусть и в спешке ради фильма – обед, и не только обед, но и завтрак, и остывший кофе, и вчерашние суши, которые мы ели с Катей, – что все это просится наружу, спешит, клокоча, к горлу.

Но Седов не отреагировал – и продолжил читать.

Теперь, под работающими лампами, тиснение на обложке светилось безостановочно, точно само по себе.

Гитарыч – ненавистный мне сейчас до омерзения Гитарыч, раз на корпоративе ляпнувший, что ему в детстве вечно занятых родителей заменяла гитара, и тем самым заслуживший свое прозвище, которое разошлось по всем нашим офисам и цехам и о котором сам он знал, – фыркая в кулак, подмигивая мне, прошелся до своего места, уселся, поездил колесиками кресла, согнулся и на ощупь ткнул кнопку на системном блоке.

Седов читал, поглаживая волосы, листва за окнами все раскачивалась и раскачивалась, раскачивалась и раскачивалась.

Первого человека, который вошел в офис – системный администратор втаскивал через порог обмотанную пленкой бандуру, придерживал схваченные скотчем провода, ворчал, что кто-нибудь мог бы ему да и помочь, – я был готов расцеловать.

Ирма ГЕНДЕРНИС

СКОРО АФРИКА

##

ставят обнулению
памятник
темно

ест карен каренину
анна домино

в атронахов кузнице,
память, асисяй

марья-безыскусница
бунин иван-чай

##

из тт ли, тд ли, тп
ты убит и сканируешь цели
в марта облачном мрт
как зеница его цитадели

ты обследовал сон-буддапешт
просветилась насквозь христосима:
это смерть подкатила рубеж
показалась – как юность максима

##

парковой аллеи
липовые клипы ль
тени-бармалеи
обращают в гибель...

Ирма Гендернис родилась и живёт в Лиепае (Латвия). Стихи публиковались в вестнике оппозиционной русскоязычной культуры ROAR, в сетевом альманахе «Артикуляция», в сетевом журнале «ДЕГУСТА.PU», в проекте А. Петрушкина «Вещество», в журналах «Двоеточие», «Нева», «Тонкая среда» и др.

казино земное
морovy кумары...

ноево каноэ...
пара глаз без пары...

##

ж.р.

лужи в лужинской защите
но ведут сегодня в счёте
косточки в плачевном виде
(или абрисы в компоте
абрикосовы на сливах
синих-синих коченегах?..)

или мыслящим маслинам
не хватает снега снега...

##

рабовладельчество без ауры
раба любви бдсм...

из бэтээра и изауры
нет-нет и выстрелит вестерн

ковыльно суховокобылино
где раз ковбой и два ковбой...

но билингвальная извилина
спиритом кружит над тобой...

##

телеснотесный мавзолей
одна (то дома то не дома)
душа – закалжинмаколей
(бунгало? пугало? солома?)...

и чистыми плывёт когда
прудами с тиной (канделаки?) –
Бог тоже один дома, 2:
душа психической атаки...

##

голубой мечты дальтоники
сонники силлабо-тоники
не киты ль стоят как столбики
стихотворной аэробики?

или крабовой арабикой
рыбзавод мешает с фабрикой
звёзд – пускась сквозь мясорыбку –
расклешенное в улыбку?

##

синие от побоев
птицы (при Метерлинке
битва)...
готовы к бою
бабочки и улитки
лунные тихоходки...

(видишь архангела Майкла
в лунно летящей походке,
ставленник грустного смайла?..)

##

бог – не тимошка, – оле-лукойе...

посуху джонку тянуло к джанкою
по вертикали...

глотала карконта
небо в алмазах...
по линии фронта
шёл балансируя (этот ли/тот ли)
свет...
сумасшсолнце садилось на метлы

(так на ветру, с нездоровым румянцем
ветрувианские люди двоятся)...

##

где вас носит в виде пара
для наглядного примера
аппаратом из ангара

линером аполлинера
та нелёгкая-стрекоза
из закрытого показа
одноместного наркоза,
выпадающих из пазла?...

##

рыцарь печального безобразия ль,
механический ли рояль
(хокку выбирает хоккасию),
в тело поэзии, в теплоцентральный
не возвращайся, душа компании...

(решка-орел
(по тельцу со льва),
на рождественские гадания
смерть-пасьянс собрала слова...)

##

эмилево-эмалевый золя
миндалины в долине миндаля
давно =удалены
для аппликации войны

имажинист колёсиков-мандал
ты, мандарин
а ёлочка – мангал
на шампурах танцует радж капур...

– не тормози, передавай шампур!

##

маслом вверх из рамок мира
(бутерброд или пейзаж?)
падай майна падай вира...

голубиный сон-граттаж,
выцарапываешь гулю?..

(тушью да сухой иглой –
загогулина-горгулья?
писчий лист перед травой?..)

##

под белы руки белы флаги
синонимайзера ведут
омонимы обратной тяги...

уже под пройденный редут
не подкопаешься, лавина...

и только оборотню сель –
многооконная турбина
машина-зверь

##

не играй со мной, молчанка,
в тихходку-словочас...

как матёрая волчанка
у эффекта красных глаз
не выглядывай из леса
рук заломленных...

(медвеж
хватки цепкий взгляд-повеса
кукле брошенный в манеж...)

##

каравай-поклон
(хорошо сидим)

соль – ее салон
(музыка-лимузин)

пропусти кортеж

встанет в пробке дна
никакой пом. реж.
из могилы сна...

##

глаз наливайка-нулёвка...

на фестивале Жара
маскировочная массовка
малярный комара

маятник ходит роем...

под кадило тайги
отходи, мы тебя прикроем...

(смерть, болотные сапоги)

##

камерным пением одиночным
а капелла выдавливаясь по капле
беспозвоночным ночным звоночным
крабовой палочкой кривле-крабле
то-то скворешню мы взяли в клешни
раковых шеек гусиных кож
или целитель с лица столешниц
стёр курьей ножкой всех бабаёжек?

##

на кисельную карусель
берегов
(река
(все сюда)
отсель)...

разорвёт Полкан
полковое зна-

боевому псу
Котовасий сна
намурчит Алсу

##

органической алхимии
в розовых обертонах
лобстер лобной части имени
приготовленный впотьмах...

афродизиаки-газики...
ёжиком в туманность-месь...

(погрузивший небо в стразики,
дашь Ты Раков им поесть?..)

##

ловись, большая и малая
Медведица, на крючок
крюгера шестипалого...

лазерный сна пучок,
редиска его,
укропы,
петрушка

(на балаган
дай сольдо
потомку Клёпы –
И Джокер уйдет в туман...)

##

обменялись с военнопленными
переулки – кривоколенными
кузнечиковыми овсянками
приманками над якиманками

но чирикают как домовые
обдирая кусты терновые
привидения птичьей бучи
в оперении от нигугуччи

##

с лебединой песней года
из одной гусиной кожи
как гогочут оба гота
под рогатою рогожей

один серый другой серый
пятьдесят оттенков смерди
однойцевой химеры
(о, хрустальный ларчик смерти
как ты просто открывался...)

##

перештопанного шторма
однокомнатная ширма...

ночи суточная норма
вытекает словно смирна
из тропических прибоев...

на отравленных отливах
город ангелов-героев
в просветленных перспективах...

##

посмотри на себя изнутри
восковая фигура нейтрино
продувает ветровку витрин
безлошадная сила экстрима

прилетай за себя постоять
настояться во сне бананана

ночь стрекочет не хочет стрелять
скоро африка
два капитана

##

солнышко за прясло
космос под откос

пальмовое масло
смысловой кокос

сказка одним файлом
скачана на нет

погаси, ньюфаундленд,
за собою свет

май 22 – февраль 23

Юрий КИТАЕВ

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Проба пера

И без того книга жалоб сродни Илиаде...
Мария Ходакова

– *Кто говорит?*
– *Пожарная контора.*
– *А кто горит?*
– *Пожарная контора.*

– *Так как говорит или горит?*
– *Горит и говорит пожарная контора.*
Юрий Смирнов

1

Я буду жаловаться, жаловаться, жаловаться...

Если хочешь и можешь, я всю свою Жалобную книгу тебе расскажу...

Бывает, знаешь, такое приходит... Хочется жаловаться...
Жажда жаловаться. Жажду жаловаться.

Я, конечно, не первый на свете жалующийся, и прежде жаловались, и получше меня люди жаловались, и на жалобы им отвечали надменно...

Вот, например: «“Проезжая через станцию и будучи голоден в рассуждении чего бы покушать я не мог найти постной пищи. Дьякон Духов”. “Лопай, что дают”...»

Великая книга!

«Раскрывайте книгу и читайте:

“Милостивый государь! Проба пера!»”

Под этим нарисована рожица:

“Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет. Я – морда твоя”» (Чехов. Жалобная книга).

Ну, и личико!..

Юрий Китаев родился в Москве, работал инженером, слесарем, учителем и др. Публиковался в журналах «Топос», «Знамя», «Нева»; предыдущая публикация в «Волге» – «Записки сумасшедшего. Никогда не оконченный роман» (№ 11-12, 2022).

2

Облака. Влюбленность... А что вчера?
А про это лучше просто забыть...
Это ничего, это только проба пера...

Может быть, неудачная...
Нет! Не может быть!

... Но – все равно – что было вчера,
Это еще только проба пера...

Милая милостивая государыня! Проба пера...

3

И все равно:
Распушу-ка я перья по-павлиньему! Закричу-ка я голосом нечеловеческим!..

Вперед!
От дурного катафатического к доброму апофатическому!

Время прошло (временно) и обещало вернуться.
Будем ждать. И надеяться.

А теперь –
Ты не спишь, и я не сплю,
Значит, я тебя люблю.

Только, увы, в данный момент мы не спим слишком далеко друг от друга...

4

Сон опасная вещь.
Может грозить пробуждением.
А это иногда больно.
И начинается это самое: Nosce te ipsum (Познай самого себя) ...
Или... Или не надо... Не познавай...

Но иногда, говорят, неизбежно... И спать, и просыпаться...
Как же не спать? – Если, например, после обеда не поспать, это значит как бы и не обедать...

А когда я спал... Какие мне сны снились! Царские!
Я знаю, это невежливо и некультурно – пересказывать сны (все равно многое из них только самому понятно), но мне такое снилось!..
Не успеваю рассказать, на поезд бегу...
Бегу, бегу, бегу...

Все равно: бегу и рассказываю.
Бегу и разговариваю сам собой на бегу. Верее, конечно, с тобой, с тобой, с тобой разговариваю...

Ты не слышишь? А все равно... Может быть, ты все равно догадаешься, поймешь, о чем я... Хотя бы приблизительно. Телепатически...

Телепатия, к слову, не только существует в природе – это и доказывать не надо, она играет в нашей жизни важнейшую роль.

Только – увы – часто что-то искажается в пространстве, вроде как в испорченном телефоне, или нарочно кем-то портится...

Милая! Если б ты знала, каков я на самом деле, ты бежала б от меня во все стороны... Но ты не знала и не успела убежать...

5

А какие мне сны снились!

Я ехал, в поезде, в автобусе, потом на мотоцикле, потом на собаке...

Я, собственно, хотел взять такси, а меня посадили верхом на собаку...

И собака, мелкая лайка, понесла меня, понесла...

И пронесла мимо дома, 9-этажного со сломанным лифтом дома...

Недалеко пронесла, но мне пришлось немного пешком возвращаться.

...На каждом этаже двери сломанного лифта открывались и в кабину втискивались все новые, знакомые, иногда даже родные, но совсем не своевременные люди...

Даже друг мой Серега Сибирский пытался втиснуться, но он длинный, по вертикали не совсем входил...

*

Стоп! Снова остановка!

Не остановка. Пауза. Контролеры. Проверка билетов. Надо бежать. Бегу по вагонам. За окнами мелькают столбы, деревья и гордые кроны сосен.

Знаешь, чем слабоумный отличается от параноика?

Правильно. Слабоумный не знает, сколько будет дважды два, а параноик знает, но его это раздражает.

Так я – и то и другое вместе. И не знаю, и раздражает. Итого: я слабоумный параноик.

Но какие мне сны снились!

Я и до сих пор как во сне...

Мне даже приснилось, что я сделал фундаментальное открытие в физике: обнаружил у элементарной частицы нейтрона электрический заряд... Маленький, но электрический...

И еще мне снилось, что я...

...Стоп. Свист и скрежет. Поезд резко тормозит, я едва не лечу. Просто так, по инерции...

Масса гравитационная, масса инерционная...

Что случилось?

Человек за бортом... То есть не за бортом, а на путях перед близко идущим поездом... Перед нашим.

Так и есть. То есть так и было. Теперь он сошел с пути и тащится в сторону от полотна.

Нетрезвой походкой и в неизвестном направлении.

И я бы мог...

И все мы могли бы...

Думаете, нет? Не думайте...

Все могли бы!

А теперь после экстренного торможения поезд до самой конечной станции и далее будет тащиться, страшно грохоча: на квадратных колесах...

Это такой термин: квадратные колеса...

Технический. Железнодорожный. Во время экстренного торможения состав со всей своей огромной массой и скоростью некоторое время летит по инерции, но не как я полетел по вагону, а гораздо скорее и дальше, и сила трения просто срезает край схваченных тормозами стальных колес, они теряют круглую форму, и дальше состав может двигаться только слегка подпрыгивая и усиленно грохоча...

Да. Я знаю, счастье мое кратковременно и ненадолго, но это мое личное счастье!

Мне бы еще удачи и успехов в жизни.

Снова прошу, снова хочу...

Хотя уж сколько раз себе обещал: не обещать, не хотеть, не просить...

Был бы хороший человек, мне бы вообще ничего не надо было бы...

И какой бы я был (мог бы быть) хороший человек, если бы мне вообще ничего не надо было бы...

И вообще, если б ты знала, сколько дурных. Скверных, недобрых людей живет у меня внутри!..

Я был тогда, конечно, маленький, но помню, помню, как рушилась, как гибла Византия... С шумом она падала...

А еще мне приснилось...

6

Стоп, машина!

Моя станция. Твоя станция! Моя остановка. Моя! Моя! Мне выходить.

Выхожу и снова спешу. Снова почти бегу, сжигаемый нетерпением.

Ул. Космонавтов, 220. Двор, дом. Четвертый этаж. Звонок.

– Здравствуй!

– Здравствуй, ты моя хорошая, на медведицу похожая...

Наконец-то я снова могу с тобой разговаривать, не мысленно, а по-настоящему, по-человечески, наяву.

Но не бойся меня! Я не буду вслух рассказать, что мне снилось... Даже если бы захотел: все равно мало уже могу вспомнить...

А как тебя увидел, так и вовсе все забыл...

И тебе не до того: ты идешь ставить чайник и умываться.

За чаем ты говоришь всякие неприятные вещи про мою беспощадно беспутную и – страшнее всего – безответственную жизнь. Ты говоришь:

Только инопланетянин мог так поступить...

Я оправдываюсь, как могу:

Мы живем в области прерывистых и негармонических функций: не от того ли наши нервные системы так беспощадно расшатаны?

В математике это, кажется, называется, аритмологией (проф. Бугаев и прочее)...

Но у нас не математика! И мы не математики! Мы дифференцируемых формул хотим!
Но и это ведь ничего, это ведь только проба пера...
Но я и сам начинаю сердиться: Сама ты дура, сама инопланетянка... Дура инопланетная...

Ничего... Это происходит только из-за избыточной беспечности жизни... Или из-за избыточной несбыточности

...Проба пера...
А что тут такого?
Когда-то нужно попробовать...
Теперь вот я попробовал, и ты попробовала... Ты попробовала, и я попробовал...
Я счастлив.
А ты?

Ты думаешь, я дурак или с ума сошел, а у меня просто болезнь: вселенское одиночество.
А ты меня, спасибо тебе, как умеешь, лечишь.

8

Завтра я уеду. Снова на неделю. Это называется работа. Вахта.
(Только инопланетянин может так поступать!)
Но ничего не поделаешь, я пожарный... Кто-то должен и в это инопланетянство играть....
Но все равно, всю эту неделю я буду ходить, бегать, двигаться, дышать, гасить, зажигать, та-
скасть лестницы... И – все время про тебя думать:
– А вот я ей скажу... А она мне скажет...

9

...И снова-снова эта самая «Жалобная книга» доктора Чехова: что хотят, то пишут, бессовест-
ные: «Добротелю украшайтесь».
Ну, надо ж такое выдумать!

Ну, ничего... Мы украсимся....
И вообще кажется иногда, что все на свете – жалобная книга...

10

Я позвонил по телефону. Ты сказала: «А... Я тебя недавно вспоминала...» Я понял: врешь.

Прости, дорогая, такие были дни, что я даже в мыслях очень мало с тобой разговаривал. И – не жаловался совсем:

Пожаров было много, так что не хватало не только воды в трубах, пожарных и докторов, но даже репортеров.

А я простой пожарный.
Нас всегда не хватает.

ЗНАКИ ЯСНОГО СЕЗОНА

**Теплые и жаркие семиаридные и аридные
состояния погоды**

Уже пятый день вид
истомившей зрение примелькавшейся местности
кажется принадлежащим другой, или, точнее, – обеим сразу,
откалькированным друг с друга с изменением
оттенков фона и контуров.

И это, похоже, так же невероятно,
как то, что происходит день ото дня, когда местности
характеризуются географическим рассредоточением
на стыке времен года и, как следствие,
размытостью очертаний:
неумолимо долго, почти незримо,
не без чешуйчатых наслоений.

Не претерпевая, так сказать,
изменения местоположения, чувствуешь себя
предыдущим жителем, перемещенным с нажитых мест,
либо попросту уничтоженным
тутошней географией.

Наветренный склон Дождливой –
по нему стекают одни лишь потоки воздуха –
являет собой подветренный.
Исток, он же Устье,
не поворачивает на юг, но продолжает течь
в сторону солнечного восхода, особенно – летнего,
будто там и находится илистый водоем Камболи.
Илистый водоем Камболи
напоминает по форме
полуувядший трилистник.

Юрий Гудумак родился в молдавском селе Яблони в 1964 году. Окончил геолого-географический факультет Одесского университета, работал в Институте экологии и географии Академии наук Молдавии. Автор семи поэтических книг. Лауреат премии Союза писателей Молдовы (2012). Стихи публиковались в изданиях «Новое литературное обозрение», «TextOnly», «Воздух», «Цирк "Олимп" + TV», «L5», «Флаги», «Волга», «Новая Юность», «Новый Берег», «Литература», «Артикуляция» и др., переводились на английский и румынский языки.

Так,
когда ручей, напоив, ссезивает его,
трилистник, усыхая, кажется вдруг желтеющим,
и его изменившийся цвет
легко принять за осеннюю окраску.

*Vanessa**

(*понятно, что это,
словами науки, *Vanessa* – *Vanessa cardui*,
которая вышла замуж за южный ветер где-нибудь
в Сирии, Египте или в Верхней Ливии)
сливается с общим аспектом растительности
почти до неразличимости.
Если так будет продолжаться и впредь,
то общий аспект растительности перейдет в желто-бурый
теплых и жарких семиаридных и аридных состояний погоды,
и для любительницы сладких сочных плодов –
абрикосов и слив – медовый месяц
закончится, не начавшись.

Потому что
листья осыпятся раньше, чем созреет плод:
если не скороспелка, то недозрелая падалица.

У солнцегляда
уже сейчас едкий сок меланхолии, у горькой полыни –
присущий ей цвет: седой.

...Но о том,
что полоса дождей окончательно миновала,
знает лучше издавший виды сорокопут-
жулан.

Из свежевателя лягушек
сорокопут-жулан
переспециализировался в свежевателя мышей.
Их узкогрудые мышинные тушки,
в серой, полинявшей от многих стирок, шерстке,
хитрым способом насажены на ветвистые, становящиеся
чрезвычайно прочными в эту пору, колючки гледичии,
как на новый скелетный тяж.
Только вместо ушастой мордочки –
свисающая сопля:

ламбдовидно разделяющееся на два шаровидных глаза
мгновение внезапной оторопи –
не испуг и не удивление.

Знаки ясного сезона

Дело, кажется, ясно,
но не бесприкословно.
Наукообразная векторная
диаграмма розы ветров, длины лучей которой,
расходящихся от центра в разных направлениях,
пропорциональны повторяемости ветров этих направлений,
фактически повторяет старый селитебный контур.
Но теперь он из ромбовидного переписывается
в форму неправильного многоугольного трапецоида,
продольная ось которого тянется в пустыню,
не имеющую названия.

Общий уклон долины на юго-восток
совпадает с направлением преобладавших
северо-западных ветров.
Но теперь таковые данные
подтверждаются исключительно признаками,
замеченными на растениях этих мест,
стебли и ветви которых заметно наклонены
к востоку и юго-востоку.

Листья тем ярче,
чем долее действует на листья солнечный свет.
Но чем долее действует солнечный свет,
тем ближе они к опаданию,
тем скорее перейдут, желтея и усыхая,
в еще не описанный растительный вид*
(*настолько старые экземпляры в состоянии отличаться
от молодых).

Еще не истершись,
пуховый налет на листьях если не вызывает,
то во всяком случае облегчает
выпадение росы.
И, подобно тому как частицы пыли
становятся ядрами конденсации атмосферных паров,
лапка жука-краснокрыла, кончик локона-колоска
представляют равновеликую им попытку
образовать росинку.

Решение
относительно ближайшего будущего
предопределено всеми этими обстоятельствами.
Большинство их, как бездождье и засуха,

либо сделались таковыми,
либо станут ими сравнительно скоро.

Но осторожность диктует раньше всего выждать
созревания урожая.

Между тем, третьего дня
я нашел куколку *Argynnis aglaja*, из которой
на следующее же утро вылупилась перламутровка.

Крайний южный предел территории

Несмотря на такое, наблюдавшееся
в течение чуть ли не всей весны,
количество дней с дождем,
балованные в отношении влаги растения
на открытых пригревах и солныпеках южных склонов холмов
уже начинают блекнуть:
полуотцветшие, изредка оживляющиеся
каким-нибудь из сонливых чешуекрылых,
посмертной маской длиннорогой гусеницы*
(*бражник мертвая голова), полуотцветшие
тут же перемежаются с полусохшими,
если не переходят в них,
и, прежде чем
рассыпаться в прах, обратиться в прошлогоднюю пыль,
украшаются, точно плодами, жуками рода *Geotrupes* –
совмещают разом весну и осень.

Обыкновенные каждодневные вещи,
как нельзя более смахивающие на бред,
при котором кажется, будто это всего-навсего
рассеивается пасмурная погода, и которым обыкновенно
и начинается здешняя летняя лихорадка:

пространственный сдвиг в полтора десятка
градусов географической широты,
перемещающий химерического субъекта*
(*химерический субъект есть отмеченный
знаками отличия тех мест, откуда он родом)
на расстояние еще тридцати дневных переходов,
что составляет, по его словам, крайний южный предел
его территории.

По крайней мере,
уединенность этих мест

скорее выгадает, чем потеряет,
выкристаллизовываясь в солончаковый мираж –
двоящее зеркало водоема Камболи
из горизонтально напластованной
и иногда окрашенной в пепельно-голубой /
серовато-лазурный цвет спекшейся глины,
в порах которой отложилась кристаллами соль –
сухой мелкий иглистый иней
другого времени года.

От места к месту –
все равно что от одиночества к одиночеству.
И сравнение увиденных (первых) с пережитыми (вторыми)
оказывается благоприятным
для этих последних.

Глитч

Глаз во мраке и сердце в холоде –
те самые локальные экзистенции
в их мятежной конечности и определенности,
которые можно считать доказанными настолько,
насколько того разумно требовать
в наших внутригоризонтальных обстоятельствах:
девяноста вращений Земли, открывающих свойства
птолемеева хоровода светил, пустопорожного
перелицовывания дня и ночи, игры освещения, *etc.*;
но нельзя считать таковыми на период времени,
который совершенно недоступен
для человеческого наблюдения
и которому совершенно недостаточно
превращения Шестоднегов в Физиологи,
Физиологов в Бестиарии, самого принципа письменности,
посредством собственных форм, вероятно, призванной показать,
каким образом человек мог бы выйти
за свои пределы.

Неподвижных собственных форм, а точнее –
уступающих себе место своей неподвижности,
что само по себе уже есть некоторое подобие сдвига,
глитч-эффект, слова Платона, сказанные им о поэте,
что это существо легкое, крылатое
и священное.

Оно ближе к нему,
чем он сам. Это сам живущий,
каковым он останется еще на ближайшее время.

Далеко на юге,
там, где озеровидное
расширение илистого водоема Камболи
простирает себя вовне вереницей местностей,
разгороженных полями, злаковниками,
кустарниковыми залежами, и мало ли чем еще,
очертания складок рельефа кажутся преувеличенно четкими,
не уступая в резкости
аффрикате «ц» просыпающейся цикады,
потрескиванию ссыхающегося травостоя,
точно вся земная их геометрия – принадлежность слуха,
объект которого лишь различные колебания воздуха.

Даже их заставляют парить миражи –
неодинаково нагретые и, вследствие этого,
неодинаково плотные слои
материи нового неба:

сухой средиземноморский
насыщенный хлористым натром
рассол с душицею; токсическая галлюцинация
имеющей силу сушить и противодействовать влаге
сладкой, с привкусом синильной кислоты,
горечи миндаля;
весь этот платоновский *pharmakon*
с его буквицей Эскулапа и вербеной кентавра Хирона...
и шалфейно-тимьянными запахами, приправленными
живицей длинноиглистых пиний...

На татуированном языке

Лепестки тюльпанов,
выгорающие углокрыльницами ц-белое,
или следующие семью цветами позднее
желтый фиоль и алые маки,
сводящий все к огненной стихии,
идеально подходящий им в современники, Гераклит.
Но не будем касаться этого, так как он и сам не хотел,
чтобы другие понимали,
что он там говорит.

Говорит
на татуированном саламандрами
языке извивающегося пламени, пустившем пал по ветру,
дувшему нам в лицо.

Воздух не шелохнется –
после бурь периода равноденствия,
после этих горячих вихрей, уносящих к северу
крутящиеся столбы сахарского радужника-песка,
лишь пушистые паппусы одуванчиков, шелковистые волоконца
льнанок, кончики паутинок
могут быть признаком ветра.
Но пора, когда бездождье и засуха
начинают выпаривать из трав осеннюю новую горечь,
похожа уже на ту, когда в мертвом пучке обычной травы-вещанки
ветер постоянен даже при кажущемся затишье осенних бурь,
осенней солоноватости озер и горечи трав
и они шелестят на языке
вымершего народца.

Потому
до сих пор никто их не понимает,
что они составляют уже принадлежность гениальной эпохи,
которая мыслит в соответствии с шелестом растений,
похожих на болезнь, –
стоящих на степени алалии,
то есть отсутствия речи, а не афазии,
или неспособности к речи.

ИЗГНАНИЕ ЗЕМНОЕ

Стихотворения в прозе

Семечки

Учительница математики в этот день светилась торжественно. Я поинтересовался, чем так глубоко она обрадована? Она сказала, что наконец ее новенькая ученица заговорила, уста отверзлись. «Эта девочка поступила в мой класс месяца три назад. Она сразу хорошо выполняла письменные работы, а вот с устными ответами у доски не справлялась, попросту замолкала, потупив взор. Девочка умненькая, но замкнутая, болезненно стеснительная. Стоит у доски, шевелит губами, видно, что знает верное решение, но проговорить его вслух смущается. Я порекомендовала ей занять место за первой партой напротив моего стола, чтобы так, неслышно для других учеников, вести с ней диалог. Мне пришлось обратиться к классу (конечно, в отсутствие этой ученицы), чтобы ребята не мучили ее, напротив – всячески поддерживали. Надо отдать им должное, дети проявили удивительную деликатность. Однажды я посадила ее к себе на колени и предложила произносить ответы мне на ушко. Со временем она стала отвечать на мои вопросы со своего места всё отчетливей. Я пересадила ее за вторую парту, и девочка не воспротивилась. А потом – и за третью. Сегодня она заговорила у доски. Почти спокойно, по делу. Ответ был блестящим. А какой слог! Ребята даже в конце заплодировали ей. И она подняла на них свои глазки, полные счастливых слез. После звонка она выходила последней из аудитории. Я сидела за письменным столом, уткнувшись в компьютер. Она положила передо мной на листик бумаги щепотку семечек, собственноручно очищенных от шелухи, и тихо вышла. Боже, она очистила эти семечки для меня! От них еще исходило тепло ее маленьких пальчиков. Это было очень трогательно! Она преподнесла в качестве своей наивной сердечной благодарности не яблоко, не конфету. Семечки! Старательно очищенные. Никакие бриллианты не могут быть дороже этих детских семечек!» «Удивительно!» – сказал я, готовый к аналогиям. «Я знаю, вы сейчас скажете о символичности этой истории. Но она произошла».

Я попросил прощения, потому что я действительно хотел сказать о символичности этой истории. «Я не знаю, каким человеком вырастет эта девочка, – произнесла учительница. – Но как она догадалась очистить для меня именно обычные семечки?»

Чайки

Под моими окнами – детский сад. Утопающий в зелени, с игровыми площадками, песочницами, клумбами цветов. Оживает он к восьми утра звонкими голосами своих воспитанников. Как заодно они взвизгивают, как радуются друг другу! Искрящийся гомон висит над округой, как

Анатолий Бузулукский родился в Самаре в 1962 году. Окончил филфак Ленинградского госпединститута им. А.И. Герцена. Служил в армии, учительствовал. Автор книг прозы «Время сержанта Николаева» (СПб, 1994), «Антипиретская проза» (СПб, 2008) и публикаций в журналах «Звезда», «Знамя», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Нева», «Новая Юность» и др. С 2008 года – постоянный автор журнала «Волга». Лауреат премий им. Гоголя и журнала «Звезда» за лучшую прозу. Живет в Санкт-Петербурге.

брызги освежающего фонтана. Только после обеда, в тихий час, смолкают звуки безудержного веселья, наступает святая тишина. И многоэтажки со всех сторон словно благоговеют перед ней. А потом опять наружу вырывается детский смех – фистулой новой, вредливой жизни. Как хорошо жить вблизи детского сада!

Последнее время на рассвете до открытия детского сада над его тополями стали кружить чайки. Кричат истошно, словно и не птицы вовсе – лают, как псы. Тельца у них упитанные, как тушки у селедки, а крылья кажутся огромными, растрепанными, как рыбачьи сети. Тельца у них как фюзеляжи бомбардировщиков.

Мы слышим: наука, техника природоподобны. А вдруг и природа стала, в свою очередь, технологична, а значит, недолюбливает людей?

Кричат, барражируют чайки, словно выбирают цель. А что если их цель – дети? Как тут не вспомнить про гусей-лебедей.

Гогот чаек, тени от их крыл накрывают детский сад. Иногда чайки напоминают городских сумасшедших. А иначе что им тут делать – вдали от моря, Залива, воды? Да и свалок поблизости вроде нет. Откуда-то попали в наши края однажды и теперь не могут найти дорогу назад. Что им надо? Что они сюда зачистили? Что они голосят как резаные? Правда, как только появляется первый ребенок с мамой, тяжелые птицы пропадают. На балконах появляются жильцы в дезабилье. Соловьиных трелей не хватает, а тут – эти мартыны-горлопаны. Привыкаем: сверху – тревожные чайки, снизу – детский сад.

Вода

Перед рассветом загрохотало. У грозы – хрустальные звуки. Без металлических обертонов, без фонетической ржавчины. Словно очищенные огнем, молнией. Любой барабанщик позавидует таким безупречно хлестким раскатам! Какая наваристость! Я не видел, но понимал, что вода падала отвесно. Ливень – всегда со светлыми небом. Он был коротким, как догадка. Провода над домами дрожали, как живые. Я не удержался и перегнулся через парапет балкона. Деревья стояли радостные. Круги на светлых лужах расходились медленно, чтобы подольше оставаться плавными. Опять появились чайки. Приготовились к выступлению хором. Но вдруг одна вступила раньше срока. От этого ее вскрик получился особенно горестным. Вероятно, никакая нелепость не обходится без трагической ноты.

Я люблю обливаться водой, окатываться. Вроде и душ приму, но обязательно в конце опрокину на себя тазик с едва подогретой водой. Мне кажется, что водой нужно именно окатываться, как ливнем. Какой бы широкой ни была душевая лейка, под душем не окатиться. Окатываться – значит принимать поток воды, где густо, где пусто. Я люблю периоды отключения горячей воды. Тогда я могу окатываться по праву, без оправданий. Сын говорит, давно надо уже купить водонагреватель. Я спору: окатываться приятней. Он смеется: «Понимаю, если бы ты обливался холодной водой для закаливания. А так – странно». Как ему доказать, что окатываться действительно приятно. Слава богу, не брякнул: дескать, окатываться – это все равно что погружаться в Иордан с головой. Обезвоживание – обезбоживание. Сын рассказывает о дизайнерских душевых системах, широких, чуть ли не во весь потолок, стационарных лейках с опцией «тропического дождя». О последнем он говорит с неким нажимом. Я пытаюсь убедить сына, что вода должна падать сверху, конечно, изобильно, щедро, но как бы неравномерно. «Неравномерно – значит с дефектом, – печалится сын. – Я же люблю гигиену». «Я тоже не люблю кислых полотенец», – бросаю я.

Сирень

Как много сирени в этом июне – цветущей упругими гроздьями! Коммунальщики в наших дворах постарались – высадили ее шеренгами вдоль тротуаров.

И на выставке Врубеля хватало сирени, ее «тем и вариаций». Здесь она казалась погасшей. Пан взирал на нее снисходительно – глазами безобидного волчонка. У Врубеля через одного такие глаза, испанские, брюсовские – ртутные капли. А рядом с ними – детский носик.

Видимо, и сирень – образ страсти. Иначе откуда такая перекличка? Передо мной идут флиртующие подростки (подросточки – обычно говорит моя хорошая знакомая), мальчик и девочка, шестнадцатилетние, в массивных цветастых кроссовках и одинаковых черных безразмерных худи. Идут, как и я, по коридору сирени. Вдруг юноша приближается вплотную к кустам, откидывает капюшон и окунает лицо в поток соцветий. И сирень, пока он пританцовывает так, приставными шагами, полощется по его щекам, омывает ароматом и цветочной пылью, гладит скулы, губы, пеньковые, словно на русский лад, дреды. Сами знаете, запах сирени отнюдь не тонкий. Но афродизиаков в нем хоть отбавляй. Вдруг девочка шлепает парня ладонью по ягодицам и отскакивает в сторону. Капюшон сползает с ее гладких волос. Она хохочет беззвучно. Оба они непосредливы. Но мальчик оборачивается степенно, со всем возможным игривым недоумением. Видно: он собирается до последнего сохранять лицо серьезным. Но краснеет и размашисто надвигается на подружку, которая уворачивается от него как может.

Моя хорошая знакомая, почему-то на выставке уделявшая особое внимание наброскам Врубеля, спросила меня: «А от чего умерла Тамара?» Я сказал, что все-таки по большому счету – от любви. И услышал: «Ну, конечно, от чего еще?!»

Я не стал уточнять, что – от поцелуя Демона. Я не хотел увязывать воедино любовь и смерть. Я поспешил на всякий случай заверить мою хорошую знакомую в том, что и траур исполнен оптимизма. «Исторического», – кивнула она и улынулась.

Художники

Не требуйте у мастера разнообразия!

У Ван Гога копошатся близко к земле – самозабвенно. Жирный пепел, чешуя. Даже ветер у Ван Гога сухой и жирный. А ветер у Ван Гога – всегда.

Угол дома ровен. Не по-русски. Рядом в снегу – бревно. Хокку Эндрю Уайета.

Прелое крепкое дерево – лодки Стожарова.

Серебряковские женщины-лисы.

Глаза у женщин с портретов Модильяни – как личинки. На лице – личинки.

Пазловатость Эшера. Пазлы-падлы. Неужели и подловатость?

Сезанн – как вырубленное из породы, из мезозоя. Изумрудный Сезанн.

Глазницы Мунка – как озоновые дыры. А не как орудийные жерла.

Как будто у одного и того же дерева – и Саврасов, и Левитан. Что это за дерево?

Левитан не жалеет для неба места. «Последние лучи солнца»: их уже нет. «Сумерки. Луна»: таких сумерек на Земле уже нет.

У Саврасова – оттепелевые лужи. У Левитана – теплые, летние.

Мы все ступаем в проталину Саврасова. Проталина как похмельная испарина.

У Фешина каждая картина – печка. С потрескивающим жаром.

Человечьи лапы Пикассо. Сложение рук. Пикассо разлапист и рукаст.

Нигде, кроме как у вермеерского окна, что слева.

Скуластый Иуда Николая Николаевича Ге.

Почему мы так жаждем современного? Кажется, это религиозный вопрос. Мы обречены искать всякий раз новое утешение.

Молюсь

Помню, в двадцатилетнем возрасте в один из дней меня пронзила какая-то глупая мысль, что я – чист. Слово я буквально осязал эту внутреннюю и телесную чистоту. Я удивлялся, как

много во мне этой чистоты. Вдруг я самодовольно улыбнулся: чистоты во мне так много, что ее не может не хватить на целую жизнь. И что от капли грязи ее не убудет... Теперь – это, похоже, грязь невылазная.

Иногда я говорю сквозь сон: «Господи, спасибо, что я с Тобой». Он как будто что-то отвечает. Я – с радостным недоумением: «А разве *здесь* тоже так говорят – такими оборотами, таким синтаксисом?» Он: «Тогда я лучше буду односложным». Я: «Но тогда я спрошу: а молчать *здесь* тоже можно?» И не получу ответа.

Иногда я говорю: «Спасибо, Господи! Опять поддержал». И слышу: «А ты ведь льстишь». «Нет, Господи, – говорю. – Это благодарность. Так получилось, что ко всякой моей благодарности примешивается какой-либо призвук». «Ладно, ладно», – слышу я... Господь мне помогает. А кто еще? Кто еще такого дурака станет терпеть в этой жизни?!

Мне нравится обращаться к Господу как к родному человеку. И – к Богородице. Хотя Богородицу я и побаиваюсь. Во время молитвы всматриваюсь в Ее лик, словно ожидая расположения, милостивой улыбки. Иногда дожидаюсь, а иногда нет. Лишь – спокойное страдание. Я боюсь, что не всё Она мне может простить. И мать ведь не всё может простить. А Христос – всё. Я привык обращаться к Нему как к родному. А надо бы и побаиваться. Это тоже верно.

Я знаю, что можно покаяться в последний миг и быть прощенным. Вот, дескать, я и покаюсь в последний миг. Дескать, успею, Господи...

Как «там»?

Царствие Небесное Петру Мамонову! Стольким душам хочется этого пожелать! Всем! Мамонов, как и все мы, заразился коронавирусом, впал в кому. Я почему-то не сомневался, что он выкарабкается. Выздоровеет и расскажет – как «там». Вот чьему рассказу о том, как «там», можно было бы поверить. Я ждал этих его признаний, откровений – беспримесных, протокольных. Я знал, что он поведает о потустороннем без утайки, даже если увиденное лично для него станет неприятным сюрпризом.

Но этого не произошло. Этого никогда не может произойти, если мы хотим узнать действительно из первых рук о том, как «там». Видимо, прямой связи с тем миром не может быть категорически. Это – условие, это – завет. А то, что через Мамонова такая связь получилась бы прямой, сомнений нет. Такой он был человек. Но, как говорится, Господь не попустил. Каждому надо шагать и перешагивать самому. Смешная у нас материя. Материя, плоть прежде всего комична.

Боже, как же я предвкушал свидетельств Петра Николаевича! И ведь понимал, что всякое предвкушение нехорошо само по себе. Могу только догадываться, какими яркими и явными были впечатления Мамонова, если они были пресечены на корню. Нет, всё – самим, только самим.

...А ты знаешь, что бы тебе на это сказал Мамонов? «Маловерный, – сказал бы он. – Зачем ты ждал от меня неожиданного? Зачем ты ждешь от того мира неожиданного? Жди известного и верь известному!»

Царствие Небесное, Петру Мамонову! Помню, он говорил: я не могу больше безобразничать, потому что дал слово Христу в этом, я не могу Его обмануть.

Изгнание земное

У входа в некрополь Александро-Невской лавры женщина-билетер (в прошлом – капризная красавица) долго не обращала внимание на мои расспросы. Я интересовался у нее, как пройти к могилке младенца, сына декабриста Сергея Волконского. «Я не знаю, я недавно здесь работаю», – наконец отмахнулась она от назойливого посетителя, и количество мелких морщинок на ее загорелом лице от досады увеличилось вдвое. Вероятно, она действительно работает здесь

недавно – перевели из офиса после выхода на пенсию. И, похоже, не будет знать: ее безразличность к покойникам необорима.

Я вооружился схемой кладбища и стал плутать между тесно соседствующими надгробными памятниками преимущественно восемнадцатого века, хотя и девятнадцатого здесь хватало. И даже Витте из двадцатого – в силу его земной общественной славы. Почему-то кладбище напоминало мебельный склад, беспорядочно заставленный антикварными комодами, этажерками и канапе.

Я искал саркофажец с эпитафией Пушкина. Я полагал, что он должен быть архитектурно изысканным, с резьбой, с магическими фигурками. Именно к таким надгробиям я присматривался. Вдруг к моим поискам места упокоения Коленьки Волконского присоединился еще один курсант. Словно для убедительности я даже продекламировал добродушному мужчине, который двигался передо мной, слова пушкинской эпитафии. Я даже уточнил, что она так и называется – «Эпитафия младенцу». То есть и Коленьке, и в целом любому, каждому усопшему младенцу:

*В сиянье, в радостном покое,
У трона вечного творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.*

Мужчина повернулся ко мне и сказал: «Вы правы – каждому младенцу». «И благословляет, – добавил я, – каждую мать и молит за каждого отца». Я хотел продолжить, что в этом-то и заключается величие пушкинского искусства – когда через единичное предстает всеобщее. Но мужчина опередил меня: «Как сердечно написал Александр Сергеевич!»

Нам помогла одна из работниц некрополя. Оказывается, мы кружили вокруг да около Колиного саркофажца. А не замечали, потому что он был неприметным – небольшим прямоугольным гранитным коробом. И выбитые на крышке «сердечные» стихи были припорошены древесной трухой и пылью. Мужчина похлопал меня по плечу, сделал селфи с Колиным местом и удалился. И теперь я даже обрадовался тому, что саркофажец младенца оказался таким простым. Даже ковчег праведников не бывают такими простыми. Я протер ладонью гранитное покрытие этого миниатюрного короба и удивился, каким красным стал его цвет, какими ясными стали пушкинские строчки. А внутри – белые святые детские косточки. Они остались здесь, с нами, как залог будущего соединения. А он *там* – благословляет матерей и молит за отцов. Молится за наше копотливое изгнание земное. С сочувственной улыбкой.

Часы

У сержанта в учебке сломались часы. Курсант-новичок Р. дал ему свои. Они отсчитывали, как нам тогда казалось, пустое время. Пришел срок «молодым», получившим по две лычки на погоны, отправляться в войска. Через десять минут фургоны с новоиспеченными младшими командирами должны были отчалить от КПП. Сержанту-инструктору оставалось служить здесь еще полгода.

Сержант спустился в подвальное помещение, в учебный класс, закрыл обитую железом дверь на засов и улегся спать на сдвинутых столах, укрыв голову шинелью. Через тридцать секунд он услышал вкрадчивый стук в дверь и голос Р.: «Товарищ сержант, мы уже отбываем. Можно я возьму часы?» Часы были теперь на руке сержанта – он еще полгода назад предположил, что курсант часы ему подарил. Р. стал стучать настойчивей. Подошли другие бойцы. Стучать начали вместе – горячо и убежденно. Было понятно, что от такого грохота проснется даже самый бессовестный человек. Хотя разве не известно, что в армии спят как убитые?!

Сержант не реагировал. Вероятно, притворялся – больше для себя, – что спит. Чем неизбывней он притворялся, тем ожесточеннее дубасили по двери солдатские сапоги. Воины могли бы преодолеть эту преграду, но, кажется, они этого не хотели – хотели не этого. Хотели колотить в

дверь, проверять ее на прочность, но не вышибать, хотели буянить и, распалившись, начать костерить сержанта последними словами. Он пропустил момент, когда можно еще было как ни в чем не бывало появиться перед ними. Но после того, как кто-то из них (кажется, из чужого взвода) вдруг назвал его «крысой», он понял, что всё потеряно. Еще четверть часа назад он был для них всевластным командиром и непререкаемым авторитетом. Он знал, что они уважали его, как уважают толкового наставника. А теперь этих пацанов охватила настоящая эйфория – от развенчания кумиров. Они стали свидетелями падения человека. Человека, перед которым благоговели и который вдруг совершил такое, чего никто не ожидал. Они кричали: «Открывайте! Мы знаем, что вы не спите. Верните часы!» И наконец: «Верни, крыса!» Но ему теперь вовек не открыть дверь: мосты сожжены, подопечные – на коне. Он знал, что сейчас, в последние мгновения, когда бойцы особенно истово смешивали его с грязью, им меньше всего была нужна новая встреча с ним.

Сквозь хор ругательств сержант не слышал возгласов самого Р. – тот как будто уже ретировался.

Сержант знал, что кому-то из его бывших подчиненных теперь за дверью было совсем не весело, было не по себе, было стыдно – за него, за себя, за эту ситуацию, за ход жизни в целом. И найдется один, кто скажет (уже когда они отъедут от этой учебной воинской части), что сержант не просто так стал мелкой душонкой, что он пошел на такой позор сознательно, что ему, дескать, зачем-то понадобился этот страшный выверт. Вспомните сержанта, он всегда что-то придумывал. А мы подыгрывали ему. И теперь подыграли. Подыграли с великой радостью, словно для того, чтобы мир перевернулся, чтобы последние стали первыми, а первые – последними. Словно он для нас всё это затеял – свой позор. И я не удивлюсь, если вскоре сержант пришлет Р. часы по его новому адресу. Или раздавит их подошвой, и они хрустнут – ненужные, как живые косточки. Солдатская собственность – понятие призрачное. Есть люди, которым зачем-то надо быть мучениками своего позора. А иначе как всё это объяснить? Как будто есть сержант, а есть его позор – отдельно от сержанта. И позор теперь больше сержанта. Не плевать, не качать головой, а вдруг – окинуть сержанта и его позор мягким взглядом, от которого людям становится хорошо на душе. Не навсегда (это невозможно) – на миг.

Педагог по вокалу

Ее называли умным педагогом по вокалу. Скорее всего за то, что она любила сопровождать слово «голос» эпитетом «умный». Она уже давно мечтает сменить его на «добрый». Но, в отличие от «умный», «добрый голос» звучит совсем уж по-обывательски.

Она плохо спит, с трудом пробирается сквозь надрывные сны. Утро за окном – сырое. «Приглядись! – говорит она себе. – В тумане тополя дрожат, как заблудшие души. Первый туман в этом месяце. Рассеется ли он? Внизу, в траве – теплый тополиный снег». Нет ничего лучше сухого, кисловатого аромата кофе, только что смолотого. Кофе убегает ящерицей, оставляя хвост. Чаше лишь успевает поднять хвост. И женщина его убаюкивает: «Тихо-тихо, милый!» И он вновь укладывается. Есть, правда, и в кофе отголосок нефти.

Чтобы опустить единственное перышко в мусорное ведро, она вновь совершит мешкотный путь на кухню. Подумает: «Если окажется, что перышко было крайне нужным, я побрезгую среди отходов рыться в поисках его. Я махну рукой. И так всегда. У Господа, дескать, ничего не теряется».

Все чаще она вспоминает мальчику, которого, конечно же, стала называть «А был ли мальчик-то». Много лет назад она, по сути, отбила охоту у этого юноши петь. Он пришел за компанию с другими первокурсниками одного из технических вузов на первое занятие хорового коллектива. К ней – на прослушивание. Он не готовился, забрел случайно и, кажется, был подшофе. С ходу вспомнил какой-то романс и с места в карьер запричитал с яркой насадой. Это был крик, но крик чистый и какой-то слезный. Она никогда не любила пьяные голоса. Глотка у этого нескладного паренька была луженая. Непонятно, чего в нем было больше – будущего тенора или баритона. Пел он так раскатисто, что, кажется, даже на улице за окном присмирели прохожие. Это был

единственный в той группе человек, у которого был настоящий голос. Ей тогда не понравилась расхристанность и самоуверенность маленького пьянчужки. Она сказала: «Зачем так громко? Зачем так кричать?» Вероятно, у нее в тот момент было выражение лица, полное охранительной неприязни, словно этот мальчик мог быть для нее чужим и опасным. Он криво ухмыльнулся и вышел из аудитории. Она была молода и не расспрашивала о нем из горделивости. Ей казалось, что первым делом надо искать мудрость и тишину в голосе. Но тишина и мудрость – это еще не голос.

Теперь она вспоминает тот случай и винит себя. Где теперь обиженный ею мальчик-певец? На всякий случай она не пропускала по телевизору ни одного выпуска проекта «Голос», в котором состязались вокалисты-дилетанты, чтобы однажды вдруг увидеть среди них и его. Она бы узнала его голос, даже если бы ручьистая укоризна теперь звучала не сверху, а внизу.

Она любит широкую, томительно длящуюся музыку двадцатого века. Она плачет от горя и счастья, в который раз слушая «Петербург» Свиридова в исполнении Хворостовского, уже умиравшего. Потом читает Бориса Рыжего, вздыхает: «Жил как поэт, а умер как человек. А лучше бы – наоборот. Никакого гения не жалко так, как этого. Пусть мне только и остается, что жалеть гениев».

Бабушка и брат

Бабушка умерла за два часа до Нового года. Ей было восемьдесят. В провинциальных городках Советского Союза экстренных ритуальных услуг не оказывали. Обмывать тело усопшей вызвался ее старший внук, мой старший брат. Это его решение мне показалось тогда естественным еще и потому, что он недавно отбыл срок «по малолетке». Бледность его лица выражала не испуг, а беспокойство. Но это было торжественное беспокойство. От бабушкиного тела почти ничего не осталось – коряжистое засохшее деревце. Он перенес его в ванную и закрылся от нас. Мама медленно занавешивала зеркала простынями. Я забился в дальнюю комнату, сидел с закрытыми глазами, дрожал и затыкал уши ладонями. Мне было страшно не от того, что брат касался мертвого тела, а от того, что он видел теперь бабушку нагой. «Уж лучше бы мама это делала, – шептал я. – Но мама сказала, что боится. Маме стало бы плохо. Ей сейчас, наверное, плохо». И я пошел к ней.

Бабушка любила старшего внука сильнее, чем меня. Она называла его – «яблочко мое наливное». Я несколько не ревновал. Я сам благоговел перед старшим братом. Мы все его ждали и не верили в его вину. Мы знали, он сел за другого, не мог сдавать с потрохами.

Потом я смотрел в глаза старшего брата – они были по-прежнему чистыми, как будто и не видели бабушку голой. И пальцы его, в наколках, тоже были чистыми, и лоб, и дыхание.

Спустя годы я прочел стихотворение, которое начиналось «Я пил из черепа отца». Оно было не столько об отце, сколько об отцах, о символическом отце. Нет, мой старший брат отдал дань любви нашей бабушке. Я боялся, что он станет оправдываться: «Было время, бабушка купала меня младенца. А теперь – мой черед». Нет, правилам жизни не нужны пояснения. Только – доверие и личный выбор.

Брат рассказывал, что однажды оболгавший его человек упал перед ним на колени и готов был уже искупить свою вину самым непристойным образом. «Мне стало противно. Я отошел в сторону», – сказал брат.

Брат недолго пожил на белом свете. Что думал он перед смертью? Мне было неловко, что я не успел проститься с ним. В гробу на его лице покоилась знакомая мне улыбка.

Мама

Маму изнасиловал нерусский. Когда она в сумерках возвращалась с работы. Так шушукались соседки под моим окном. Я выглянул – их след простыл. Гуляла пара голубей, и воробьи приплясывали вокруг них, как дети. Мама сидела на кухне, положив руки на сомкнутые колени. Ее

спина была прямой и не касалась спинки стула. Рядом в такой же позе сидела бабушка, переводила взгляд с мамы на меня. Мама никогда так не сидела, и бабушка – никогда. Мама никогда не плакала, и бабушка – никогда. Мама улыбнулась мне тихо, глазами. Но она всегда так улыбалась – всегда виновато. Мне говорили, что и я так стал улыбаться – всегда виновато. Бабушка сварила гречневую кашу, положила бутерброд с сыром. Я позавтракал и пошел в школу.

Я так и не узнал достоверности, изнасиловал ли нерусский мужчина мою маму.

Мама говорила: «Честнее всего – быть обманутым». Ее жалели сестры, подруги, чужие люди. Даже судьба, кажется, иногда любовалась ею. Удивлялся отец, порой всхлипывал, но опять уходил к своей Зинке. Умирать пришел домой. Мама была простодушной, но многие вдруг пытались походить на нее. Моя теща рассуждала: «Мы с вами родственные души: вы – телефонистка, и я связист».

Я никогда не называл маму мамочкой. Одно время я совсем никак ее не называл. Слава богу, это время было непродолжительным.

Она говорила: нельзя людей звать чурками, зверушками. Я спросил: «Потому что тогда и нас нельзя будет звать людьми?» «Нет, не поэтому, – возразила мама. – Просто нельзя. Нехорошо это».

Прости меня, мама, если слышишь. Если Господь слышит, значит, и ты слышишь.

Терпение чиновника

Этот чиновник понимал, что я откажусь председательствовать в общественной комиссии, улыбнулся мне лучисто и перевел взгляд на другого соискателя – помоложе, сдобного, в пиджаке и галстуке в 30-градусную жару. Молодой соискатель, обливаясь потом, поспешил согласиться: «Да, я бы стал – мне интересна эта тематика». Дама преклонных лет, почему-то с двумя телефонами и двумя футлярами для очков, тоже спохватилась: «Я бывший директор школы. Хочу. Мне это известно». Председателем выбрали молодого, дама обиженно взялась подвизаться секретарем. Чиновник показывал ей глазами: дескать, пропустите вперед молодого карьериста – вам-то это зачем?

Чиновник был худощав, лысоват, низок, суетлив. Но эта суетливость была особого рода – спокойной. Происходила не от волнения. Словно он появился на свет таким – с врожденной суетливостью. Почему-то при взгляде на этого избыточно хлопотливого человека возникало ощущение, что с ним никогда не случится нервного срыва, какого бы унижения и насмешки он ни испытал. Словно для него раз и навсегда было установлено: ты – такой человек, твое дело – терпение. Ты никогда не хлопнешь дверью, никогда не уйдешь по собственному желанию. Терпение у тебя – не выстраданное понимание жизни, не деликатность, не фига в кармане, не постриг. Терпение для тебя – знак свыше.

Будучи помоложе, он писал матери с горечью: «Я теперь всё больше и больше становлюсь похожим на Башмачкина». Мать отвечала: «Перестань, пожалуйста. У тебя очень красивая лысинка, как у папы».

Его невозможно выбить из седла, потому что его терпение давно уже перестало быть таким. Ему уже и до пенсии немного. Не успеет лишиться терпения. Не успеете никогда.

Гусиные лапки

Как хороши гусиные лапки вокруг глаз! Каждая морщинка – лучик улыбки. Долгой улыбки – от песчаных бурь жизни, сращенности с ней.

У них общая улыбка – семейная, родовая: у отца, сына, дочери. Бабушкина. Улыбка – особого отношения к дару. Мы дарим с тихой радостью. Но бывает по-детски жалко: дарю в ущерб себе,

живу в ущерб себе. Как бы так сделать, чтобы без ущерба? Закрывать глаза, не улыбаться, не дарить? Не выдумывай, ничего не жалко. Тогда почему улыбка такая нелепая?

Полнота воплощения неминуема даже для самого нелепого человека. Мы ждем, что своей жизнью спасем другого. Через меня или чтобы я? Неважно, главное – спасти. Тогда – через меня.

Отец раньше говорил: «Это не твоего ума дело». Теперь всё чаще произносит: «Это не моего ума дело». В его устах звучит: это ни чьего ума дело. И улыбается гусиными лапками.

В конце июля

Рядом с моим домом – тропинка в лес. Высокий, долговязый, голенастый. По его макушкам распелескал свет. Отсюда видно, какой он нежный, сливочный, топлёный – кругляшок солнца растаял без остатка. Ветерок поверху. Рукоплескания листьев. А внизу словно не просека, а ущелье. Окрестные жители – в три погибели – за черникой. Спелые черные слезы нужно собирать втихомолку. Некоторые мелкие кустики каким-то чудом притягивают к себе верхний елейный свет и сияют.

Я выхожу к одноколеечке. Рядом – яичница из ромашек. Молодой папа учит двух маленьких дочек приветствовать поезда, другую жизнь. И действительно, как добродушный носорог, выполняет тепловоз. Девочки машут ему ручками-веточками. Тепловоз тепло, с радостью отзывается веселым, извилистым гудком. Одна из завитушек этого гудка, быть может, достается мне. Я говорю: «И тебе счастливого пути!»

Поворачиваю. Небо снижается. На деревьях вдали облака как моцартовские парики. В этом рябом ситце небу, наверное, станет знобно. Небо проплакало всю ночь и, кажется, опять готовится. Готовится стать хмурым, холодным, не сегодняшним, скорого будущего.

Надеюсь, еще посчастливится увидеть вербу в светлом колодце и позже над головой созвездие, похожее на хуторок в ночной степи.

О человеколюбии

Я услышал или мне показалось, что я это услышал, Лиза Н. шепнула другой восьмикласснице: «Опять о человеколюбии». Я ей был благодарен, что она не сказала – «о *своем* человеколюбии». Больше я не буду произносить это слово ни в их классе, ни в других. Скоро она заметит, что это слово исключено из моего лексикона. И увидит, что я даже не ишу ему эквивалента. Другая дорожная карта – напротив, демонстративно поднимать на щит это слово – изобличит мою неуверенность. Я не предаю содержание (Лиза это поймет), я прибегну к иным выразительным средствам. Если Лиза не против понятия, а против его наименования, я продолжу гнуть свою линию вербально иначе. Современность всякий раз нуждается в переименовании. Чтобы вещь не казалась отжившей, ее следует перелицовывать. Допустить же, что для Лизы само это понятие раз и навсегда – пустой звук (даже если именно так ей теперь кажется), было бы ошибкой. Всё дело в «теперь». На некоторые «теперь» ученика педагог должен смотреть как на точки роста. Мне же теперь – не перехваливать и не недохваливать.

Я буду говорить о нравственном выборе, фактически – о выборе между добром и злом. Что на это скажет Лиза Н.? «Выбор между добром и злом» – фонетически вполне себе рубленая, «твитовая» фраза. Хотя я почему-то уверен, что Лиза Н. свои сообщения в мессенджерах предпочитает складывать из полновесных синтагм. Все знают, что Лизе Н. это позволительно. Я даже не удивлюсь, если Лиза Н. и словом «человеколюбие» нет-нет да грешит. Лизе Н. это разрешено. А вот учитель литературы нет.

Я побывал на странице Лизы Н. в социальной сети. На фотографиях она самая захудалая среди своих друзей – с острым носиком, конопатыми ручками, розовой, но все равно блеклой

челкой. И она как-то по-особому сутуловата, что порой себе позволяют сильные натуры. На фотографиях она – в центре, в полукруге, верховодит тихой сапой. Все хохочут, а Лиза Н. лишь едва улыбается. Было видно, что ей неприятно попадать в кадр. Было видно, что некоторые ее приятели были с моим выражением лица.

При анализе одного из литературных произведений (в подтверждение его ключевой мысли) я сказал школьникам, что, если помните, и Христос омыл ноги своим ученикам. Я ожидал по-детски произвольных усмешек. Они появились: подросткам не возбраняется порой иметь пошлые ассоциации. Мне казалось, кто-то из них еще не забыл медийную новость, как Папа Римский склонял голову к ногам африканцев в дорогих ботинках. Я хотел сказать на уроке, что нет ничего позорного в том, что учитель омывает ноги своим ученикам, даже если ученики еще не воспринимают его своим учителем. Тяжело этим ножкам будет. Но не сказал – это было бы избыточным уточнением.

Пушкин

Все иные поэты жеманны по сравнению с Пушкиным. Поневоле, самую малость, но жеманны. Сын возразил: «Так принято думать». – «Я и сам в твои годы был безразличен к Пушкину. А теперь без него не могу». – «Прямо не могу? Это тоже жеманство». – «Да, это тоже жеманство».

У Пушкина был любимый эпитет – «прямой»:

Таков прямой поэт. Он сетует душой...

Не случайно Пушкин вложил его и в уста Татьяны, чтобы с помощью этого определения она назвала лучшее, что было в Онегине, то, за что она его полюбила:

*Я знаю: в вашем сердце есть
И гордость, и прямая честь.*

Пушкин – поэт метонимии, а не метафоры. Метонимия и сравнения ближе к действительности. И доверял лексическим повторам:

*На печальные поляны
Льет печально свет она.*

Неужели Александр Сергеевич не мог подобрать синоним? Но повтор – это предельная точность, это равенство всего и вся, и это музыка.

Точность:

*Зари багряной полоса
Объемлет ярко небеса.*

После Пушкина вместо «ярко» обязательно поставят как минимум «жарко». И будут по-своему правы.

И еще – всегдашний пушкинский разворот, чтобы придать бодрость ходу жизни. Сначала элегично:

*Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.*

И вдруг – разворот, прорыв:

Но не хочу, о други, умирать.

Любит Пушкин дорогу. Но – разворот:

То ли дело, братцы, дома!

Тем более это написано накануне женитьбы – пора остепениться.

И какая глубина и мягкость – к женщине! Сквозь все усомнения, она для Пушкина – «ангел кроткий, безмятежный». Обещала поцелуй и ушла навсегда в мир иной. Но о поцелуе обещанном не забыть:

Но жду его; он за тобой.

Словно о себе написал Пушкин: «Мой приятель был самый простой и обыкновенный человек, хотя и стихотворец».

Одним словом, сынок, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий...

Любимая

Ты говоришь: когда я чищу зубы, далеко улетаю мыслью. Еще дальше улетаю этой самой мыслью, когда запиваю водой свою обязательную суточную таблетку. Куда? – спрашивает твоя улыбка, в которую я влюбился и с которой ты родилась.

Я полюбил целовать твою провидческую улыбку. Ты не скрывала, что ничего обо мне не знаешь, но твоя улыбка всякий раз напоминала, что знает обо мне всё.

Иногда, замирая, я действительно улетаю мыслью в будущее наших детей, внуков, далеких потомков. Куда-куда? – твоя улыбка с годами становится недоверчивой. У нее есть на это причины.

Кровь в голову – и называть любимой кого угодно, только не тебя... Нет, слово «любимая» табуированное, религиозное, однократное. Язык не повернется назвать еще кого-то любимой. И потом, ты помнишь, за чем ты меня застаешь, застукиваешь? Да-да, за таблеткой.

А бес в ребро? – настаивает твоя улыбка.

Бес в ребро – это не серьезно.

Вот именно – не серьезно, – грустит твоя улыбка.

Прощай меня, даже если меня не за что прощать. Я уповаю только на твою улыбку. Пусть она не слабеет, не учится догадываться, а, как и прежде, знает всё наверняка!

Директор по маркетингу

Маятник качнулся в другую сторону. Неотвратно – по-другому не бывает. «По-другому не бывает», – так Борис, директор по маркетингу, твердил в последние дни своей жене, а иногда себе – вполголоса.

Сегодня – совсем уж некрасиво и как-то смешно, а не издевательски: на офисной маркерной доске каллиграфическим, поэтому не опознаваемым почерком выведено: «Россия и Запад». Там, где еще на прошлой неделе и неизменно из года в год красовался индекс потребительской лояльности NPS среди шкал и диаграмм, теперь проступило – «Россия и Запад». Шутник оставил из прошлого лишь стрелки главных ударов – красные, перекрывающие синие.

Так, вероятно, горевал и учитель Беликов из «Человека в футляре», получивший карикатуру на себя с припиской «Влюбленный антропос». Но «антропос» ведь первочеловек. «На святое покусились», – хохотал раньше Борис, когда читал этот чеховский рассказ дочери-школьнице.

«Не смешно, а как-то бессовестно всё это, – обессиленно расстраивался Борис, пальцами массируя виски. – Завтра жди, напишут одну Россию».

«Мы теперь с тобой вдвоем, остальные – против нас», – говорил генеральный. Борису слышалось: «Ты теперь один». «Учредители дрейфуют в сторону большинства. У тебя есть деньги на первое время?» – продолжал генеральный. Борис кивал головой.

«Черт меня дернул опубликовать тот пост в фейсбуке! Но это был инстинктивный шаг. Мосты сожжены. Шаг перед пропастью всегда предопределен. У каждой эпохи две стороны медали – поражение и реванш. Победители улыбаются криво: это тебе за твою Канаду, куда ты не устал летать!»

Борис думал о гримасе извечной пренебрежительности на лице своей жены. Она признавалась, что не знает, как с ней справиться. У нее и в Канаде, и в Париже та же самая брезгливость. Хотя в глубине души жена совсем не такая – она добрая и простая женщина. Это какая-то мимическая короста, не имеющая отношения к характеру человека. А его не любят за тихую, вкрадчивую речь, словно он пытается что-то скрыть. А он ничего скрыть не пытается. Наоборот, всё больше и больше горячится и даже хорохорится. «А в Канаде, чтобы вы знали, меня восхитил лишь промерзший до хрустального льда Ниагарский водопад».

Победители улыбаются криво. А Надька дура, которую он полгода назад спас от неминуемого увольнения, восклицает: «О, кто это так хорошо написал на доске?»

Вспоминая деда

Я проснулся от артиллерийской пальбы. Слава богу, оказалось – небо грохотало. Страшная гроза – сухая, без капли влаги. Рассвет – с прозеленью. Молнии мигали, как электролампочки на излете, перед тем как перегореть. Но освещали молнии комнату на всю глубину – никуда не скрыться от этого взрывчатого света.

Но все-таки ливень хлынул: у природы ничто не заканчивается претенциозно – на полуслове.

Я заглянул в зеркало: я из тех, у кого полжизни – старость. Давным-давно я спрашивал у своего деда: какие мысли бывают перед войной? Он отвечал, не задумываясь: «Перед войной – простые мысли. А вот лето – душевное». У деда были по-стариковски благородные ноздри – голые, без волосиков. Как-то он сказал: «Одного трусость спасла, другого смелость сгубила. А должно быть наоборот».

Младшенького покрестили

Вот и младшенького покрестили. Я так жаждал этого, словно о своем крещении думал. Торопил дочь и зять, боялся за внука. Когда определились с датой и местом, с храмом, младшенький изо дня в день стал интересоваться: «Когда меня покрестят?»

В церкви стоял не капризничая, сам по себе. Ручки взял назад. Не видно было, чтобы волновался. Но выражение лица с плотно сомкнутыми губками напоминало прабабушкино, моей матери, когда она, в особенной тревоге, выглядела обреченно спокойной. Ее нет уже с нами двадцать лет, но правнук наклоняет голову чуть вперед так же, как делала это она.

Молодой батюшка держал его над купелью, по глазам мальчика катилась вода, и он неотрывно смотрел на пламя свечи. А в алтарь входил в крестильной рубаше, оглядываясь на мать.

Мне нравятся две фотографии, сделанные с паузой в одну секунду. На первой – наш младшенький сразу после крещения с мокрыми ржаными волосиками, прилипшими к нежному лбу, и

огромными вопрошающими глазами: «Мама, я справился, теперь меня покрестили?» А на второй – сияющая радость в тех же огромных глазах и детская улыбка. «Справился, тебя покрестили!»

Я хочу этот диптих с фотографиями моего внука поставить рядом с образом Богоматери. И пусть он станет для меня еще одной иконкой!

Курьер

Он вынужден был пойти в курьеры. Вечером неожиданно объявился – промокший до нитки под ливнем, с велосипедом. Он переодевался в мою одежду, его, раскисшая, падала к ногам, рассказывал, как прошел первый рабочий день: опаздывал с доставкой каждого заказа, путался во дворах – навигатор на его телефоне глючил. Говорил, что в целом понравилось – принадлежишь самому себе. Но за опоздания штрафуют. Вез одной даме два стаканчика кофе – расплескал половину. Да и кофе никудышный, как сказал ему бармен. Почему она не может сварить себе кофе дома – такая интеллигентная, вежливая, но растрепанная?

Он был худ, позвоночник у него выступал как девичья коса.

Попили чай с бутербродами. Я спросил: «Не обманут с оплатой?» «Не знаю», – ответил он равнодушно. Я вспомнил, как в один из прошлых визитов он заговорил о статуе Христа на вершине горы в Рио-де-Жанейро. Его восхищало, что задумана она была в современном стиле, ар-деко, что похожа, благодаря размаху рук Иисуса, на самолет с вертикальным взлетом, и молнии по ней бьют неустанно.

Дождь зарядил на сутки. Он решил, что поедет – до дома рукой подать. В пакеты собрали его мокрые вещи. В отдельный пакет я положил ему кусок замороженного мяса, колбасу и банку с зеленым горошком. Он сказал, что не довезет – пусть продукты останутся. Но я уговорил его. Он посмотрелся в зеркало, молвил с улыбкой, что выглядит как бомж – в моих штанах и куртке, размера на три превышающие его. Я помолился, чтобы Господь даровал ему дорогу спокойную и безопасную.

Через полчаса он позвонил, сообщил, что идея с продуктами была плохой: пакеты порвались, одной рукой он, как мог, прижимал поклажу к телу, другой рулил. Перед железнодорожным переездом свалился с велосипеда, разбил колено, долго лежал в луже, потом собирал вещи в одну кучу. «Странно, – говорил он, – стояло много машин перед слагбаумом, но никто не вышел и не помог. Когда бы на самих путях грохнулся, наверное бы помогли. Нога болит, но если завтра пропущу работу, оштрафуют».

Мне было стыдно, что я не дал ему в дорогу новую вместительную спортивную сумму – я приготовил ее в подарок для внука.

Я боялся, но все равно молился, чтобы его, начинающего курьера, не обманули с вознаграждением за труд.

Тело

Обаяние прожитой жизни проступает сквозь осанку стареющего человека.

Надо начинать прощаться с телом.

В шесть лет я опрокинул на себя, на ногу, чайник с кипятком. Помню перепуганного отца. Больше страха, чем в тот раз, я не видел в его глазах никогда. Мой сын на моих глазах однажды плюхнулся и разбил лицо в кровь. Мне казалось, что было больно мне, но это было его тело.

А мое?..

Я рос угловатым пацаном – долговязым в эпоху ладных советских офицеров. Образцовыми считались физкультурники Дейнеки. Мне были противны мои длинные руки. Крестный шутил, поглядывая на мои большие ступни: «Надо бы их немного укоротить». Вот когда я научился улы-

баться заискивающе – когда слезы начинали душить меня. Тетя Оля, жена крестного, утешала, но все равно не решалась говорить, что длинные руки – это хорошо. Мы все вместе заблуждались. Теперь я вижу, какой красивой бывает худоба и какими пригожими бывают длинные жилистые руки. Но тогда я не верил, что нравлюсь таким моей девушке. Ох, этот имперский стиль акробатики и греко-римской борьбы!

Моя кожа на плечах пузырилась от солнечного ожога. От прививки, сделанной в армии, долго гноилось плечо. Так же долго, до самой смерти, у отца гноилась щека. Четырнадцать часов на учениях я простоял в холодной воде. Полдня всем нашим взводом мы тряслись в грузовике на морозе, обуздывая из последних сил свои переполненные мочевые пузыри. Когда попрыгали на землю, пар над опушкой леса стал подниматься как в бане. Я помню, что в молодости старался перед унитазом утихомиривать свой горный ручей. Когда выходил из туалета, стыдился целомудренного взгляда тестя, страдавшего от простатита. Теперь у меня, наверное, такой же взгляд.

Я записываю в ежедневнике на каждый четверг – стричь ногти. Я всю жизнь напрасно призывал себя выходить из ванной причесанным, а не с полотенцем на голове. Я умолял себя быть не психологическим человеком. Почему я вспоминаю, как в начальной школе не мог смириться с эффектом масштабирования, с тем, что на географической карте умещается целый город?

И еще я помню, что всегда мое тело любило рубашки-поло.

Ужин с дураком

«Ужин с дураком» звучит готически. В этом театре название пьесы перевели со всей возможной соборностью – «Ужин дураков». Режет ухо. После спектакля разговорились.

– Зачем понадобилась сцена с полуголым мужиком в ванной?

– Это же Франция! Буффонада, французский стиль. Когда я была во Франции...

– А не пошло ли это?

– Нет, во Франции это не пошло.

– Заметили странную ажитацию в зале? А актеры хотели быть святее французов.

– Все соскучились по прежней легкости.

– Теперь даже здесь – Россия и Запад. И опять – фи́га в кармане.

– Вот Запад обвиняют в лицемерии. И вообще во всех смертных грехах. А вам не приходило в голову, что, открывая Окна Овертона, Запад тем самым пытается чистить свинарник человеческой души? Не то же самое ли делал Достоевский в свое время? Запад говорит: человек ведь грязен, и мы обнажаем эту грязь.

– Восхищаясь ею?

– Человека можно раскрыть, только восхищаясь им. Как и ученика.

– Запад не любит Россию, как честолюбивый учитель не любит незаурядного ученика, всегда будет считать его неблагодарным.

– Есть за что: такой ученик нередко готов идти по головам. Кусает руку дающего. По правде сказать, мы не хотим знать свое место. Все знают свое место – Индия, Китай. Россия для Запада – выскочка, парвеню.

– Наше место – прикрывать Запад своим щитом от монголо-татарского нашествия? Как там у Пушкина – «И нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир»? И после этого еще оставаться благодарными? А нас не обязательно благодарить?

– Мы не такие уж простачки. Сами говорите про фи́гу в кармане.

– У нас-то фи́га в кармане, а у них камень за пазухой.

– Ох-ох-ох, какие мы несчастные!.. Вы же любите Томаса Манна?

– Да, и Джойса, и Фицджеральда, и Кафку, и Рильке. Всем сердцем. Поэтому не знаю, как мне быть. Знаю, что не гоже уверенному в своей правоте человеку стыдиться этой правоты, извиняться за нее.

– Держа фигу в кармане. Не будете же вы злорадствовать, когда Западу поплохее? А когда вдруг победите – сердобольничать?

– Победим или проиграем – посмотрим. Мне бы хотелось по-пушкински. Мне бы хотелось гореть каждым словом пушкинского «Клеветникам России». Гореть и верить.

– А еще недавно говорили, что для души надо читать не «Клеветникам России», а «Зимнюю дорогу».

Не пиши об этом

Не пиши об этом – о кресте, о священниках, о Божьей помощи, о верующих людях.

Верующие у тебя – умильные, жеманно православные. А в верующих молодых мужчинах, особенно знаменитых артистах, тебе чудится бабья мягкость, хотя и хорошая.

Батюшки у тебя – либо горький пьяница отец Олег, либо технократ-протоирей отец Александр из бывших спортсменов-борцов, кряжистый, неумолимый. Попросил прислать фотографию моего покойного брата, чтобы разместить ее на стенде в своем храме среди других живых и мертвых наркоманов – для общей молитвы. Я послал, отец Александр не ответил.

Крест ты видишь во всем, главным образом – в человеке. Вот твой сын-подросток с раскинутыми в стороны руками на фоне лучистой Невы с линией дымчатых дворцов на другом берегу – как крестик. Так получилось, что он действительно – твой крест. И еще – я мистически благовою перед натальным крестиком: порой, умываясь, сморкнувшись в раковину и едва успею прикрыть его ладонью, чтобы не заляпать. И смех и грех.

Помогал ли Господь? Помогал. Я удивлялся этому как ребенок. И забывал от радости о недавних зароках и клятвах. Но сколько ни молись, помогать Он не будет, если то, о чем ты просишь, в силах сделать самому.

Как лучше: отправиться к старцу и вдруг узнать в нем своего обидчика из школьной поры или, напротив, тогда унижаемого тобой? Вспомнит ли он тебя?

Проводы

У военкомата провожают мобилизованных. Трепещут флажки – трехцветные и алые – как пустые рукава. Солнечно и сыро. Золотая осень поневоле становится бурой. В этом преуспевае-ет клен, особенно макушкой. А две березки редуют, но весело поблескивают. Других деревьев поблизости нет. Школьники обступили учителя. Плачут. Одна девочка ревмя ревет, задыхается. Молодой учитель смущен и радостен, просит:

– Не плачьте. Идите на уроки.

Добрый, честный, талантливый, иногда добавляли – перехваленный.

Большинство мужчин уже тихо сидит в автобусе. Уже – там. Некоторые – еще с провожающими женщинами. Местная, военкоматовская дворняжка вдруг забилась под скамейку. Рослый парень в бордовой бейсболке выбрался из автобуса, подошел к собачонке, присел рядом на корточки, протянул руку. Та лизнула ее, но на свет не показалась. Парень потрепал собаку по морде, удивился:

– Ты-то чего горюешь? И чем я лучше тебя?

Выпрямился – и опять в автобус.

Другой конфузливо говорил поверх головы матери:

– Время пришло.

Она поняла по-своему, плечи ее задрожали.

Когда автобус с мобилизованными исчез за поворотом, руки у женщин опустились. Две-три обхватили ладонями головы, так и шли.

– Держать надо было, прятать.

- Да разве моего спрячешь?!
- Если любишь, держать надо.
- Я его и люблю, потому что он такой, какой надо.

Появился старичок с седыми колючками из ноздрей. Воскликнул:

- Что, сбагрили мужичков с кредитами?
- Что вы такое говорите? Как вам не стыдно?
- Стыдно? Идут – светятся.
- Это солнце.
- Знаю я ваше солнце.
- Вы всю жизнь злой.
- Злой? Из-за вас, из-за баб.

Старик ретировался – собака выбралась из-под скамейки и грузно побрела позади женщин.

Слышен был голос всхлипывающей матери:

- А мой сказал: «Мама, время пришло».

Семейные фото

Дворец бракосочетания на Английской набережной. Наше торжество. За нашими спинами два стула из четырех для родителей – пусты.

Я словно выбирал себе жену по примеру брата: у наших жен – невероятно красивые ноги, особенно икры. Сильные, играющие двуглавыми мышцами, как желваками. Икры-рыбы.

Отец закрыл глаза с мучением. Как точно выглядят люди на фотографиях! В жизни он был другим.

Отец и мать – юные. Мама прислонилась плечом к груди отца. Больше она так не прислонялась.

От фото с бабушкой Леной осталась половинка. На несохранившейся части была ее лучшая подруга Груня. Бабушка Лена сказала: «Разругались в пух и прах». Умерли с разрывом в один месяц. Бабушка Лена первой. Перед смертью успели помириться.

Таня и Людочка – жена и дочь моего дяди Вани, старшего брата отца. Мой дядя Ваня застрелился сразу после войны. Я его не застал. Таня с младенцем вернулись на родину. Там и сфотографировались через много лет для бабушки и дедушки. На обороте снимка – химическим карандашом: «Львов, 1957». Кто бы мог подумать – Львов, Западная Украина!

Похоронили бабу Лену. Свежий холмик, с самого начала – перекошенный крест. И я, тринадцатилетний подросток, тоже стою удрученный. Но думаю о хоккее. Я помню, что в тот момент думал о хоккее.

Отец, мама, Леша, баба Лена. Какая все-таки жертвенно нежная моя мама! С нежными девичьими ножками.

1940 год. Хоронят деда Алексея, председателя колхоза, еще даже не сорокалетнего мужчину. Мама, школьница, опять смотрит душевнее всех. Показалось, что мой Сашка чернявостью и носом похож на прадеда. А ведь Сашка – копия своей матери, моей жены.

Мои тетки с мужьями. Все четверо хохочут. Цветущая яблоня. Глянец того времени.

Я – длиннорукий, молодой, с маленькими детками. Опять – половина фотографии. Кто был на второй, хоть убей, не помню.

Я – семилетний. Как мне идут рубашки-поло!

Маленькие – сестра Галя и брат Леша. Я еще не родился. Появлюсь на свет, когда умрет сестра. Всю жизнь с неба молится Галя за нас.

Фото с женой на Новый год не получилось. Хотели сфотографироваться в формате мещанского счастья: жена сидит, муж стоит за ней, положив руку на ее плечо. Вышло: жена счастлива, я нависаю.

Фото алкоголика. Все алкоголики выглядят одинаково обреченно. Их при этом никому не жаль.

Зачем я надел кепку – при майке?

Я на берегу Адриатического моря. Чего ради там?

Старый развратник

Невдалеке от меня идут двое. Пикируются на фоне сумеречной осени.

– Ты кого-то ищешь? Ты всю дорогу зыркаешь по сторонам.

– Не шаркай по листьям – носки у туфель сотрешь.

– Ты превратился в невероятного развратника.

– А какой это – *невероятный* развратник?

– Невероятный развратник – это старый развратник.

– Я просто люблю осень. Сырой и темной.

– Вот в природе ничто не развратно, даже эти грязные голуби.

– А вот этот клен-сифилитик, колченогий, сгорбленный? Посмотри, какой развратный – презлый, гнилой, а все туда же.

– Куда?

– К березке. Вечно дрожат эти березки.

– Не наговаривай ни на клен, ни на березки. Это благородный клен. Старый и благородный.

– Мы с тобой вдвоем. А настоящий старый развратник – всегда один. Вот как этот сизарь.

– Да не обижай ты птиц!

– А я и не о птице говорю.

Затихли, выговорились. О ком это он, гм?

Зимний лес

Какое славное одиночество в зимнем лесу – тихом, глубоком! В отдалении вдоль одноколейки промерзшая бахрома сосен – как волчья шерсть с прозеленью. Но и здесь бывает добрый человек: от кормушки отлетел насытившийся снегирь. Злым людям здесь делать нечего: им здесь скучно, непролазно скучно.

Небо из колодца леса серебрится сквозь мозаичные ветки, затем лиловеет, как в слуховом окне, и ближе к поселку начинает пунцоветь во весь горизонт.

Почему так интересно смотреть на одинокого ходока? Потому что рядом с ним всегда дышит его неумолчный, плотный век. Иногда подбегает счастливый пес, чей хвост напоминает лисий, и удирает вновь. Бодро шагает завсегдатай лесов, вытоптал в снегу дорожку. Вот-вот – и шагнет в зарево заката. Я прислоняюсь к дереву и смотрю: выйдет он из пламени или нет? Отсюда не различить. Озираюсь: вот бы все ржавые трубы были такими живыми ржавыми, как эти высокие, готовые гудеть стволы!

Павел ГРИНБЕРГ

ВСЕСЛАБЫЙ СВЕТ

Сентябрь 2022 – февраль 2023

Редкие тени в час длинных теней

Моё место малоизвестно. Широко здешний асфальт.
Движения мало что меняют.
только я могу это проговорить; только я –
услышать.

Так бывает вечерами ччччччзрелого лета. Когда
Сам сгустившийся свет берётся напомнить:
с нами подвиг неприметности, и места, где
мы обитаем, – непроговорённые. И места,
где мы обитаем, – как же это похоже на
детство. Нет музыки проще.

Такой был ветер, дрожащее оконное стекло,
чуть искривляясь, путало всё, что за окном.
И мы задёргивали шторы.

На тумбе у нас всегда лежит раскрытая
книга – на том месте, где мы остановились.
Всеслабый свет сопровождает нас.
Мы думали, всё это спасено. Мы верно думали?

Одни движутся
другие дрожат
третьи смещаются плавно

Павел Гринберг родился в 1994 году в Ульяновске. Публиковался в онлайн-журнале «Топос», на порталах «Полутона» и «Новая карта русской литературы». Призёр Санкт-Петербургского поэтического конкурса «Критерии свободы» имени Иосифа Бродского (2014). Живёт в Санкт-Петербурге.

широк асфальт. мы рассказываем такие
истории, которые никто не запомнит.
прости, я не буду больше ни героем,
ни повествователем.

вспомни, как финский архитектор строит
дом, похожий на окружный лес.
вспомни, как ветер смахивает последние
листья, диктуя простор и листьев
незаметность – на общую свободу.

Тебе не быть стеной, ты пропускаешь.
Тыловишь бесцельную подлинность,
которая того не стоит.

я отрекаюсь от обособленного вещества своего голоса
я голос пускаю на ветер
я голос и ветер сплетаю
я продиктую, раздиктую
семнадцать слов, записанных сначала
сетку теневую дворовых футбольных ворот

Помнишь заповедник? Лошади ходят
свободно, их отпускают. Мы что-то ловим
там. Необязательность, устойчивую
лёгкость, похожую на безвременье.
Долгую тень

я тише
я тише избываю и делаю мало. ждать
солнечным днём кого-то на скейт-площадке.
Окружные пустыри застраиваются
и остаются пустырями
верны себе
полям верны
верны вернотекущим подземным рекам

всё это проживаемо – не прожито
единственновременно
остальное – дело фокуса и стиля

тогда себя не надо помнить
на том стоим
на том мерцаем
стена эта некрепка
стена эта никуда не денется

Куда ты, скейтер, возвращаешься?
На площадке ты так долго был один

и не шевелился.
Была светла погода, как теперь.
Там, где ты был, и там, куда возвращаешься,
теперь никого нет, и ты не спешишь.

вёдро несобранного света
светят ранние ягоды
озеро видит
ветер говорит куда смотреть
сплетающимся утром
мы тут живём своей свободой
своей большой усталостью
за ней с вёдрами ходим

предвосхищая неизмение
подчувствуя его
всё предыдущее было репетицией
теперь идёт запись альбома

заботливая изгородь
кормящаяся изморозь
не забеди дом
придавливая тающий на кровле лёд
крышу не прохуди
дай неподвижному тобой напиться

все одновременно выходят в эфир
и что-то стримят
никто не смотрит
но каждый прислушивается

«...которое есть сама любовь...
пока текут... светит пока...»

молчали с ним семь дней
прежде чем заговорил и почти сразу замолчал

обвалившиеся стены дома всегда буду носить с собой
по крайней мере
так будет казаться

а тем временем
напитанные памятью леса городские
набрасывая кольца на древесные стволы
не побеждая но молча уверенно

тем временем
омудрившие раны разбившихся окон
не зыркали больше а в камни
запомнили игры блестящих осколков

такие теперь в виды
с самого фундамента
благо дом был на детинной холмогоре

теперь все
гуляют вещают на ветер теперь насыщение дома

Larix decidua

там растёртая точность наполненности воздуха
наполненностью воздухом
это моя самая медленная прогулка
медленнее уличной пыли
медленнее двухэтажек старого квартала
естественно неспешен
равноясен окружающему естеству

унеси меня здесь ненадолго
на малость
на хвойный иголочный свет
продли и растушуй

всякий раз когда
всякий раз когда я осваивал новые места, они уже хранили
свою подзабытость, оставленный воздух

сады, на месте которых отец выстроил дом
подковы их, следы солдатских кирзачей
дом купца, где стыдливо цвела моя школа
его заброшенные службы
превращённый в городской парк сад соседа его
двадцать лет стоявший заброшенным, только после начавший
взрачивать пионеров

грунта молчаливость
трав молчаливость
липовая молчаливость
долгих дней красноречие

моей коже доверена их исчезнувшая
моим глазам
прах этих взоров этой слепоты
по праву плода отрасли адамовой
толкущего адамов корень
доверено их разыменовывать
разыменоваться следом

это в тебе говорит рефлекс времени,
его механическая память
сухая кора подрагивает на ветру

кого теперь обманываю я

на скольких языках ты говоришь

я на одном и то не очень ясно

это ничего ты сможешь поднабрать когда понадобится

*в действительности может не понадобится
не лишай меня бесцельности*

*ты сам себя таким макарон приковал
к опасному некомфортному пространству
теперь смотри
вот тебе пепел
повторяй за ним
вот тебе город-пепел не уходи остановись*

*я пробовал остановиться столько раз
но каждый до конца не верил в необходимость этого
просто ищу одно повторяющееся действие
в котором примирён
не помню какое
вперёд вернуться
высвободить пепел
мудрый парень говорил что отсутствие*

*мышления для него синонимично смерти
а для меня? я не уверен
но мудрый парень любил того кто утверждал обратное
и стремился освободиться
а я стремлюсь? не думаю
вот этот голос он не в ноту и он это знает*

покровная нежность
полупрозрачность
первого снега
полузаметность
полусерьёзность

Дом делает шаг назад
уступая зелени у дома
шаг назад в поклоне
твое естество делает шаг назад
в прошлый год
в прошлое воскресенье
в начинающиеся цветы
ты убеждён неназванная птица
зависла на полвзмаха у окна
сколько можно ждать свежую поросль
свистка начала
беззвучный синий самолёт
в плотнеющем воздухе
ты заметил его в последний момент
за птичьим гнездом
на полублетевшем дереве

Вот она на кленовом листе
со всеми его жизневодными прожилками,
со всеми токами

Вот она на бумажном листе
чистом, цвета бивня,
сцепленного с другим таким же бивнем

вот излучина воздушного тока
моментом зноя

вот запястья ток
медовая кривая

вот уже
предчаяние плёса

Постой на фишке, пока я перелезу через забор и баллончиком с той стороны на заборе начертаю. Но с той стороны никто не увидит, и река не увидит (забор ограждает необитаемую набережную). Да; но ускользящее от прочтения письмо нас немного продлит и всё вокруг на мгновение замедлит, на миллисекунду; мне не придумать миссию проще. Проще подскажу: перелезай, но баллончик не бери с собой; сей текст широк, пускай таким и будет.

Приходящий с того берега,
неотрывно на тот берег смотрящий.
(Нам отворили двери и возобновили их.)
Боль боли рождает ясность и тепло.
У реки живущий указывает:
река длится, начинается.

Atomos

жёлтые детали на одежде и в фонарном свете
скейт-парк – на лёгкость проживаемую – ведёт в
темноте к яхтенной косе
взгляд выскальзывает к панелькам на другом берегу –
как было в подстрочнике – безмолвно и очень быстро
–

Полотенце в дорогу обнаруженные плачи

1.
Непонятны нам лица друг друга с сегодняшнего мрака
постенаю себя в неурочное время по солнцу
белотканная квилль старика облекла нашу поцову красноту

кумошит нам нечистую юность, и добре, и тише
верно, мати нам общая, ты мне ровно велела рыдеть одному
верно, цвилишься с лесом по мне
мы стенаем себя, сподвигаясь друг другу навстречу
вершок за вершком

2.

Исчисли ячмень, прораставший к чистейшему лесу
числяй зорней квилью, ногтями крупницы отмеривай птичьей мерой
птенцовые горсти рассеивай в воздух, как старческой памяти холод
как поцы дряхлели, чтоб их стало можно развеять
исчисли барыш на всю хижу [.....]
птенцы здешней хижи, сожгите со всей возможной нежностью
сожгите слова незакрытые, звуки, не ставшие родными, тоже сожгите
рассыпьте на воздух остывшие [.....]
простите парящих родителей, вышедших в санки, в зимы истечение
старушечью кропкость их общую разом просыпьте, примерьте
родимица птичья, исчисли по хиге ячмень

3.

Снаряжается в путь слабый путник с утрищи
подают ему бабки рубаху грядущего первого снега
подают ему бабки надёжную трость, камышову тростинку
не забудут отдать ещё лодку для сна, что озёрною рыбой составлена
будит путника хига к порогу и в угол похаживать первую дорогу
будит квилью посель озираться да выхватить матину квиле бела воздуха
собирается в яловци странник [.....] по-птичьей певают
на мегу притаились яловци, топчутся в озере рыбьём
сложили для странника бабки записку, отдал чтоб родителю-матери
чернилами-слёзами сложена весть и положена в угол

4.

Я могу напоследок насытиться яркостью места
по мельчайшим крупницам, рассыпанным около хижи
по невидимым птицам, что замерли во воспитанье птенца
зацветает шафран у крыльца; пусть я больше не буду тебе, только дай
поприсутствовать рядом
пусть я больше не слажу украдкой на крышу – то ль зырить на реку, то ль
зыркнуть, не видно ль гостей,
этот двор всё равно начинание целого мира, которому имя почти я успел
досложить
и река образцом и чертами переднаправления
и холмы эти тёплые, эта вся животворящая тишь
о простите и дякую дуже; во всякой дороге
изъяснюсь я на том языке, что был вами заложен
видя яловци всяки, по ним ориентируясь в тропах
ориентиры неясные ваши поставлены там повсеместно

5.

Касаются крыльев склонявшихся руки, вертайте на воздух
решительный странник, прими белоткань полотенця
научены квилью родителей всякому путнику
собрались все бабки окрестны, убрусами главы повязаны
украшены сани холстом белотканым наглаженным
на мягкость пути по последнему снегу ещё полотенцю
полотенцю повяжем на деревце, яловец будет с тобою бредущим
устлали нам птичьи крылья дорогу, чтоб мы не кумошились горько
мы хвойною яловця веткой помашем на долго прощание
неси свою белую весть о названии дома названию леса и мега
держи полотенцю покрепче, но если вдруг чё, мы ещё принесём
иди же, ступая тоскою домашних холмов и реки по тебе, по твоим зали-
пущим шагам

6.

Как мягко окно, устелённое сем полотенцем
как тропообразно раскрыто, а ход утвердительно верен
садимся за стол, побеседуют слёзы [.....]
[.....] проросших на чистую память, на всё почитание птиц
по образу крыльев, питающих полые кости
наполни родительску хижу, где светло так цвилится наше начало
и в сердца нам квилъ положёна, и жисть на остаток звучания
пускай устроитель кормления нашего выйдет
до сладкого кушанья, нас оставляя друг с другом делиться
пускай по дороге на мег он погладит родимый порог
пускай он безмолвно прошепчет свой трепет порогу густому
а мы перешагивать станем наш добрый и нежный порог
хороший порог драгоценный, о, зёрна начальных шагов прорастают
на наше топориком тёсано слово богатое
почти-называние детских слогов, стоя рядышком с милым порогом

МАРТ

Рассказ

Такая весна была, что, кажется, не только лыжи, но лыжную палку в серый снег воткни, и она за ночь зацветет, зазеленеет, возродится живым бамбуком...

Я видел, как растет бамбук. Давно, в Сухуми. Мне было тогда пять лет. Может быть, даже четыре. Еще там, в Сухуми, была настоящая, большая пальма на площади, памятник погибшим в войну от бомбы, и невдалеке от него очередь за чебуреками. И море, по которому бежали маленькие с белым гребнем волны, отец называл их барашками. Зеленый, живой бамбук на пути к берегу был очень яркий и очень веселый.

Однако весна, и мы без царей в голове, и никакими не воспоминаниями раннего детства полны были сердца наши.

Выйдя с Костей из школы, мы брели куда попало, мимо школьного забора, детской площадки, помойки, новой семнадцатизэтажной башни с парикмахерской и сберкассой на первом этаже.

Мне было как-то все нипочем и не до чего: я устал в школе, устал от школы, не от наук, конечно, а от суеты, шума и школьной бестолочи, и шел отрешенно, а Костя в то время был влюблен и как-то уж очень переполнен своими чувствами, и не мог молчать.

Все, что он мне, пока мы шли, говорил о своей любви, я слушал невнимательно, с сочувствием, но более – с осуждением. Мне жаль было моего друга.

Дело в том, что в начальных классах все влюбляются непременно в отличниц, а это хоть и понятно, но совершенно неправильно, но когда такая беда простирается до *зрелого возраста*, до старших классов, это становится уже совсем смешно.

И эта самая Ирка, от которой Костя стал сам не свой, была отличница, и в нее едва не с первого класса была влюблена половина наших парней, иногда даже по-настоящему, так что доходило даже до драк, а она ко всем ним была вполне равнодушна, и теплыми, а иногда даже и зимними вечерами гуляла вдоль и возле своего длинного девятиэтажного дома под ручку с мамой. Так что в Костиной влюбленности виделось мне что-то постыдно стадное и ненужное.

– Я ей письмо написал...

– Зачем?

(Взбредет же в голову! 9-й класс все-таки, взрослый человек. Стыдно письма писать.)

Некоторое время мы шли по мокрому снегу молча.

– Я ей кровью письмо написал, – сказал Костя тихо, но твердо.

Я даже остановился, пытаюсь представить себе и осмыслить, как это.

– Ты руку резал?

Иван Макаров родился в 1957 году в Москве. Окончил химико-технологический институт и заочно литинститут им. Горького. Работал инженером, слесарем, дворником, сторожем и т.д. Публиковался в журналах и альманахах «Новый мир», «Согласие», «Знамя», «Юность», «Поззия», «День поэзии», «Плавучий мост», «Крещатик», «Топос» и др. В 2006 году вышла книга стихов. Живет в Калужской области. В «Волге» публикуется с 2017 года.

– Нет, – так же тихо, просто и естественно ответил Костя, – у меня из носу кровь шла, и я этой кровью написал.

У него вообще часто носом кровь шла, из-за чего его часто отпускали с уроков.

Неведомая сила удержала тогда мой грешный, празднословный и лукавый язык, и я ничего не сказал тогда ему ни злого, ни оскорбительного, ни обидного. Зато в душе, конечно, от души смеялся. В раннем возрасте мы все жестоки. А я был особенно нетерпим... Впрочем, с Костей мы очень дружили.

Ближе к вечеру поехали гулять. «В город».

Сели в автобус, вышли, пересели в другой. Доехали до начала Пресни. Беспечно и бесцельно дошли почти до Ваганькова. Серые пятиэтажки, кажется, самые серые на свете, и как-то очень уютно поставленные. Теперь, наверно, они уже снесены...Трамвайный круг...

Куда дальше пойти? Через мост, на Беговую, или завернуть на кладбище?

Когда днем Костя сказал мне, что писал письмо кровью, а я подумал, что он руку резал, мне как-то невольно вспомнился поэт, резавший себе ладонь, и написавший кровью свои последние стихи.

Пошли на кладбище.

Постояли у славных могил. Большой камень у Есенина, маленький у Бениславской.

Вина не пили. Не было.

А потом что же?

Там, у входа на кладбище, перед конторой стояли железные тележки-каталки длиной в человеческий рост, выкрашенные черным лаком, для доставки усопших к могилам, и мы с Костей стали по очереди катать друг друга на этих каталках сначала в сидячем, а потом и в лежащем положении. Лежа на каталке для гробов можно было видеть небо. Серое. Начинающее темнеть.

Довольно долго катали. Школьный возраст. 9-й класс.

Вернувшись домой «из города», то есть в наш относительно новостройный микрорайон, мы еще долго не могли разойтись по домам: дрались (фехтовали) сухими осыпанными новогодними елками, благо их много было набросано у той самой помойки возле детской площадки.

Михаил БАРУ

«НЕ ИМЕЮЩИЙ ИЗВЕСТНОСТИ»

Продолжение. Начало см. Волга. 2023. № 3-4

Прежде чем рассказывать, собственно, о жизни города в восемнадцатом веке, нужно сказать, что в этом веке он, не сходя с места, побывал в четырех губерниях. В семьсот восьмом году при разделении России на восемь губерний Порхов по указу Петра Первого был приписан к Ингерманландской губернии, которую через два года переименовали в Санкт-Петербургскую. Еще через девять лет по новому царскому указу Порхов стал городом Новгородской провинции Санкт-Петербургской губернии и в семьсот двадцать седьмом году уже по указу Екатерины Первой отошел вместе с Новгородской провинцией к новообразованной Новгородской губернии. При этом Порхов потерял свой уезд, который ему вернули лишь в семьсот семьдесят третьем году по указу Екатерины Второй. Для того чтобы вернуть уезд, новгородский губернатор Яков Ефимович Сиверс обратился в Сенат с представлением о разрешении ему «отчислить пристойное количество погостов из Новгородского уезда» к Порхову. Сенат согласился, императрица утвердила сенатский доклад, и в соответствии с докладом к Порхову «который прежде никакого уезда не имел» были причислены из Шелонской пятины его же собственное порховское околородье и еще ряд погостов, в которых проживало на тот момент чуть более тридцати одной тысячи жителей.

На этом странствия Порхова не кончились. Через три года Порхов отделили от Новгородской губернии и приписали ко вновь образованной Псковской. В семьсот семьдесят седьмом году Порхов назначен уездным городом Псковского наместничества, которое было образовано по указу Екатерины Второй из... Псковской губернии. Наконец, в семьсот девяносто шестом году Псковское наместничество снова было превращено в Псковскую губернию, и Порхов остался в ней уездным городом на ближайшие сто с лишним лет.

Теперь о жизни, которой жил город в восемнадцатом веке. Первая половина столетия была для Порхова... продолжением второй половины столетия семнадцатого. Дворцов и соборов никто не строил, заводов и фабрик никто не заводил. Поскольку заводов и фабрик не было, то и рабочих не имелось. Придется пересчитать ремесленников, которых... кот наплакал. В конце первой четверти восемнадцатого века в Порхове проживало пять портных, один серебряник, один медник, четыре кузнеца, три кожевника, четыре сапожника, один крашенинник и один овчинник. Семь семей занимались рыболовством и в них рыбу ловили все, включая кошек и собак. Еще три семьи были на все руки мастера и промышляли кожевным, овчинным, сапожным, рукавичным, бочарным и колесным производствами. Немного, что и говорить. К примеру, в Торопце, уездном городе той же Новгородской губернии, при сопоставимой численности населения, в то же самое время одних кожевников было тридцать шесть, не говоря об извозчиках, кафельщиках, слесарях и промышляющих «письмом», которых в Порхове и вовсе не было. Городская торговля была родной сестрой порховского промышленного производства в том смысле, что не торопилась развиваться. Да и как ей развиваться, когда в городе не проходило ни одной ярмарки. Маленький Порхов посреди нового времени жил вполне средневековой жизнью. Он действительно был маленький – в семьсот сороковом году он состоял всего из двухсот двадцати пяти дворов. В общей сложности в городе проживало немногим более двух тысяч человек, при том, что средняя семья состояла из шести человек. Может, их и было бы больше, но в семьсот десятом году по Порхову прошлось моровое поветрие, опустошившее перед этим Гдов и Песков. Из общего числа горожан почти девятьсот – посадские. Еще восемьсот шестьдесят семь – крестьяне. Пятьдесят семь дворян и шестьдесят четыре священнослужителя²⁵. Порхов был молод – две третьих его населения составляли дети разных возрастов. У небольшого городка были под стать ему небольшие и совсем

маленькие монастыри – в Рождественском обитало девять монахов и игуменя, а в Спасском – иеромонах, два монаха и два работника из крестьян. Успенский женский монастырь был так мал и так захудал, что его и вовсе упразднили при Екатерине Второй в семьсот шестьдесят четвертом году.

Все же к концу первой половины восемнадцатого века порховская промышленность... нет, она так и не появилась, но порховская торговля, пусть и не вся, а только торговля зерном, пусть и не расцвела, но пошла в рост, да так пошла, что девяносто процентов зерновых культур, если судить по псковским таможенным книгам, продававшихся и покупавшихся во Пскове, происходили из порховских вотчин. Привозили порховичи на продажу рожь, пшеницу, правда, раз в пять меньше, чем рожь, привозили овес, ячмень, гречку, садовый хмель, горох и конопляное семя.

Кроме зерна торговали тогда, как и сейчас, тем, чем у нас в России торговали всегда – лесом. В середине восемнадцатого века в Псковской губернии в продаже большей частью был сосновый и еловый лес. Тогда, как и сейчас, уходил этот лес в основном за границу. Уходил через Нарву. Торговля эта привела, однако, к конфликту между порховскими лесоторговцами и порховскими помещиками, владевшими обширными лесными угодьями. Помещикам посредники в лице порховских купцов были без надобности – они хотели продавать свой лес непосредственно нарвским купцам и их комиссионерам. Порховские лесоторговцы, а вместе с ними и купцы других городов Псковской губернии, при таком раскладе оставались... не сидели сложа руки, а накатали письмо в правительство и в этом письме просили запретить скупку леса нарвским купцам минуя местных посредников. Они еще и в Уложенную комиссию отправили наказ, в котором жаловались на помещиков, запрещающих вблизи городов своим и посторонним крестьянам рубить лес. Мало того, что это приводит к дефициту и дороговизне леса, так еще и «через то граждане претерпевают в строении домов и в заготовлении дров немалую нужду». Вот с этого момента мы можем говорить о зарождении порховской промышленности, пусть и в микроскопическом масштабе. Две порховские помещицы – Бороздина и Култашева завели в своих имениях пильные мельницы, которые, конечно же, еще не настоящие заводы с управляющими, мастерами, рабочими и квартальными премиями, но мы будем их называть заводами – с чего-то же нужно начинать. Оба этих завода на местный рынок ни одной доски не поставляли – все уходило на экспорт.

В семьсот шестьдесят девятом году правительство, желая развить текстильную промышленность, прислало в городской магистрат полтора десятка билетов на годовое разрешение завести станы для производства тканей, получаемых из-за границы. Дело в том, что порховичи ткали и ткали себе по домам и налогов платить не собирались, а по закону «при первоначальном заведении фабрик... за нужно почтено было, чтоб кроме оны, никто... тем же рукоделием не промышленлял». Правительство очень хотело увеличить, выражаясь современным языком, свою налоговую базу, а порховичи... но их мнением на этот счет правительство не интересовалось. Билеты желающим раздавал воевода. Между прочим, это был последний порховский воевода – коллежский асессор Вараксин. При нем в крепости еще находились воеводская канцелярия, тюрьма, винные и соляные амбары и несколько домов, занимаемых чиновниками.

Почти в то же самое время, когда порховский воевода пытался раздать билеты на разрешение заводить дома ткацкие станы, порховичи просили власти учредить в городе ярмарки и торговые дни, которых «ни единого в год не бывает». Правду говоря, порховичам вся эта текстильная промышленность... В описываемое время лишь около пяти процентов горожан занималось каким-либо ремеслом – остальные девяносто пять с лишним процентов или сто одиннадцать семей числились хлебопашцами. Из этих ста одиннадцати семей восемьдесят семь только им и занимались. Еще двадцать две семьи сочетали его с торговлей, и только две семьи с ремеслом. Какая уж тут текстильная промышленность и вообще промышленность.

Немного городской хроники. В семьсот семьдесят втором в Порхове случился большой пожар, в результате которого полностью выгорело сто сорок три двора. Каменные дома не выгорели, потому как их в городе еще не построили. Фабрик и заводов по-прежнему никто не

забил. Зато возвели на народные пожертвования каменный собор во имя Николая Чудотворца взамен старой ветхой деревянной церкви, которую Новгородский митрополит распорядился за шесть лет до того разломать. Обошлось строительство в семь тысяч рублей.

Немного уездной хроники. В семьсот семьдесят шестом году взбунтовались крестьяне самого богатого порховского помещика графа Матвея Апраксина в имении Зарабочье. Взбунтовалось не два и не десять человек, а три тысячи. Графские крепостные отказались выходить на барщину и отправили ходоков в столицу с жалобой на невыносимые поборы, барщину почти во все дни недели и издевательства со стороны своего помещика. Тех, кто все это отказывался терпеть, их сиятельство отдавал в солдаты или отправлял в каторжные работы. Кончилось тем, что мужики не просто отказались выходить на барщину, а ушли в лес, оставив в избах жен и детей. В Зарабочье прибыл порховский исправник и вслед за ним прибыла воинская команда для наведения порядка. Порядок навести не удалось, а бунт вместо того, чтобы прекратиться, перекинулся точно пожар на соседнее имение. Дело дошло до императрицы, и она приказала Псковскому наместнику генерал-поручику Якову Сиверсу «Команду воинскую, находящуюся в деревне графа Матвея Апраксина, Псковского наместничества Порховского уезда лежащей, прикажите из оной тотчас вывести; по содержанию же записи, при сем вложенной, препоручите уездному суду в точности исследовать и вас уведомить для немедленного мне донесения». Порховский уездный суд провел расследование, результаты его были доложены царице и, как она писала Сиверсу, «оказалось, что деревни графа Матвея Апраксина, в том уезде состоящие, подвержены были крайним жестокостям и отягощены необычайными и самыми разорительными поборами. В отвращение того Мы за благо и нужно находим, чтоб верхний земский суд Псковского наместничества к деревням помянутого графа Апраксина определил опекунов, которые, обложат те деревни по состоянию их против околичных, другими помещиками владеемых, управляли бы оными добропорядочно на основании Учреждения об опеках и, собирая положенные доходы, исправно казенные в казну, а помещичьи графу Апраксину отдавали; и вследствие того дать указы в те деревни, дабы оные в послушании определяемым опекунам и под их распоряжением состояли». Принятые меры... не помогли, и тогда Екатерина Алексеевна приказала «Для удержания в должном повиновении крестьян в деревнях графа Матвея Апраксина, состоящих в Порховском уезде, требуемую вами воинскую команду прикажите ввести и расположить в тех деревнях, подтвердя начальнику ея, чтоб она отнюдь по ним не стреляла и никакого вреда, и разорения им не делала, но только осталась в жилищах их до тех пор, покуда сии крестьяне обратятся к надлежащему послушанию». Часть крестьян все же не хотела обращаться к надлежащему послушанию, и тогда царица, потеряв терпение, написала Сиверсу: «...а между тем ничто вам не препятствует противящихся предать суду уездному, не употребляя, однако ж, мер военных».

В мае семьсот восьмидесятого года через Порхов в направлении Могилева проехала Екатерина Вторая. Не просто так проехала, как проезжают иные цари по свежееуложенному асфальту перерезать какую-нибудь красную ленточку, выступить перед собранными по этому случаю на митинге обывателями, отобедать чем бог послал у городничего и укатить дальше, а остановилась, ознакомилась с делами и... Впрочем, вот что записано об этом событии в документе под названием «Дневная записка путешествия Её Императорского Величества через Псков и Полоцк в Могилёв, а оттуда обратно через Смоленск и Новгород»: «Онаго города присутствующие, также дворянство и купечество жалованы были к руке, а между тем собраны были по всем присутственным местам сведения о каждом особенно и о всех вообще, о успехах в судопроизводстве, о колодниках, о нерешенных делах, об училищах, больницах, о торге, промыслах, фабриках, заводах, о числе всякого звания жителей, о доходах, недоимках, также об общих пользах и нуждах этого города. По освидетельствовании присутственных мест оказалось, что по учреждению о губерниях, все места для управления находятся в действии, снабжены установленным числом заседателей и приказных служителей. Дела в срочное время не всегда очищаются за справками. Нерешенных дел сорок три, в том числе уголовных два. Колодников семь. Денег на лицо от разных сборов две тысячи двести сорок рублей. Недоимок за прежние годы одиннадцать тысяч триста девяносто четыре рубля; оброчные статьи на откуп за восемьдесят девять рублей. Жителей всякого

звания тридцать тысяч двести шестьдесят четыре. Церквей в городе две, в уезде сорок четыре; монастырей три. Купечество торгует только в своем городе всяким лавочным товаром на десять тысяч рублей. Под призрением опеки дворян шесть, под призрением сиротского суда мещанских детей три. Общие нужды состоят в том, что, после пожара, не в силах строиться по плану. Ея Императорское величество соизволила пожаловать сему городу: на построение ста дворов две тысячи рублей; на училище сто рублей; на богадельню сто рублей, трем монастырям на каждый, по две тысячи рублей, да на построение соборной церкви в три года семь тысяч рублей. В том городе был обеденный стол, после которого были допущены к руке того уезда дамы, и потом, в 3 часу пополудни, изволила отправиться далее в путь...».

Нельзя сказать, что Порхов на следующий день после визита Екатерины Великой зажил новой жизнью, но в ноябре следующего года был подтвержден новый план Порхова, и город по нему начал строиться. Попробуй не начини, если императрица дала на построение ста дворов две тысячи рублей. На полях этого плана заметим, что в Порхове к тому времени было десятка три улиц разной длины и переулков. Улицы, а тем более переулки, названий не имели. Названием наградили только одну улицу – Дворянскую. Впрочем, и эта улица была не столько улицей, сколько набережной торговой стороны города. Здесь же, в торговой части города находился и дом городничего. В этой же части города как раз перед визитом императрицы был построен палатой дворец со службами и городской магистрат.

Через три года после визита на подаренные семь тысяч рублей начали строить посреди города Троицкую соборную церковь и за три года ее построили. Раз уж зашла речь о церкви, то нельзя не сказать, что через семь лет после первого визита императрица снова проехала через Порхов по пути в Киев²⁶ и подарила городу серебряное позолоченное блюдо. В середине блюда был герб Псковской губернии и вокруг него надпись: «Осенением небес, учреждением Вторых Екатерины», а по краям вычеканена другая надпись: «Всемилоушейшей Государыни Императрицы Екатерины Вторых премудрых матери отечества во время Ее Величества благоволительного чрез Псковское наместничество шествия на сем поднесено от Псковского градского общества хлеб и соль в 1787 году». Блюдо это хранилось в соборной церкви до девятисот двадцать второго года, а потом... пропало. Через тридцать восемь лет пропала и сама церковь.

Между утверждением плана строительства Порхова и началом постройки соборной церкви в семьсот восемьдесят втором году утвердили герб Порхова «в голубом поле древний, много потерпевший от осад замок, обновляемый починкою, что означает возрастающее ныне благосостояние оного». Что касается «обновляемого починкою», то можно было бы вспомнить, как за полтора десятка лет до утверждения герба полицейское управление Порхова завело дело «о разломке воротной стены», но кто старое помянет...

Про подаренные монастырям и городской богадельне деньги говорить смысла нет, а вот про то, как порховские власти распорядились сотней рублей, которые Екатерина Вторая дала на организацию малого народного училища, стоит рассказать, но поскольку его организовали лишь через десять лет после ее визита, мы сначала скажем несколько слов о торговле и промышленности, которые стали развиваться в Порхове и уезде в последнее двадцатилетие восемнадцатого века.

Между всеми этими пожертвованиями и торговлей вкупе с промышленностью втиснем подписанный четвертого августа семьсот восемьдесят четвертого года императрицей указ об учреждении в Порхове почты и новое каменное здание присутственных мест, начатое постройкой в этом же году.

На мелкой лавочной торговле и общепите задерживаться не будем – ничем особенным они не выделялись. Не писать же, в конце концов, про пять питейных домов, питейную контору и пивоварню, которые никто и не думал не заводить – они к тому времени сами собой завелись. По поводу торговли оптовой «Новый и полный географический словарь Российского государства», изданный в семьсот восемьдесят восьмом году, сообщал, что «Купечество сего города, коего здесь до 400 душ мужеска полу числится, торгует льном и хлебом, отправляя оной рекою Шелонью в С. Петербург». Если же говорить о промышленности, то первыми промышленниками в городе и уезде были вовсе не купцы, а дворяне. В Порхове в семьсот восемьдесят четвертом году

работали две фабрики – чулочная и парусинная, принадлежавшие помещице порховского уезда генерал-поручице Бороздиной. Ей же принадлежали винокуренный и стеклянный заводы. Еще одним винокуренным заводом и еще одной парусинной фабрикой владел полковник Кожин²⁷. По одному винокуренному заводу принадлежало помещикам Щербинину, гвардии поручику Корсакову и генерал-майору князю Мещерскому.

Парусинная фабрика Кожина, находившаяся в уезде, уже была настоящей фабрикой, а не кустарной мастерской. За год до конца восемнадцатого века на ней работало двадцать пять человек, среди которых были управляющий, мастера, подмастерья, ученики и неквалифицированные подсобные рабочие. Обслуживали они двадцать пять ткацких станов и работали на собственном сырье – пеньке и льне. Перерабатывали довольно большие количества сырья. К примеру, за девяносто девять лет на фабрике переработали без малого двадцать тонн пеньки и льна. Кроме собственно парусины, производили равендук и фламандское полотно. Парусинный холст отправляли на продажу в Санкт-Петербург, а льняной равендук разного качества, который представлял собой ту же самую парусину, только тонкую, продавали в Порхове и в Псковской губернии. Из него шили одежду, шторы и занавески. Там же продавали и фламандское полотно, которое, как и равендук, было разновидностью парусинного холста. По тем временам фабрика Кожина была в масштабе Псковской губернии довольно крупной. В среднем за год продавали двести двадцать пять штук полотна каждого вида. Штука полотна представляла собой ленту шириной от сорока до шестидесяти сантиметров и длиной в сорок восемь локтей или около двадцати трех метров. Выходит, что в год двадцать пять крепостных рабочих производили немногим более пяти километров каждого вида полотна.

Занимались в Порхове и выделкой кож. В семьсот восемьдесят девятом году в городе работал кожевенный завод купца Гленцера и еще один... везде успевающей генерал-поручицы Бороздиной. Конкуренцию этим заводам составляли крестьяне Порховского уезда, тоже занимавшиеся выделкой кож. Любящие жаловаться в вышестоящие инстанции псковские купцы в очередном своем наказе в Уложенную комиссию писали: «не меньше ж того по уездам же имеют крестьянство и кожевенных промышленных заводов и, переделывая во оных накупленные ими кожи, производят в продажу, и сверх того, переделав же оные в обувь и рукавицы, развозят по уездам и продают же жительствующим в деревнях и около озер рыбным ловцам и прочим обывателем, и тем псковскому купечеству, имеющим таковые промыслы, в торгах и промыслах причиняют немалый подрыв и помешательство».

Раз уж зашла речь о «рыбных ловцах», то скажем и о порховской рыбной торговле. Рыба в Порхове была самой дорогой в губернии и мелкой. Тогда она делилась на четыре категории – живую, сонную, вяленую и соленую. Фунт живых шук стоил пятак, а сонных или соленых, или вяленых на полкопейки дешевле. Дороже на копейку стоил фунт живых лещей, дороже на две – живых сомов, дешевле фунта щуки на полкопейки – фунт окуней, а ерши с уклеями продавались и вовсе гарнцами, то есть четвертями ведра, и стоили по две копейки за эту самую четверть. Самым дорогим был угорь, стоивший целых двенадцать копеек за фунт.

Пожалуй, хватит о торговле и промышленности последней четверти восемнадцатого века. Заметим только, что калачи, продававшиеся в городе, были одними из лучших в губернии, а выбор мяса был богаче, чем в самом Пскове. В Порхов лучшие сорта говядины привозили из Лифляндии.

Перед тем как приступить к рассказу о малом народном училище, нужно хотя бы несколько слов сказать о пожаре, случившемся в семьсот девяносто втором году. Ближе к вечеру восемнадцатого апреля загорелся деревянный дом купца Агеева. Дул сильный ветер, и через четверть часа Порхов запылал в разных местах. Сгорело двадцать девять каменных домов, сто тридцать три деревянных, восемнадцать лавок, три кельи девичьего монастыря, две колокольни, четыре харчевни, шесть казенных соляных амбаров, два питейных дома, городской магистрат, сиротский и словесный суды с их делами, архивами и деньгами, которых было две тысячи с лишним рублей, и архив уездного суда. Десять человек задохнулись от дыма и трое обгорели до смерти. Потери, конечно, ужасные, но нельзя не заметить, что среди сгоревших домов есть почти

три десятка каменных. Двадцать лет назад, когда Порхов в очередной раз горел, каменные дома сгореть не могли – их просто не было.

Наконец, о малом народном училище, которое было открыто в конце сентября семьсот девяностого года. Было оно двухклассным, а первым учителем в нем был Иван Соколов, перед этим три года отработавший в точно таком же малом народном училище в соседнем городе Остров. Соколов окончил целых два учебных заведения – Псковскую духовную семинарию и четырехклассное главное народное училище и был знаком даже с основами педагогики, которые тогда назывались «способ учения». Попросил он перевода из Острова в Порхов не потому, что имел охоту к перемене мест, а потому, что жалованье ему городские власти задерживали, а когда не задерживали, давали меньше, чем обещали. Дрова и свечи, положенные учителю от казны, приходилось буквально выпрашивать, на содержание училища Городская Дума деньги давала, мягко говоря, неохотно. Власти наняли для двух классов одного учителя вместо двух, а в Порхове... было то же самое или почти то же самое, что и в Острове или в Опочке. Тем не менее Соколов в Порхове три года проработал, а через год после открытия училища ему была объявлена благодарность за хорошую работу.

Собственно, это почти все о Порхове и уезде в восемнадцатом веке, но если не сказать, что к концу века в городе были две каменных и одна деревянная церковь, двадцать четыре лавки, четыре кузницы с четырьмя кузнецами, два кожевенных завода, два монаха, пять портных, три кожевника-одинокки, один серебряник, четыре сапожника, пятьдесят три чиновника, восемьсот двенадцать купцов с купчихами, семьсот мещан с мещанками, восемнадцать священников, двадцать девять отставных военных, а вообще всех жителей одна тысяча семьсот тридцать два, да в уезде проживали сто девять дворян и двадцать шесть дворянок и почти столько же владели поместьями, но не проживали, а к ним четырнадцать иностранцев, чулочная фабрика и две парусинных, тридцать три с половиной тысячи помещичьих крестьян, тридцать три дворовых и две тысячи триста экономических, пятьдесят четыре однодворца, четыреста шестьдесят шесть сельских батюшек, три с лишним сотни ямщиков, два стеклянных завода, один монастырь, сто тридцать три водяных мельницы, сто тридцать девять кузниц, чуть больше сотни раскольников, две лавки, три цыганки и десять цыган, то рассказ, конечно, будет неполным.

В июне тысяча восемьсот третьего года Порхов проездом посетил академик Василий Севергин. О городе он сообщает в своих «Записках путешествия по западным провинциям Российского государства» следующее: «Порхов, изрядный город, славящийся съездами дворянства, которые здесь время от времени бывают, лежит на реке Шелони. В нем не много каменных строений, а большею частью они деревянные. По левую руку за рекою Шелонь находится разваливающаяся старинная, высокая и круглая стена с башнями, составленная из серого плитного известняка, внутри коей находятся винные анбары и огороды. Жителей считается здесь около 1052 купцов и мещан, а всего мужского и женского пола 2481. Главный торг производится льном. Также выходит отсюда много овса в С. Петербург. Городных растений у охотников довольно. В прочем купечество бедное, и большая часть промышленности засеванием полей им принадлежащих, кои и доставляют изобильную жатву; ибо вообще примечается, что Порховский уезд составляет страну хлебородную, и хотя крупитчатой муки мало, но в замену того тем более пшеничной. Прочих съестных припасов в некоторые времена получить трудно, а особливо мяса в пост, и рыбы во всякое время, ибо в реке Шелони оной почти нет. Вообще же ржи четверть стоит здесь 8 рублей, круп гречневых четверть 11 рублей 60 коп; сена пуд 35 копеек; мяса черкасского лучшего фунт 8 копеек. Так же и ремесленников почти нет, исключая тех, кои принадлежат особенно живущим здесь помещикам.

Я прехожу молчанием о бывающих здесь в зимнее время клубах, на кои съезжается много дворянства, и о веселых собраниях хворых особ, или такими себя иногда воображающих, кои приезжают сюда лечиться из разных и даже довольно отдаленных мест, ибо сие к предмету моему не принадлежит; а упомяну токмо, что от усердия многочисленных особ, сюда съезжающихся ожидать можно, что они не преминут способствовать к приведению здешняго народного училища в цветущее состояние. Ныне нашел я в оном 30 учеников, да и то детей бедных токмо родителей».

Что касается малого народного училища, то до цветущего состояния ему было еще очень далеко. В год открытия в нем училось двадцать пять мальчиков и ни одной девочки, а через тринадцать лет количество учеников выросло всего на семь, но прогресс был – в восемьсот третьем году вместе с тремя десятками мальчиков училась девочка. В момент расцвета училища, который случился в семьсот девяносто третьем году, в нем обучалось сорок три ученика. Правда, девочек среди них не было. Вообще, к восемьсот восьмому году, за восемнадцать лет его существования в порховском малом народном училище обучилось шестьсот тридцать два человека, и среди них двадцать шесть девочек, что составляет около четырех процентов. Такая вот арифметика...

В Отечественную войну двенадцатого года боевых действий в Порхове и уезде не велось. Порховский краевед Александр Петрович Анисимов в Псковских губернских ведомостях даже писал о том, что «В Отечественную войну 1812 года Порхов не представлял ничего замечательного по истории. Известно только, что край Псковский был защищаем от нашествия врагов генерал-лейтенантом, графом Петром Христиановичем Витгенштейном, командовавшим регулярными и земскими войсками Псковской губернии противу фельдмаршалов французских: Удинота, Магданальда, Гувиона, Сент-Сира и Виктора. Портрет графа Витгенштейна, писанный масляными красками, хорошей работы, и графский герб поныне сохраняются в Порховской Думе. До пожара, бывшего в 1858 году, хранился в думе и поясной гипсовый бюст его, но в этот пожар, опустошивший половину города, утрачен».

Это, конечно, обидно. Да, боев не было, но Порхов в стороне от Отечественной войны не остался. Еще в начале февраля двенадцатого года в городе был организован временный госпиталь на сто коек, но когда началась война, то счет больным и раненым из корпуса Витгенштейна, защищавшего от французов дорогу на Санкт-Петербург, пошел на многие сотни и тысячи. Не было в Порхове дома, в котором не помещались бы раненые. Псковский гражданский губернатор князь Шаховской сообщал Витгенштейну, что из порховского госпиталя ему в корпус отправлено девяносто выздоровевших. К восемьсот тринадцатому году к своим больным и раненым прибавились французские. В Порхове их находилось около тысячи семисот. Всех этих людей нужно было не только лечить, но и кормить. За хлеб, взятый из сельских магазинов и превращенный в сухари, а взято его было по двенадцать с половиной пудов с души или пятьдесят восемь тысяч пудов всего, порховское дворянство не взяло ни копейки денег, ни даже квитанций. Хлебом дело не ограничилось. Порхов и уезд за два года войны поставили для действующей армии около тысячи подвод, столько же голов рогатого скота, две с лишним тысячи тулупов, семьдесят девять артиллерийских, двадцать кавалерийских и шестнадцать строевых лошадей, а еще тысячи пудов ржаной муки, разных круп и овса. Только тех, кто был отправлен в армию с этими запасами, было убито и пропало без вести девяносто семь человек, не говоря о лошадях, которых потеряли более четырехсот.

О порховичах, принимавших участие в войне на полях сражений, долго рассказывать не будем, упомянем только офицеров, про которых доподлинно известно, что они принимали участие в Бородинском сражении – унтер-офицера Степана Андреевича Андреева, происходившего из помещичьих крестьян порховского уезда, уроженца деревни Тягуше Порховского уезда генерал-майора Петра Гавриловича Лихачева, кавалера орденов Св. Георгия 4-го и 3-го классов, Св. Анны, Св. Владимира, Св. Иоанна Иерусалимского, порховского помещика генерал-майора Александра Александровича Баранова, кавалера орденов Св. Анны и Св. Владимира, прусского *Pour le Mérite* за услуги при занятии Парижа, уроженца села Костыжицы Порховского уезда генерал-майора Николая Михайловича Бороздина²⁸, награжденного за Бородино орденом Св. Георгия 3-го класса, участника заграничных походов русской армии в восемьсот тринадцатом и четырнадцатом годах, кавалера российских орденов Св. Александра Невского, Св. Анны, Св. Владимира, Св. Иоанна Иерусалимского, прусского *Pour le Mérite*, его родного брата генерал-лейтенанта Михаила Михайловича Бороздина, награжденного, как и Николай Михайлович, за Бородино орденом Св. Георгия 3-го класса, кавалера орденов Св. Анны, Св. Владимира, участника сражений при Смоленске, Шевардине, Тарутине, Малоярославце и Красном. Оба генерала – дети генерал-поручика Михаил Саввича Бороздина и Анастасии Андреевны Бороздиной – той самой

генерал-поручицы Бороздиной, владелицы пильной мельницы, стекольного, винокуренного и кожевенного заводов. Портреты генералов Лихачева и Николая Михайловича Бороздина кисти Доу висят в первом ряду галереи героев Отечественной войны двенадцатого года.

К списку участников Бородинского сражения нужно добавить список воевавших с французами помещиков Порховского уезда – генерал-майора Николая Васильевича Васильчикова, майора Гаврилу Хрисанфовича Дорогого, который после отставки жил до самой смерти в Порхове, генерал-майора Николая Степановича Карамышева, майора Алексея Ивановича Кострова, гвардии капитана и кавалера Григория Ивановича Крекшина, подполковника Константина Ивановича Крекшина, генерал-лейтенанта Сергея Михайловича Лихардова, генерал-майора Евграфа Дмитриевича Мышцецкого, генерал-майора Тутолмина, вступивших в дворянское ополчение Порховского уезда Петра Васильевича Бороздина, Павла Петровича Зиновьева и Александра Ивановича Забелина. Как хотите, но язык не поворачивается сказать, что Порхов в Отечественную войну «не представлял ничего замечательного по истории».

Что же до портрета и гипсового бюста Витгенштейна, то порховское дворянство, желавшее поднести их графу, выглядело довольно скромно на губернском фоне. Новоржевское дворянство хотело поднести Витгенштейну золотую медаль с его портретом и подобающей такому случаю надписью, дворяне Великих Лук собирались соорудить ему памятник. По общему мнению уездных предводителей дворянства памятник Петру Христиановичу следовало поставить в Пскове на площади перед Троицким собором, а в зале губернского дворянского собрания бюст губернатора князя Шаховского. Витгенштейн, узнав об этих инициативах от Шаховского, отказался от всех этих почестей. Памятник герою сражения под Клястицами, преградившего путь маршалу Удино на Санкт-Петербург, и командующему Псковским ополчением все же поставили, но через двести лет, и не во Пскове, а в Печорах. Что тут скажешь... Лучше поздно, чем никогда.

Война окончилась и началась мирная жизнь. Впрочем, в порховском уезде послевоенные лет пятнадцать мирными можно было назвать лишь с большой натяжкой и причиной тому были постоянные крестьянские волнения. Самые масштабные беспорядки случились в имении помещика Кашталинского, крестьяне которого подали жалобу Александру Первому. В этой жалобе их поверенный писал, что «...С половины нынешнего 1817 г., то есть с июня месяца достался во владение племяннику его родному Федору Степановичу Кашталинскому, по приказанию которого управляющий вотчиною его бурмистр дер. Соснович Ягнен Иванов делает со всей вотчины господина моего отяготительные и весьма несносные поборы. А именно, из числа доставшихся ему, г. Кашталинскому от покойного дяди его во владения 5500 душ, сверх вземленного положенного ежегодного оброку 10000 руб., собрал за нынешний 1817 г., 6000 руб., а сверх сего чрез одни чинимые им совершенно несносные побои и мучения в течение сего 1817 г. августа месяца, якобы по несостоянию его на вспомоществование 22000 руб. со всех прописных имеющихся у него во владении душ; да еще сверх такового всякого следуемого взыскания, со всей состоящей под владением его вотчины крестьян собрал в нынешнем году хлеба, как то ржаную мукою и овсом 500 четвертей, да вместо производимого при покойном дяде его платежа 10 руб. собирает ныне за каждую крестьянскую девушку по 30 руб... Через таковые несносные и отяготительные, сверх всякого положенного взыскания поборы пришли мы вконец до крайнего разорения и совершенной бедности, и не довольно не в состоянии оплачивать должные поборы, но и не в силах пропитывать свои семейства». Пять лет пять с половиной тысяч крестьян жаловались и отказывались работать на помещика. Пять лет во владения Кашталинского приезжали разбираться уездные и губернские власти, приезжал псковский губернатор и, как *ultima ratio*, прибывали воинские части.

Только в восемьсот двадцать шестом году в Порховском уезде было тринадцать случаев неповиновения крепостных крестьян своим владельцам. Да и как им было повиноваться, если, к примеру, у помещика Сергиевского они должны были пять дней в неделю работать на барщине или платить сто рублей оброка – сумму по тем временам огромную. Самыми масштабными в тот год были волнения крестьян в имениях помещиков Ноинского и Цеэ. Катализатором послужили слухи об ожидаемом освобождении от крепостной зависимости. Под влиянием этих

слухов крестьяне... нет, не взяли вилы и не подняли на них своих помещиков, а написали жалобу Николаю Первому и эту жалобу отправили с ходоками в столицу.

«Всеагустейший монарх, всемилостивейший государь! Изливаемые вашего императорского величества милости и отеческое попечение верноподданным своим, а паче угнетенным и обиженным подали дух смелости пасть пред стопами в.и.в. со всеподданнейшею нашею просьбою. Жительство мы имеем Псковской губ. Порховского у. Дегожского погоста выставки Городовинка в сельце Крутцы, господина 5-го класса Адама Ивановича Ноинского крепостные крестьяне, которому мы платили с ревизской души по 30 руб. в год исправно; напоследок он наложил на нас по 11 руб. 50 коп., а всего 41 руб. 50 коп., притом исправляем, сверх положенного оброка, земскую и плитную ломку, которую возим на своих лошадях в сельцо Крутцы; из состоящих при оной вотчине рошей доставляем в то ж село для господского строения леса; посеянный нами лен берет без всякой цены якобы за оброк, каковой нами платится исправно, а что стоит оный, цены нам не объявляет; а некоторых отобрал в треплю льна и никакого платежа за оное не производит, а кто из таковых не явится по случаю болезни или других случившихся домашних обстоятельств, штрафуют по 2 руб. в сутки. Плотники и каменщики находятся в работе в свое время, сверх положенного на них оброка; прочих также штрафует по 25 руб. в сутки, а у коих нет, наказывает жестоко; ежели есть с состоянием, с таковых берет по 100 и налагает сверх оных по 200 руб.; в том числе взял с не имеющего состояния 55 руб., а наложил 75 руб., а смотря по состоянию 260 руб., а наложил 640 руб. штраф. А у некоторых взял с двора последнюю корову, да последних разорил, из того числа лишились своих домов и находятся в бегах. За всем тем – управляющий господина нашего Михаила Федоров сын Гофмейстер нередко наказывает без причины, равно бурмистр Филипп Павлов, что описываем по сущей справедливости и долгу присяги. Всемиловейший государь, воззри отеческим милосердным оком на сие наше прошение и соблаговоли ниспослать высочайшую в.и.в. милость и защиту как нам, угнетенным и разоренным, так и семейству нашему, каковою, всемилостивейшей монарх, совершенно осчастливишь нас, всего 1700 душ крестьян. В.и.в. всемилостивейшего государя верноподданные крестьяне г. Ноинского Яков Леонов сын Костыгов и Лука Иванов сын Капитонов»²⁹.

До города Санкт-Петербурга ходки добрались, а до императора, понятное дело, не получилось. Императорское «отеческое попечение верноподданным своим, а паче угнетенным и обиженным» заключилось в том, что из столицы их отправили за казенный счет домой, да еще и под стражей, а жалобы переслали псковскому губернатору. Самое удивительное, что вернувшиеся ходки распространили среди крестьян слухи о том, что «всех тех крестьян, кои объявят неудовольствие на своих помещиков, государь император отпустит на волю». Теперь уже крестьяне перешли от слов к делу и двинулись к конторе управляющего имением, намереваясь ее разгромить, а самого управляющего... как минимум прогнать. Немедля прискакал в имение заседатель земского суда штабс-капитан Култашев с воинской командой и потребовал выдать зачинщиков, но требовать у крестьян, у которых в руках колья и дубины... Заседатель решил судьбу не испытывать, быстро ретировался вместе с командой и написал губернатору донесение с просьбой прислать в имение Ноинского два батальона солдат. Оно и понятно – в имении проживало более трех тысяч крепостных. Волнения быстро перекинулись на соседнее имение помещика Цез, а затем на имения графини Завадовской и помещиков Бильбоа и Корсакова. У части крестьян в руках появились пики и ружья. Култашев получил под свою команду батальон солдат и принялся наводить порядок. Тут известия об этих событиях достигли императора без помощи крестьянских ходков. Николай Первый направил в Порховский уезд своего уполномоченного – полковника Германа, и уже он, а не председатель земского суда, и не срочно приехавший псковский губернатор командовал солдатами. Все кончилось тем, что часть крестьян высекли, часть арестовали и отправили в Порховскую тюрьму. Часть самых активных участников волнений успела скрыться. Волнения закончились в марте, а солдат из имения Ноинского отзывали лишь в середине мая.

Весной того же года заволновались крестьяне графа Апраксина – не того Матвея Апраксина, крестьяне которого бунтовали еще при Екатерине Второй, а другого, Николая, но... такого же.

Этот Апраксин довел своих крестьян буквально до нищеты непосильными суммами оброка и барщиной, которую он сделал дополнительным обременением к оброку. Все началось как обычно начиналось в таких случаях – крестьяне написали жалобу и отправили с ней двух ходоков в столицу. Оттуда их жалобу переслали для разбирательства предводителю порховского уездного дворянства князю Васильчикову, который совершенно случайно оказался приятелем графа Апраксина. Предводитель недолго думая отписал вышестоящему начальству, что жалоба не имеет под собой никаких оснований. За ложную жалобу на помещика ходоков по представлению генерал-губернатора Паулуччи предали суду, но суд дело замял и постановил крестьян простить, поскольку настоящее расследование могло завести совсем не туда, куда хотел бы граф Апраксин. Выпущенные из тюрьмы ходоки, явившись домой, стали убеждать крестьян не подчиняться помещику... Кончилось все тем же, чем обычно кончалось в таких случаях – прибыли войска, крестьян привели к покорности, комиссия военного суда присудила одного человека к смертной казни, другого к наказанию шпицрутенами, а остальных велено было бить палками.

В июне вспыхнуло волнение в одной из деревень, принадлежавших порховскому помещику генерал-майору Баранову. Тому самому, который храбро воевал в Отечественную войну с французами. Кавалер орденов Св. Анны, Св. Владимира и прусского Pour le Mérite батогом забил крестьянина Григория Иванова до смерти, а перед этим сам вместе с дворовыми сек его розгами в течение четырех часов. Крепкий был генерал – еще двух крестьян собственноручно избил так, что они оказались при смерти. И так он допек своих крестьян, что жалоб они не писали, а сразу решили его убить. Обошлось. По результатам разбирательств имение Баранова было отдано в опеку, а сам он за смерть крестьянина был предан церковному покаянию.

У помещицы Лавровой не обошлось. В восемьсот двадцать четвертом году убил ее один из дворовых. Генерал-губернатор Паулуччи в записке о положении помещичьих крестьян в Псковской губернии сообщал: «...порховская помещица, генерал-провиантмейстерша Лаврова до того мучила и била из своих рук крестьян, пока один дворовый человек убил ее. Сей дворовый человек наказан по закону».

В июле восемьсот двадцать шестого года в уезде заволновались крестьяне в имении полковника Татищева. Крестьяне отказались отбывать трехдневную барщину. Уездного исправника и полицейских, приехавших в имение наводить порядок, крестьяне встретили кольями. Исправник благоразумно решил уехать и затребовал роту солдат. К военному суду привлекли шестьдесят одного крестьянина. Суд постановил: «Тридцати четырем человекам крестьян за неповиновение и произведенный бунт отсечь головы; семь человек, как главных рассеивателей ложного слуха и нарушителей общего спокойствия, повесить; десятерых, бывших в бунте без кольев, прогнать шпицрутеном через тысячу человек каждого по три раза, а десятерых, не участвовавших в бунте, от наказания освободить». Такой приговор напугал и самих помещиков, и местные власти, справедливо полагавшие, что его следствием будут новые крестьянские волнения. Генерал-губернатор Паулуччи обратился в Министерство внутренних дел с ходатайством о пересмотре дела. Дело пересмотрели – нескольких вожаков восстания забили в солдаты, а остальных сослали в Сибирь.

Из уезда вернемся в город. К концу первой четверти девятнадцатого века в Порхове проживало три с лишним тысячи человек. Женщин на триста тридцать восемь меньше, чем мужчин. Из тысячи восемьсот семи мужчин восемьдесят три купца. Все остальные мужчины были мещанами. На это количество жителей приходилось семь церквей, пять фабрик, сорок семь лавок, одна аптека, уездное и приходское училища, одна богадельня, двадцать два сада, два трактира и восемь питейных домов. Почти стандартный набор для не очень большого российского уездного города начала царствования Николая Первого.

В восемьсот сорок четвертом году в городе открыли трехклассное уездное училище, рассчитанное на пятьдесят учащихся. Открытие училища происходило третьего января при собрании дворянства и граждан. По окончании предписанного властями обряда открытия, как сказано в исторической записке, составленной штатным смотрителем Порховского уездного училища к его столетию, «...посетители угощаемы были у штатного смотрителя обедом, а у

почетного зрителя ужиным столом. При открытии училища пожертвовали: коллежский ассессор Ладыженский сто рублей, почетный зритель Бухаров на заведение библиотеки сто рублей, сверх того портрет Государя Императора с вызолоченною рамою, ценою в сто рублей, книг классических на пятьдесят рублей и шкаф простого дерева в десять рублей. Титулярный советник Нартов – пятьдесят рублей, майор Лавров, ротмистр Зарин, титулярные советники: штатный зритель училища Пономарев и Мягков – по двадцать пять рублей, доктор Соломон, почтмейстер Немов, титулярный советник Дирин и прапорщик Тяпков – по десять рублей, майор Мартыанов и штабс-капитан Култашев – по пять рублей». Тот самый Култашев, умиривший крестьян в имениях помещиков Ноинского и Цеэ с помощью батальона солдат. Прапорщик Тяпков дал в два раза больше. Все же не будем показывать пальцем на военных. Порховское купечество в этом списке и вовсе отсутствует.

Что же касается общего состояния Порхова, то лучше всего обратиться к отчету чиновника по особым поручениям барона Мантейфеля, который по заданию генерал-губернатора Пауллучи ревизовал Псковскую губернию в восьмьсот двадцать восьмом году: «Город Порхов есть лучший благоустроенный город во всей Псковской губернии. Улицы вымощены, выведены в прямую линию и строения разбиты по кварталам. Много каменных зданий красивой наружности. ...Больница находится в таком устройстве, что и лучшего ожидать нельзя. Высокие светлые комнаты, окрашенные полы, кровати, столы, посуда. Аптека и вообще медицинское устройство, все в отличном устройстве. На 20 человек больных имеется четыре перемены самого тонкого белья. Халатов и туфель на 40 человек. Пища для больных весьма хорошая. Комнаты для больных офицерского звания украшены с роскошью. В градскую больницу принимаются также заболевшие бедные граждане, с платою за них от города, как и за военнотружущих, по 50 копеек в день. Лечебные пособия при усердии и деятельности уездного штабс-Лекаря Заклинского подаются со всевозможным старанием. Доведением сей больницы до таковой степени совершенства городничий, по собственному отзыву своему, обязан деятельности бывшего Порховского главы Пахомова, который вообще, с пожертвованием своего имущества, содействовал много к украшению города».

Каменных домов в Порхове к тому времени имелось не больше десятка. Остальные четыре сотни с лишним домов были деревянными. «Четыре перемены самого тонкого белья» в уездной больнице... (На полях отчета Мантейфеля зададимся вопросом – сколько в Порхове первой четверти девятнадцатого века проживало здоровых, а не больных людей, имеющих по четыре перемены самого тонкого белья?) Кажется, что барона сразу по приезде повезли не осматривать казенные учреждения, а закусить чем бог послал и выпить какой-нибудь губернской мадеры, про которую гоголевский городничий говорил, что она может и неказиста на вид, но и слона повалит с ног.

Самое интересное, что через четыре года после инспекции Мантейфеля в городской больнице побывал с инспекцией барон Виллие. В документе, сохранившемся после его визита в псковской губернской канцелярии, написано: «4 января Порховская городская больница была осмотрена главным по армии медицинским инспектором бароном Виллие, который отметил, что "по управлению госпиталь сей вовсе не имеет хорошего устройства, а за недостатком прислуги в госпитале нет ни порядка, ни надлежащей чистоты и опрятности..."». Куда, спрашивается, делись четыре комплекта самого тонкого белья на каждого больного? Ведь находилась же больница «в устройстве, лучше которого и ожидать нельзя»...

В уезде за год перед приездом Мантейфеля проживало без малого пятьдесят тысяч человек. Из них четыреста двадцать дворян, купцов и мещан две тысячи шестьсот тридцать и почти двести пятьдесят священников. Занимался уезд в основном тем, что производил лен и зерно. По этой части он был первым в губернии. Под зерном мы, конечно, подразумеваем рожь, а не пшеницу, которая в этих краях, как ее не уговаривай, растет плохо. Сеяли, кроме ржи и льна овес, ячмень и горох. Уездная и частично городская промышленность была занята переработкой всего того, что выращивалось. Сам Порхов не играл большой роли в переработке и торговле льном, поскольку был неудобно расположен. Мало того, что Варшавское шоссе прошло в шестидесяти

верстах от Порхова, так еще и Шелонь возле города не судоходна. Основная торговля шла через посад Сольцы, находившийся в Порховском уезде. Только ниже этого посада река становится судоходной. Оттуда по воде шли многочисленные барки со льном в Петербург. В сороковых и пятидесятых годах в Сольцах работало четырнадцать заводов по переработке льна. В одном только восемьсот сорок четвертом году из посада отправили в столицу пятьдесят шесть барок, на которых было погружено почти триста тысяч пудов льна и семьдесят шесть с половиной тысяч пудов пакли на сумму в восемьсот семьдесят тысяч рублей серебром.

Рассказ о промышленности любого уездного российского города девятнадцатого века, равно как и его уезда, не обойдется без винокурения. Порхов и его уезд не исключения. К середине века в городе и уезде выкуривалось от тридцати пяти до пятидесяти тысяч ведер полулуга, то есть водки. Все это количество производилось на помещичьих заводах для внутреннего потребления, а вот продукция одной небольшой помещичьей табачной фабрики, расположенной в уезде, продавалась и в Порхове, и в Пскове и в соседних городах. Производили на этой фабрике нюхательный и курительный табаки и сигары в количестве от полутора до двухсот пудов в год на сумму около двух тысяч рублей в год. В самом этом факте нет ничего особенного. Особенное заключалось в том, что табак разных сортов выращивали здесь же из американских семян. Сахарную патоку для кальянных сортов табака и разного рода отдушки для нюхательного привозили из Петербурга. Из пяти, работающих на фабрике человек, только один был наемным. Остальные четверо – крепостные крестьяне. Нет, вы только представьте себе нынешних порховских, или островских, или опочечских, или даже псковских помещиков, курящих местные сигары... Ну, хорошо, пусть не помещиков, пусть купцов...

Почти в то же самое время, как из посада Сольцы отправили в Петербург льна и пеньки на астрономическую сумму в восемьсот семьдесят тысяч, в Порхове открылись одновременно банк и богадельня. Основал их в августе восемьсот сорок третьего года уроженец Порхова, известный на всю Россию табачный фабрикант, купец первой гильдии, миллионер и благотворитель, Василий Григорьевич Жуков. Тот самый Жуков, о котором писал Пушкин: «Заняться службою гражданской или военной, с хваленым Жуковым табачный торг завести...». Жуков не просто открыл банк – он пожертвовал десять тысяч рублей серебром для учета векселей и выдачи ссуд. Это было сделано для того, чтобы порховские купцы и мещане, а также купцы и мещане посада Сольцы, поскольку посад принадлежал Порхову, могли брать кредиты на срок от одного месяца до года. В залог банком принималось имущество, принадлежавшее исключительно порховским гражданам и жителям посада Сольцы. Закладывать можно было каменные дома, заводы, фабрики и приносящие доход собственные земли. Все закладываемое имущество должно было располагаться там же – в Порхове и в Сольцах. Вот такой был уездный протекционизм. Управляла банком Порховская городская дума. От прибылей банка содержалась жуковская богадельня, в которой проживало сорок мужчин и женщин из числа престарелых и неимущих порховичей³⁰. К богадельне спустя недолгое время пристроили каменный флигель, что позволило Василию Григорьевичу устроить там детский приют. Жуков намеревался завести в Порхове бумагоделательную, масляную и полотняную фабрики, причем все эти три фабрики должны были работать на одном и том же сырье: бумагоделательная будет перерабатывать льняные охлопья, масляная – семена, а полотняная чистый лен. Это как раз то, что теперь называется глубокой переработкой растительного сырья. Тогда этих слов не знали, а просто брали и перерабатывали. В сентябре восемьсот сорок четвертого года в двух с половиной верстах от Порхова zaloжили ткацкую и бумажную фабрики, а свечной и мыловаренный заводы открыли через два года. Жуковское мыло продавалось по всей России, и узнавали его по фирменному знаку в виде жука на обертке. Немаловажная деталь – себе Василий Григорьевич оставлял только пятую часть паев этих фабрик. Остальные четыре части могли выкупать порховские промышленники³¹.

Теперь о менее приятном. В восемьсот тридцать первом и восемьсот сорок восьмом в Порхов приходила холера. Псковские губернские ведомости спустя четверть века писали об этих событиях: «По ходатайству граждан, в воспоминание этого посещения Божия, Государем Императором в 1831 году разрешено ежегодно, 21 июня, обходить город крестным ходом; а

в годину бедствий, 1848 года, с разрешения архиепископа Нафанаила, была принесена из Никандровой пустыни икона преподобного Никандра³² и с нею совершен вокруг города крестный ход. Но чтобы более увековечить между жителями Порхова это моровое поветрие и избавление от него молитвами угодника Никандра, они исходатайствовали от Святейшего Синода, с разрешения Государя Императора, ежегодно, 15 числа мая месяца, приносить в Порхов из Никандровой пустыни икону преподобного с крестным ходом и совершать такое же хождение вокруг города с местными иконами. К этому же времени стекается множество народу в Никандрову пустынь, а оттуда 15 мая – в Порхов. Икона преподобного остается в городе на семь дней. Крестный ход этот установлен в 1855 году. На все время пребывания в городе иконы на содержание монастырских отпускается из городских сумм 100 рублей».

Вообще религиозная жизнь в Порхове того времени была ключом – одних только крестных ходов в городе и его окрестностях проходило в год не меньше десятка: в январе, в день Богоявления, ходили на реку для водоосвящения; в апреле на площадь перед собором для молебна в память избавления Государя Императора Александра Николаевича от угрожающей ему опасности; после Пасхи в день Преполовления Пятидесятницы на реку для водоосвящения и потом вокруг крепостной стены с пением литии по убиенным воинам; пятнадцатого мая, как уже говорилось, крестным ходом встречали икону преподобного Никандра; на следующий день обходили вокруг города с местными и принесенными из Никандровой пустыни иконами; в конце мая шли крестным ходом в Никандрову пустынь, сопровождая икону преподобного Никандра; в середине июня в день Тихона Амафунтского в Тихоновскую часовню, а оттуда в часовню Св. мученицы Параскевы; двадцать первого июня вокруг города в память о холере восемьсот тридцать первого года; через три дня в церковь Иоанна Предтечи, а оттуда в Иоанновскую часовню; первого августа в день Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня, на реку для водоосвящения. И это не считая крестных ходов микрорайонного значения в Троицкую часовню, в часовню Духа Святого и в часовню Св. Георгия Победоносца.

Раз уж зашла речь о религиозной жизни порховичей, то скажем и об открытии в восемьсот тридцать пятом году четырехклассного духовного училища, в котором обучалось до ста детей священнослужителей. Программа обучения в этом училище фактически приближалась к программе первых четырех классов гимназий, и потому кроме обычных арифметики, грамматики русского языка, географии и священного писания детям преподавали латынь, греческий и грамматику славянского языка.

О светской жизни городского населения в первой половине девятнадцатого века сведений до нас куда меньше, и потому тут всякое лыко в строку. В двадцать восьмом году через Порхов из Нежина в Петербург после окончания гимназии проезжал девятнадцатилетний Николай Гоголь. Конечно, он мог бы задержаться, написать в Порхове «Сорочинскую ярмарку», «Майскую ночь» или, на худой конец, «Ганса Кюхельгартена» и уж потом, со всем этим ехать покорять столицу, но... Часто проезжал по дороге на малую родину в село Новоспасское на Смоленщине и обратно в Петербург Михаил Иванович Глинка. В августе сорокового года в одном из писем Анне Петровне Керн он писал: «Лошади тащили шагом по раскаленному песку, и на каждой станции меня держали по три и по четыре часа, так что едва уже к вечеру я добрался до Порхова, сделав менее 60 верст в день. От Порхова же за то решил ехать и ночь...». Точно так же не стал ночевать в Порхове главный герой запрещенного в России Николаем Первым романа Александра Дюма «Учитель фехтования»: «В начале следующего дня я был в небольшой деревеньке, Бежанице, а в четвертом часу дня – в Порхове, старом городе, расположенном на реке Шелони... Меня искушало желание переночевать здесь, но комната для приезжих оказалась так грязна, что я предпочел продолжать путь». Неоднократно проезжал через Порхов Тарас Шевченко, и не просто проезжал, а упомянул в своей повести «Музыкант» и обветшавшую крепость, и Шелонь, и даже мыловаренный завод Жукова.

В восемьсот сорок первом году Николай Первый по всеподданнейшему докладу председателя попечительного о тюрьмах общества разрешил открыть уездный тюремный комитет в Порхове и утвердил избранных лиц в звании членов этого комитета. Конечно, это не открытие бутылки

Veuve Clicquot или мыловаренного завода и даже не открытие богадельни, но тоже событие, пусть и уездного масштаба.

Отдельной главы в истории Порхова первой половины девятнадцатого века заслуживает описание мытарств уездного училища. После его образования оно помещалось в деревянном доме, пожертвованном порховским дворянством. Пожертвованный дом оказался настолько ветхим, что пришлось училищу снимать частную квартиру в доме купца Тарасова за десять рублей в месяц. Старый дом продали за пять тысяч и решили купить новый. То есть не новый, а такой, в котором можно будет заниматься, не опасаясь за здоровье учеников и учителей. Приискать подходящий дом оказалось очень сложно. Все лучшие и подходящие дома в городе были заняты постоем военных. Нужен был дом, состоящий как минимум из четырех, а лучше пяти комнат. Аренда такого дома могла стоить от трехсот до пятисот рублей в год. Мало того, что таких денег у училища не было, так еще и никто из состоятельных порховичей не хотел сдавать принадлежащий ему дом под училище. Нашелся купец Калашников, заявивший – если училищное начальство выхлопочет освобождение его дома от воинского постоя, то он отдаст его за сто восемьдесят рублей, хотя раньше он просил триста пятьдесят. Училищное начальство в лице энергичного смотрителя Пономарева достучалось до Псковского губернатора, но тот помочь не захотел. Тогда Пономарев предложил Порховской городской думе освободить дом Калашникова от постоя ввиду отдачи его под училище, но... и тут получил решительный отказ. К тому времени уездное училище уже тринадцать лет ютилось в двух съемных комнатах потому, что город на наем помещения отпускал всего сто двадцать рублей в год и на эти деньги можно было снять только две комнаты, причем одну комнату занимало приходское училище, а вторую уездное. Оба класса уездного училища помещались в одной комнате. То есть сто рублей из городских сумм на содержание монахов из Никандровой пустыни в течение недели во время крестного хода было не жалко, а добавить училищу денег, чтобы не ютилось в двух комнатах... В уездном в то время числилось два десятка учеников. Наконец, в восемьсот двадцать седьмом году для училища сняли дом купца Расчухаева³³, который согласился сдать дом на десять рублей дешевле, чем купец Калашников. В этом доме было пять комнат, и уездному училищу отдали две. Количество учеников сразу увеличилось вдвое и все равно было очень и очень небольшим для такого города как Порхов. Министерство народного просвещения стало спрашивать у руководства училища почему – и оказалось, что не теснота тому виной, а нежелание родителей отдавать детей учиться. Кроме того, выяснилось, что программу обучения фактически формировало не министерство народного просвещения, не учителя, а... родители. Например, на уроки закона Божьего папы и мамы, у которых редкий месяц обходился без крестного хода, а то и двух, детей часто не пускали. Начальству отвечали просто – им не в церковь идти. Хватит и катехизиса. Точно по такой же причине пропускали уроки физики и геометрии. Учили, потому что пригодится, русский язык, чистописание, арифметику, отечественную историю и географию, но, как показал опрос, с удовольствием ходили только на рисование. Поэтому смотритель Порховского уездного училища, уставший воевать с родителями, просил, чтобы из программы обучения убрали геометрию и всеобщую историю, а курс Закона Божьего существенно сократили³⁴. Все же после смены двух смотрителей и директора дела наладились, и в восемьсот сорок седьмом году по результатам ревизии училищем остались довольны по всем предметам, кроме математики. Пошли год за годом благодарности учителям, а в пятьдесят пятом году и всему штату училища. И все бы хорошо, но в восемьсот пятьдесят восьмом году училище сгорело.

Перед тем как рассказать о пожаре, в нескольких словах расскажем об участии Порхова и уезда в Крымской войне. Вот об этом участии уж точно можно сказать словами краеведа Анисимова об участии Порхова в войне с французами: «Порхов не представлял ничего замечательного по истории». Осенью восемьсот пятьдесят четвертого года через город прошли по направлению в Крым три полка лейб-гвардейцев – конных гренадеров, улан, гусаров и две лейб-гвардейские батареи. Встречал их в городе хлебом с солью городской голова. Нижним чинам от городского общества было выделено на каждого по фунту говядины, по калачу и по чарке водки. Генералам и офицерам конных гренадеров и артиллерийских батарей уездное дворянство дало обед, а

офицеров уланского и гусарского полков пригласили на балы. Кроме этого севастопольцам и их семьям, потерявшим имущество, порховичи собрали сто сорок один рубль и пятьдесят семь копеек серебром. Это все об участии Порхова в Крымской кампании.

Теперь о пожаре. В середине августа восьмьсот пятьдесят восьмого года от топки деревянной бани при доме училища начался пожар, во время которого при сильном ветре сгорели дом училища, Троицкая и Благовещенская церкви, два каменных гостиных ряда с полусотней лавок, деревянный мясной ряд, сорок семь обывательских домов, дом городских присутственных мест, богадельня Жукова, духовное правление и еще двадцать две деревянных лавки. Убыток оценили в триста тысяч рублей серебром. Через месяц, в конце сентября, сгорело еще восемьдесят домов по Петербургской улице от центра города до самой заставы, с прилежавшими к ней переулками. В начале октября снова пожар...

После третьего пожара в Порхов приехал псковский губернатор Муравьев и по результатам осмотра города написал министру внутренних дел: «Без особого пособия от правительства город не может восстановиться в продолжение нескольких десятков лет, ибо пожарами истреблены до основания самая лучшая часть города и почти все без исключения имевшееся у жителей движимое имущество и товары торговцев».

В память об этих пожарах жители города заказали икону и поместили ее в городском Троицком соборе с надписью ««сей образ Нерукотворного Спаса устроен усердием граждан города Порхова в память двукратного посещения Божия и двух соборов в 1858 г. 16 августа и 19 сентября, начался пожар в 2 часа по полудни». Последнее, однако, относится скорее к религиозной, нежели к светской жизни.

И еще о светской жизни. В восьмьсот сорок седьмом году городское собрание, состоявшее большей частью из мещан, собиралось по поводу исключения из общества мещанина за кражу, а через два года Порховская городская дума требовала провести совещание по вопросу исключения нескольких мещанских детей из городского общества за то, что они избили мещанку Секумену Дестеву. Кстати, об избиваниях. В восьмьсот шестьдесят втором году, через год после отмены крепостного права, в разгар выяснения отношений между помещиками и крестьянами, освобожденными без земли, в Порхове жестоко избили мирового посредника Володимерова, призванного эти поземельные отношения улаживать миром. Избили не крестьяне, а дворяне. Скандал получился таким громким, что статью о нем под названием «Несчастье в Порхове» написал для столичного журнала «Современник» не кто-нибудь, а сам Салтыков-Щедрин. Двенадцать человек полтора часа избивали одного из-за того... Впрочем, тут лучше процитировать очерк: «К чести мировых посредников Псковской губернии, или по крайней мере северной половины этой губернии, надо сказать, что они до такой степени умели с самого начала отрешиться от сословного духа, от эгоизма того сословия, к которому они принадлежат по происхождению, что на первых же порах им удалось овладеть совершенным доверием крестьян. Как люди независимые по своему положению, мировые посредники предпочли оставаться независимыми и по духу, по направлению, стать выше сословных интересов... и приводить в исполнение Положение 19 февраля в том самом духе, который создал его. Оттого-то и не могут простить псковским мировым посредникам некоторые из дворян... Люди ретроградной партии есть везде, но в Псковской губернии едва ли не всего более представителей эта партия имеет в Порховском уезде... Над г. Володимеровым люди ретроградной партии в Порхове, люди старых порядков, старались выместить похороненное крепостное право, о котором они втайне до сих пор сожалеют...». Такая вот светская хроника уездного разлива... Статью, кстати, опубликовать не удалось. По цензурным соображениям.

Освобождение крестьян в Порховском уезде сопровождалось беспорядками сразу в двадцати шести помещичьих имениях. Пришлось вводить в эти имения воинские команды. Еще перед самым манифестом порховский исправник сообщал псковским властям: «В Порховском уезде дух своеволия крестьян и неповиновение их владельцам усиливается до такой степени, что недостаточно одних убеждений полиции без строгих мер». Строгие меры не заставили себя долго ждать. Зачинщики беспорядков были наказаны. Псковский губернатор объехал все места

волнений и дополнительно разъяснил крестьянам их обязанности. Крестьяне Порховского уезда должны были уплатить помещику за надел в пять десятин земли полторы сотни рублей, и это при том, что рыночная цена десятины не поднималась выше десяти рублей. Вот и выходило, что две третьих суммы за землю составляла фактическая цена за освобождение. Рядом, кстати, была Прибалтика, в которой крестьян освободили еще при Александре Первом пусть и без земли, но без какого-либо за себя выкупа. Мало того, еще и средний размер крестьянского надела после реформы сократился на пятую часть. Удивительно не то, что беспорядки имели место, а то, что их было так мало.

Реформой оказались недовольны все – и крестьяне и помещики. Хотя, конечно, у помещиков измельчал жемчуг, а у крестьян щи... как были – так и остались пустыми. Для того, чтобы помочь помещичьим именьям, попавшим в сложное экономическое положение, уездное земство в восемьсот семьдесят первом году открыло в Порхове банк. Крестьянам, с ног до головы опутанным долгами, в которые им приходилось влезать, чтобы оплатить свое освобождение и заплатить выкупные деньги за землю, земство учредило Общество взаимного кредита и Ссудно-сберегательное товарищество.

Земство, одной из целей которого, по словам министра внутренних дел Ланского, было «вознаграждение дворян за потерю помещичьей власти», стало активно участвовать в жизни Порхова и уезда. К началу семидесятых годов девятнадцатого века в уезде действовало более ста школ, в которых обучалось две с половиной тысячи учеников. Не бог весть как много, учитывая то, что в уезде к тому времени проживало более ста двадцати тысяч человек, но больше, чем в любом другом уезде Псковской губернии.

Малое количество учеников на такое количество жителей уезда – это еще полбеды, а вот четыре врача, шесть фельдшеров, один помощник фельдшера и один акушер на весь уезд и город Порхов – это беда целая. Больниц было всего три – кроме Порхова работали еще две в уезде – в деревнях Береза и Буриги. Правда, они были маленькие, даже крошечные. Больница в деревне Береза была всего на пять коек³⁵.

В семьдесят четвертом году, согласно памятной книжке Псковской губернии, в штате городской земской больницы состояли: городской врач коллежский советник Александр Карлович Шульц, смотритель Семен Николаевич Ковалевский, фельдшер коллежский регистратор Андрей Иванович Дегтев и лекарский ученик Александр Петров Ведерников. Через десять лет в городской земской больнице уже два фельдшера, а на посту главного и единственного врача Александра Карловича Шульца сменяет Гуго Андреевич Фрей. К девяносто третьему году количество уездных врачей... нет, не увеличилось – как было их четверо – так и осталось. Городовой врач при этом исполнял обязанности земского врача. Правда, фельдшеров стало семнадцать, к ним прибавились семь акушеров и четыре фельдшерицы-акушерки. При том, что население уезда к концу века уже перевалило за сто шестьдесят тысяч человек. Пока они доберутся на лошади до роженицы... крестьянский ребенок, глядишь, уже и гусей пасет. Появилась в Порхове частная аптека Владимира Денисовича Линде. В уезде больницы и аптеки порой заводили помещики на свои средства. Одна из лучших уездных больниц, оснащенная самым современным по тем временам оборудованием, была построена в усадьбе Вольшово ее владельцем – графом Строгановым. Граф денег не пожалел, и рядом с больницей был устроен плодовый сад, парк с оранжереей и пруды.

Раз уж зашла речь о медицине, то расскажем и об открытии в Порховском уезде бальнеологического курорта в селе Хилово, в десяти верстах от Порхова. Как водится, не обошлось без легенды о некоем старике Якове, поливавшем водой из местной речки Черной свои больные ноги. Ноги перестали болеть и тогда Яков на всякий случай эту воду стал еще и пить. Пил он ее невзирая на отвратительный вкус и сероводородный запах. От приема воды внутрь Яков еще и помолодел. Другая легенда говорит о том, что стариком Яковым был повар помещика Петра Петровича Балавинского, владевшего селом Хилово и его окрестностями. На самом деле Балавинскому запах воды речки Черной, как он сам потом признавался, напомнил запах минеральной воды на курорте в Кеммери, в Прибалтике. Петр Петрович недолго думая

велел отвести воды реки Черной. Когда их отвели, на дне обнаружились три ключа, из которых была минеральная вода. В восемьсот шестьдесят пятом году для анализа воды предприимчивый Балавинский пригласил магистра фармации Кассельмана, сравнившего состав хиловской воды с баварскими минеральными водами. Еще через год в Хилово приехал с той же целью профессор Московского университета Александр Порфирьевич Бородин, опубликовавший подробный отчет о своей работе в журнале «Минеральные воды России». И тут выяснилось, что по составу эта вода из Хилово более всего похожа на минеральную воду из Ессентуков. Тот самый четвертый номер, который теперь продают почти в каждой аптеке и даже в супермаркетах. Через самое короткое время Балавинский заключил с военным ведомством контракт на двенадцать лет на лечение солдат и офицеров. После этого Хилово стало превращаться в курорт. Уже в шестьдесят седьмом году здесь лечилось девяносто человек – все это были петербургские военные. Через год их лечилось уже сто двадцать. Вслед за военными потянулись и гражданские. Да и почему бы им не потянуться, если курорт находится под боком у столицы. Построили здание водолечебницы с мужским и женским отделением и еще одно здание для модного тогда лечения молоком и сывороткой. Псковские губернские ведомости напечатали объявление: «На основании заключения медицинского совета, утвержденного г. министром внутренних дел, дозволено Порховскому помещику Балавинскому открыть для публики устроенное им в селе Хилово Порховского уезда в собственном его имении на источнике серных минеральных вод водолечебное заведение». Петр Петрович установил перед зданием водолечебницы памятный камень, на котором приказал выбить герб Балавинских с девизом «Полеза выше победы» и надписью: «Открыты помещиком Петром Балавинским в 1865 году». Через двадцать лет Хилово в сезон принимало до восьмисот человек, а через двадцать четыре года спустя после основания курорта вышел именной высочайший указ «О признании общественного значения за Хиловскими минеральными источниками». Через восемь лет после выхода именного высочайшего указа Петр Петрович Балавинский³⁶ скончался и курорт стал приходить в упадок, а в девятьсот одиннадцатом году его сын и вовсе продал поместье вместе с захиревшим курортом. Впрочем, о курорте мы еще поговорим, а пока посмотрим на торговлю и промышленность города и уезда второй половины девятнадцатого века.

Ничего особенного мы там не увидим – обычная торговля и обычная промышленность небольшого уездного города империи. В семидесятых годах в Порхове работали три ярмарки в год – в январе, в мае и в октябре. В Никандровой пустыни была еще одна – в сентябре. Она была самой значительной. Правду говоря, и эти ярмарки год от году становились все малолюднее и оборот их падал. Торговали на них большей частью местные купцы. Заезжих было мало. Торговали всем, чем торгуют на уездных ярмарках – лаптями, горшками, сапогами, армяками, овчинными и заячьими тулупами, топорами, уздечками, дегтем, продуктами, и так до самых иглок. Ряд товаров традиционно везли на продажу в другие города губернии и за ее пределы – прежде всего лен, рожь, льняное семя, овес, лес, выделанную кожу и изделия из нее. Лен вывозили в основном за рубеж, в качестве сырья. Можно было бы вывозить льняную пряжу или полотно, но ни в уезде, ни в городе не было ни одной льнопрядильной или полотняной фабрики. Что тут скажешь... их там и сейчас нет. Они там и не нужны. Нет льна, и нечего перерабатывать. Теперь про хлеб. В восемьсот шестьдесят восьмом году из посада Сольцы в Петербург было отправлено 142218 пудов хлеба, то есть ржи. В пересчете на центнеры 22754,88. В две тысячи двадцать первом году Порховский район, если судить по официальным данным, которые сообщает на своем сайте администрация района, собрал всех зерновых культур 22392 центнера. Конечно, в позапрошлом веке Порховский уезд был несколько больше, как и вся Российская империя, вода была мокрее, колосья ржи колосистее, но у крестьянина Порховского уезда лошадь, соха, деревянная борона и навоз в качестве удобрения, а в Порховском районе трактора, стальные плуги, сеялки, веялки, бороны, аммиачная селитра, хлористый калий, азофоска и... урожайность тринадцать центнеров с гектара.

Не будем о грустном. Вернемся во вторую половину позапрошлого века. Надо сказать, что и городская и уездная промышленность не производила каких-нибудь особенных сложных машин

она и сейчас этого не делает, а занималась в основном переработкой сельскохозяйственного сырья. Конечно, мануфактуру, галантерею, шампанское, шоколадные конфеты и фарфоровую посуду приходилось завозить из столицы, но свечи, масло, мыло, ржаную муку, деготь, пиво, изделия из войлока, глиняную посуду и кирпичи производили в городе и уезде. Одних мельниц в уезде к концу века работало сто тридцать четыре, а еще три десятка синилен, четырнадцать кожевенных заводов, девять маслобоен, восемь кирпичных заводов, три войлочных, свечной, пивоваренный... Конечно, это были мелкие заводы, на которых работало по несколько рабочих, но кирпичи, мыло и пиво завозить в Порхов нужды не было, а если мы к пиву с мылом прибавим еще сигары и табак, которые, как вы помните, производились в уезде... Руки чешутся сравнить Справедливости ради нужно сказать, что кожевенный завод товарищества Шелониной и Зацкого был, по меркам того времени и по губернским меркам, огромным. На нем работало около сотни рабочих. Можно сказать, что он был флагманом кожевенной промышленности Псковской губернии. Все, что было не торговля льном, зерном, не кожевенные и свечные заводы – было отхожий и местный промыслы. Каждый год крестьянам выдавалось более шести тысяч паспортов. Получив их, уходили порховские мужики на заработки, чаще всего в Петербург. Они и сейчас так делают. С той лишь разницей, что полтора века назад мужик за полгода денег заработал и вернулся домой, к своему хозяйству, а сейчас он в Петербурге круглый год, а если получится, то и семью туда забирает. Местные промыслы представляли собой плетение корзин, лаптей, туесов, изготовление грабель, колес, телег, бочек, саней, шитье одежды, тачание сапог... Короче говоря, все то, чем теперь богаты посвященные крестьянскому быту залы наших районных музеев.

В шестьдесят девятом году, после нескольких лет подготовки в Порхове наконец создали вольное пожарное общество. Средства на организацию общества пожертвовало городское купечество, мещанство и губернское земство... впрочем, последнее сделало это по долгу службы, выдав деньги из остаточных сумм страхового сбора. Первого мая министерство внутренних дел утвердило устав общества, и этот день стал считаться днем его образования. Отмечался он в городе как праздник. Сначала молебен на Соборной площади, потом пожарные в сверкающих медных касках шли по главной улице с оркестром, потом демонстрация пожарной техники, потом народные гулянья, на которые собирались не только горожане, но и жители окрестных деревень. Не надо при этом думать, что порховская пожарная техника состояла из одних бочек с водой, ведер и багров. Вовсе нет, хотя поначалу так оно и было, но к концу века у общества появился английский паровой насос Shand Mason с начищенным до блеска медным котлом, манометрами и множеством самых различных кранов и краников.

В середине семидесятых годов появились в Порховском уезде первые и последние народники. В уже упомянутом селе Старые Буриги лечил местное население, а заодно и распространял среди него запрещенную литературу, будущий член «Земли и Воли», один из организаторов «Черного передела» Осип Аптекман. В деревне Студенец тем же самым, то есть пропагандой среди крестьян, занимался юрист Александр Ольхин. В семьдесят девятом году его арестовали и выслали под гласный надзор в Вологодскую губернию. В этом же году в Студенец приехала работать в школу помещицы Косяковской еще одна народница Александра Яворская. Так случилось, что как раз летом восьмидесятого года в соседнюю со Студенцом деревню Береза приехала с родителями на отдых одиннадцатилетняя гимназистка Надежда Крупская. Она так привязалась к Яворской, что решила стать и учительницей, и революционеркой в одном флаконе. Позже, в девятьсот тридцатом, Крупская писала Яворской: «И остался у меня на всю жизнь образ молоденькой учительницы-революционерки. И сама я решила идти в деревню в учительницы». Вот так, в семидесятых годах девятнадцатого века, в глухой деревне Порховского уезда и началось то, что потом... а могла бы пойти в деревенские учительницы, приехать в Студенец, учить крестьянских детишек, выйти замуж за земского врача или землемера, нарожать... или остаться старой девой в темном платье с белым ажурным воротничком ришелье, но не строгой и ворчливой, а доброй, у которой в доме вечно пили бы чай с баранками и колотым сахаром вприкуску замурзанные девчонки и мальчишки, влюбленные без памяти в свою Надежду Константиновну, а она читала бы им сказки Чуковского вместо того, чтобы их запрещать, а они ей каждый год по весне

вскапывали бы огород и таскали бы из дому то яиц, то сметаны, то картошки, то ломоть кулича к Пасхе, но... не пошла³⁷.

Пока народovolьцы обучали крестьян порховского уезда политграмоте и звали их к топору, порховские дворяне принимали участие в русско-турецкой войне. Отличился генерал-майор Георгий Александрович Бороздин – из тех самых Бороздиных, что храбро воевали с французами в двенадцатом году. Георгий Александрович за турецкую кампанию получил и орден Св. Станислава, и орден Св. Владимира, и золотое наградное оружие. Отличились трое братьев Лихачевых – майор и два капитана, родственники героя Отечественной войны генерал-майора Петра Гавриловича Лихачева. Один из братьев – Константин Платонович Лихачев – майор Сибирского гренадерского полка погиб при взятии Плевны. Отличился помещик Порховского уезда, владелец усадьбы Полоное, генерал от кавалерии князь Александр Михайлович Дондуков-Корсаков, который, кроме того, что в качестве корпусного командира принял участие в боевых действиях, был назначен императорским российским комиссаром в Болгарии, руководил временной гражданской администрацией Болгарии и оставил по себе такую хорошую память у болгар, что в Софии до сих пор один из бульваров называется «Князь Александър Дондуков». Это, конечно, куда больше, чем орден Св. Владимира 1-й степени и чин генерала от кавалерии, которые князь получил за турецкую кампанию.

Как раз в год окончания русско-турецкой войны в Порхове родилась Павла Леонтьевна Вульф – замечательная русская и советская актриса, заслуженная артистка Республики и театральный педагог. Теперь ее, кроме историков театра, увы, мало кто помнит, зато ее ученицу, Фаину Георгиевну Раневскую, помнят все.

В восемьсот восемьдесят седьмом году Порхов праздновал пятисотлетний юбилей своих крепостных стен. Псковский губернатор барон Икскуль прислал приветственную телеграмму, в которой писал: «...сердечно желаю, чтобы новая половина тысячелетия ознаменовалась усугублением старой доблести и благосостояния». Из Гродно поздравлял епископ Брестский Анастасий: «Из пределов некогда враждебной Порхову, ныне же Божиею милостию преданной Русскому Царю, Литвы шлем сердечный привет родному нам городу и поздравление с его знаменательным юбилейным праздником...». Поздравительные телеграммы пришли из Риги, Ревеля, Харькова, Пскова, Острова, Опочки, Старой Руссы, Новгорода Великого, Новоржева и Торопца. Первый порховский летописец Евгений Лебедев в Псковском городском листке опубликовал заметку, посвященную юбилею Порховской крепости: «Незатен Порхов теперь, немногим более славен он был и несколько столетий назад, сперва в качестве пригорода Господина Великого Новгорода, а потом сделавшись с конца XV века отчиною великих князей и царей Московских... Но давно встречаются в истории и многие маленькие города в роде празднующего свой юбилей Порхова. Последний не играл какой-либо видной роли в русской истории... все значение Порхова сводилось к тому, что твердыни его лишь сдерживали наступательное движение врагов. Впрочем, и это был хотя скромный, но честный исторический труд в деле охранения исконной русской территории и народности...».

За шесть лет до юбилея Лебедев, тогда еще студент столичной Духовной Академии, писал в Вестнике Псковского губернского земства: «Наш Порхов, занимающий невысокое место в ряду русских городов и не имеющий известности, вправе, однако, обратить на себя внимание в историко-археологическом отношении. ...Теперь же – *sic transit gloria mundi* – стены, видевшие пред собою и отражавшие грозные полчища литовского князя Витовта, чуди, польского короля Стефана Батория, шведов под предводительством Делагарди – окружают собой огород, принадлежащий крепостной церкви и отдаваемый от нее в аренду! Стенам, защищавшим некогда порховичей и окрестных жителей от неприятельских набегов, суждено в конце концов охранять от разграбления городских ребят и скота огурцы, лук, морковь и капусту!

Всепожирающее время и невежество делают, конечно, свое дело... Но это не оправдывает общественного равнодушия и невнимания к древности. Настоящее время пробуждения русского исторического самосознания понятно направляет везде к исследованию, сбережению и почитанию отечественной старины и ее памятников... Не мешало бы и порховичам с

подобающим уважением отнестись к своей старине. Обыкновенно любят украшать свежими растениями и цветами могилы дорогих умерших. Отчего бы не украсить чем-нибудь подобным и серые полуразрушенные стены, и башни – этот красноречивый памятник давно минувшей жизни и братскую могилу предков, проливших кровь в борьбе с врагами родины? Вместо огорода, существование которого в крепости совершенно не гармонирует ни с исторической важностью места, ни с близостью древнего патронального храма св. Николая, – было бы приличнее, по примеру Пскова, рассадить городской сад (земли под крепостью 1 десятина и 1313 кв. саж.), конечно не для гуляний с музыкой и увеселениями, а для скромной прогулки и серьезного размышления о прошедшем. Ведь в прошедшем, в истории вся наша нравственная связь, из прошедшего же можно извлечь прекрасные уроки для настоящего – особенно ввиду того, что наше русское общество, призванное действовать дружными усилиями, все еще смотрит врознь и ходит вразброд. В древних развалинах, сослуживших когда-то посильную службу общему делу защиты русской земли от различных внешних врагов, каждый должен видеть напоминание собственных обязанностей на пользу общественно-государственную!»

Ботанический сад будет. Его устроит семья прибалтийских немцев, проживавших в крепости сразу после девятьсот семнадцатого года. Он и сейчас есть и даже ухожен, но что касается скромных прогулок и размышления о прошедшем... Туристам некогда – у них по плану после экскурсии по крепости обед, посадка в автобус и отъезд в Псков, Петербург или Новгород, а местные жители здесь не прогуливаются. Что касается общественного равнодушия, невежества, извлечения прекрасных уроков для настоящего, особенно ввиду того, что наше общество как смотрело врознь, как ходило вразброд, так и...

Не будем, однако, чрезмерно строги к провинциальному Порхову. Можно подумать, что кроме него у нас нет других городов, в которых общество и ходит, и смотрит точно так же. Кстати, о провинциальности. В юбилейный год приезжал в Порхов вел. кн. Владимир Александрович, а вместе с ним, вернее, в его свите, приезжал Константин Константинович Случевский – поэт, писатель, драматург и переводчик. Приезжал он, конечно, не в этом качестве, а как чиновник для особых поручений министерства внутренних дел. Ничего интересного для краеведа в описании Порхова у Случевского не найти – перечисление давно известных фактов из истории крепости и города, а вот обидное во фразе «Вот хоть бы и Порхов, один из самых невидных провинциальных центров наших...» найти определенно можно.

В «невидном» Порхове в восемьсот семьдесят седьмом году проживало 4415 человек. Мужчин и женщин почти поровну. По данным губернского статистического комитета домов в городе «исчислено 540, из них принадлежит: дворянам 37, духовным 16, купцам и почетным гражданам 52, мещанам 288, крестьянам 86, разночинцам 61... Каменных зданий 137, деревянных 1810 и смешанных 19. Из них крыто железом 112, деревом 1241, толем 6 и соломой 605. Квартир всего 1027, следовательно, на каждую квартиру приходится 4,3 чел. Комнат исчислено всех 2855, в том числе занятых населением 2418, поэтому на каждую комнату приходится 1,6 чел.».

С одной стороны, все эти скучные цифры современному читателю ни к чему. Так же, как и данные о количестве скотины, которую держали порховичи – 317 лошадей, 506 голов крупного рогатого скота, 93 овцы, 221 свиньи и 19 коз, но представьте себе, что вы летите над уздым городом как Шагал, но без жены, над церквями, над домами, крыши которых крыты большей частью деревом или соломой. Сверху не видно, но в хлевах стоят коровы, свиньи, козы, а в конюшнях лошади. Запах навоза поднимается до верхних слоев тропосферы. В квартирах проживает по четыре с лишним человека, а в каждой комнате чуть больше, чем по полтора. Кто-то обедает щами и гречневой кашей с грибами, кто-то доит корову или козу, кто-то точит нож, чтобы зарезать свинью, кто-то читает газету, кто-то зеваает глядя в окно, кто-то тайком от супруги достал из буфета графин с анисовой настойкой и опрокидывает одну рюмку за другой, кто-то бренчит на гитаре, гриф которой перевязан красным шелковым бантом, кто-то обещает кого-то выпороть за вторую двойку по арифметике и даже хватается за ремень, кто-то молится, кто-то плачет в подушку и мечтает улететь из Порхова хоть на Луну... Никого из них уже нет. От

большинства остались только эти скучные цифры, собранные губернскими статистиками да может быть несколько крестов на кладбище.

Занимались горожане большей частью хлебопашеством и мелочной торговлей. Хлебопашцев, правда, немного – всего четырнадцать процентов. Имелись и ремесленники – сорок два извозчика, четыре часовщика, два ювелира, один трубочист, три переплетчика, семь кузнецов, гончар, бондарь, семь булочников, два колбасника, одиннадцать портных, пять сапожников, две модистки, пять башмачников, четыре шапочника, два слесаря, шесть столяров и ни одного парикмахера. Жили тихо – за год всего одно убийство, между тем как в уезде за тот же год шестнадцать. Самоубийств и вовсе не было. Вот только два человека умерло от пьянства. При том, что в уезде от него же отдало Богу души шестнадцать человек.

Промышленность в Порхове... самая обыкновенная уездная промышленность конца позапрошлого века – кожевенный завод с десятком рабочих, пивоваренный с пятью рабочими, три мукомольных с пятью рабочими на всех трех, свечной с одним рабочим, таких же масштабов гончарный, два синильных. Рабочих везде раз-два и обчелся. Продукции эти заводы производили в год... кот заплакал: свечной завод на 482 рубля, три мукомольных на 1305 рублей, гончарный и вовсе на сто рублей, пивоваренный на 6120 рублей, а кожевенный, на котором работало десять человек, вырабатывал кож на восемь тысяч рублей.

Только на трех льняных заводах работало полсотни человек. Правда, основные мощности по переработке льна были расположены в уезде. Вот тут Порховскому уезду есть чем удивить, если не поразить воображение. В тот год в уезде было произведено почти полмиллиона пудов льняного волокна на миллион шестьсот тысяч рублей серебром. Это не только первое место в губернии, но больше, чем производство льна за тот же период в Великобритании, Швеции, Дании и Греции вместе взятых.

В девяносто седьмом году через Порхов проходит железная дорога, соединившая станцию Дно, расположенную в Порховском уезде, и Псков. В этом же году построено здание вокзала и проложен до него из центра города бульвар.

Добавим еще несколько штрихов к портрету Порхова конца девятнадцатого века. Всех торговых заведений в Порхове к концу века было 261. Из них трактиров сорок один, а все остальное разного рода лавки, суммарный торговый оборот которых составлял более миллиона рублей. Прибавим сюда типографию, литографию, две библиотеки, книжную лавку, аптеку, две нотариальных конторы, земскую больницу на полсотни коек, четыре похоронных кассы с ежегодным оборотом в двадцать тысяч рублей, ссудно-сберегательное товарищество, вольное пожарное общество, в котором состояло сто двадцать два члена, общественную богадельню Жукова с пятьюдесятью призреваемыми, при ней бесплатную столовую для бедных, приют с семнадцатью детьми, общественный банк с капиталом в почти пятьдесят тысяч рублей и... нет, не все. К концу века в Порхове лавинообразно размножились сапожники и портные – первых стало восемьдесят, а вторых пятьдесят. Вот теперь все. Можно переходить к двадцатому веку.

Снова о железной дороге. В сентябре девятьсот первого года открыли движение пассажирских и товарных поездов на участке Петербург – Витебск от станции Дно до станции Новосокольники. Появилось на этом участке пять новых станций. С одной стороны, это, конечно, хорошо – торговать стало удобнее, уезд стал быстрее развиваться, появились рабочие места на станциях, в паровозных депо и в путевых хозяйствах, а с другой... Большую часть контор, торговавших льном, их владельцы перенесли из Порхова поближе к железной дороге. С третьей стороны, началась массовая миграция крестьян-отходников в Петербург на заработки и до сих пор никак не закончится.

Порхов начала двадцатого века мало чем отличался от Порхова конца девятнадцатого, и все же... Раскинулся он на площади в 274 десятины или всего на трех квадратных километрах. На этих километрах умещались: сорок одна улица общей длиной двадцать пять верст, из которых замощено было только шесть. Длина тротуаров, вымощенных плитами известняка или булыжником, и вовсе полторы версты плюс три площади, сквер и два бульвара. Жилых домов около восьмисот. Из них деревянных семьсот. Остальные каменные и полукаменные. К домам

прибавим десять церквей, два кладбища, женскую гимназию, начальное, приходское и духовное училища, а в двенадцатом году к ним добавилось еще и реальное училище³⁸, построенное на деньги промышленника Владимира Петровича Ардамацкого. Водопровод отнимем. Не было водопровода и не планировалось. Сто один уличный фонарь прибавим. Керосиновый, конечно, не электрический. Освещались улицы Петербургская, Песчаная, Смоленская и Соборная площадь. Перед самой Первой мировой войной появились в городе два электрических фонаря – один освещал улицу перед домом владельца винокуренного завода Тютчева, а второй перед домом купца Кожевникова. Телефон можно и не прибавлять – он был всего один и соединял дом городского головы Петра Петровича Зацкого с его же овчинно-шубным заводом, принадлежавшим ему и его жене Марии Александровне Шелониной. Это было самое крупное предприятие в городе. В девятьсот тринадцатом году на нем работало сто десять человек, а через два года уже двести десять. Овчинно-шубная фабрика была и самым передовым предприятием Порхова – на ней были установлены паровая машина мощностью в сорок лошадиных сил, паровой котел, подошвенный каток для прокатки кож, водяная турбина и паровой локомобиль. Второе, третье и четвертое место в городе занимали кирпичный завод, винокуренная и бечевочная фабрики. На этих предприятиях работало по несколько десятков человек. Типография тоже могла считаться предприятием, но на ней работало всего четыре человека.

Теперь о торговле. В центре города, на Петербургской улице, располагались лучшие порховские магазины: шляпный Каина, шапочные Гирша и Маилова, кондитерская Зайцева, булочная Ермолаева, косметический магазин Линде, бакалея Вульфа и Фендорфа, колбасная лавка братьев Ковалевых, булочная Перфильевых, аптека, несколько винных и продуктовых лавок. Жагот и Фишер торговали галантерейными товарами, Бажбауэр – хрустальной, фарфоровой и фаянсовой посудой, Кожевников и Ванюков – тканями от льняных до бархата и парчи. Петербургская контора известных на всю Россию чаеоторговцев братьев Перловых держала в Порхове бакалейный магазин, как сказали бы сейчас, премиум-класса. У дверей покупателей встречал директор. В рыбной лавке купца Усанова торговали речной и озерной рыбой со всей губернии. На Смоленской улице был колбасный магазин Фрейндорфа, а на Песчаной, у Брунова, перед Рождеством и Пасхой принимали заказы на копчение свиных окороков. Державшие или покупавшие свиней и поросят горожане безжалостно резали их к праздникам. Для любителей музыки имелся салон, продававший граммофоны, а для любителей шить – салон, где продавались швейные машины «Зингер». Салоны эти были удивительны тем, что в них можно было приобрести граммофоны и швейные машины в кредит. К кредиту в те времена в провинции еще не привыкли ни покупатели, ни продавцы. В дополнение ко всем этим магазинам и лавкам в Порхове имелись торговые ряды и два рынка – продуктовый и строительный. Готовую мебель купить было невозможно. Принято было ее заказывать местным столярам.

Воду из Шелони для питьевых нужд не брали. Она и тогда была нехороша для питья, и сейчас не лучше. Почти на каждой улице имелись колодцы с родниковой водой. Воду из реки брали для тушения пожаров. В ней же стирали и полоскали белье. Городские власти для этих целей устанавливали несколько плотов на привязи.

Не нужно, однако, думать, что Порхов был медвежьим углом, где только и можно было резать свинью перед Рождеством, закоптить окорок и пройтись по торговым рядам в рассуждении купить колбасы, фарфоровой посуды, хрустальных рюмок, коньяка Шустова, мраморного мыла Жукова и керосина братьев Нобель. Для культурного отдыха в городе имелось два сада – Бухарова и Севостьянова. В первом владельцем был построен летний театр на полторы сотни мест. В театре давались концерты, спектакли, читались лекции и показывали кино. В спектаклях принимали участие не только провинциальные, но даже столичные актеры Александринского театра – Екатерина Корчагина-Александровская, Василий Топорков, Павел Лешков. Попасть на спектакли с их участием было непросто. Ставили кроме, разумеется, комедий и серьезные пьесы – «На дне», «Мещане», «Власть тьмы». Правда, в рецензии на спектакль «На дне» писали, что содержание пьесы, несмотря на хорошую игру актеров, «не понравилось девяти десяткам порховичей».

На втором этаже здания летнего театра помещался ресторан. На входе в него по моде тех лет стояло огромное чучело медведя с большим блюдом руках. В вечернее время и здание театра, и сад освещались электричеством. Нужно сказать, что в саду Бухарова не только ставились спектакли и читались лекции. В двенадцатом году здесь прошел чемпионат по французской (греко-римской) борьбе. Победил в нем уроженец Порховского уезда Николай Быков.

В саду Севастьянова... было почти то же самое, но с некоторыми отличиями. Кроме летней сцены владелец сада построил раковину для музыкантов, и в этой раковине по вечерам играли заезжие музыканты, а с началом Первой мировой войны – духовой оркестр 120-го запасного полка, расквартированного в Порхове. В полку имелся еще и самодеятельный драмкружок, развлекавший горожан спектаклями, по большей части комедийными. Женские роли в таких комедиях исполняли солдаты и унтер-офицеры. И это не все. В центре города на Петербургской улице в девяносто двенадцатом году открылся синемаграф «Фантазия». Перед началом сеанса несколько дюжих мужчин-добровольцев помогали механику синемаграфа раскрутить маховик двигателя динамо-машины. К сожалению, в начале Первой мировой войны «Фантазия» закрылась и на ее месте устроили военный склад.

Имелись в Порхове начала века и развлечения менее культурные, чем театр или синемаграф. На ежегодной осенней ярмарке непременно участниками были бродячие трупы циркачей и кукольников. На правом берегу Шелони, возле железнодорожного моста был даже настоящий ипподром с беговыми дорожками, трибунами и конюшнями. Правда, он популярностью у горожан не пользовался и в самом скором времени закрылся. Популярностью пользовались шарманщики – они, по воспоминаниям современников, в Порхове не переводились.

Оставим шарманщиков и обратимся к беспорядкам девяносто пятого и девяносто шестого годов в городе и уезде. В девяносто пятом в Порхове все ограничилось разбрасыванием листовок и прокламаций. Десятого февраля началась и... быстро закончилась забастовка рабочих паровозного депо на станции Дно. Рабочие, правда, успели прогнать телеграфистов, отключить телеграфный аппарат и построить баррикаду на железнодорожных путях, чтобы задержать поезд Бологое – Псков, но из Пскова власти незамедлительно прислали роту солдат, и движение было восстановлено. Уже на следующий день забастовщики вышли на работу. Девятого января девяносто шестого года порховский исправник доносил в Псков: «В настроении сельского населения вверенного мне уезда перемен за последнее время не произошло. Крестьяне по-прежнему находятся в напряженно-выжидательном состоянии. Самовольно вырубали лес почти во всех селениях Бельской и Дубенской волостей». Крестьян наказали – нескольких зачинщиков посадили в тюрьму. В конце мая девяносто шестого в Порхове на улицы вышли с красными флагами учащиеся городских училищ. Собралось около семидесяти человек. Походили и разошлись. Власти ответили арестами порховской группы социал-демократов и высылкой их под надзор полиции в Вологодскую губернию. В ссылку попала земская учительница, занимавшаяся агитацией среди крестьян в уезде, а один из активных рабочих агитаторов на станции Дно даже отправился на каторгу, но уже в начале девяносто седьмого года все революционное движение в городе и уезде, которое и без того было не очень революционным и не очень движением, пошло на убыль и к лету прекратилось совсем.

Параллельно с участием в беспорядках или в первой русской революции порховичи приняли участие в русско-японской войне. Участие это, как и в крымской кампании, было скромным. Из города и уезда мобилизовали без малого тысячу семьсот человек. Все это были, за редким исключением, рядовые. Из Порхова призвали двух отставных прапорщиков. Повысились цены на продукты в связи с тем, что призванных нужно было кормить, а питейная торговля понесла большие убытки – псковский губернатор Адлерберг запретил ее по всему пути следования мобилизованных к пунктам сбора. Пять сирот, потерявших родителей на этой войне, были приняты под покровительство Алексеевского главного комитета³⁹ по городу Порхову. Две девочки и три мальчика в возрасте от трех до шести лет. Вот и все участие.

Вернемся к мирной жизни, которой осталось до четырнадцатого года всего ничего. Начнем с культурной жизни. В девяносто восьмом году в Порхове появился любительский театр.

Через три года построили кинематограф. Перед Первой мировой войной в городском парке построили специальное здание для драмтеатра. При нем же устроили и кинозал. Не знаю – можно ли назвать прилет самолета в Порхов явлением культурной жизни, но приземлившийся на поле возле городского кладбища крошечный «Ньюпор» собрал возле себя такие толпы горожан, что полиция на всякий случай огородила аэроплан канатами и выставила охрану, а самого летчика городской голова увез к себе в гости. В девятьсот пятнадцатом году стараниями Порховского уездного земства было закончена прокладка телефонной сети, соединившей Порхов, Сольцы и Дно – наиболее крупные населенные пункты уезда. Телефоны установили во всех волостных правлениях, полицейских и медицинских участках, в учреждениях должностным лицам и даже частным абонентам. Как грибы после дождя росли самые различные общества – сельскохозяйственные, садоводства и огородничества, пчеловодства, Порховский женский клуб, Порховское общественное собрание и общество музыкально-драматического искусства. В девятьсот первом году был учрежден устав Порховского общества трезвости и воздержания от сквернословия. Хотите верьте, хотите нет, но членами общества были двести семьдесят восемь человек.

В тринадцатом году Порхов, как и вся империя, отмечал трехсотлетие дома Романовых. Отмечали пышно – в Свято-Благовещенском соборе отслужили литургию в присутствии городского и уездного начальства, потом священник произнес слово о доме Романовых, потом крестный ход, потом благодарственный молебен у бюста Николая Второго с провозглашением многолетия всему царствующему дому, потом парад, в котором приняли участие военные и духовой оркестр 94-го Енисейского пехотного полка, конная полицейская стража, вольное пожарное общество и учащиеся реального училища, потом торжественное заседание представителей всех городских сословий в здании городской думы, потом заместитель предводителя уездного дворянства произнес речь и зачитал текст поздравительной телеграммы императору. После еще одного доклада, который сделал директор реального училища, стали пить шампанское за здоровье императора и царствующей фамилии. Вечером в городском драматическом театре давали оперу «Жизнь за царя». Ну и конечно иллюминация, флаги на домах и народные гуляния.

В том же году, в октябре, статский советник князь Андрей Григорьевич Гагарин – ученый, инженер и первый директор Санкт-Петербургского Политехнического института в двенадцати верстах от Порхова в имении Холомки построил для своей большой семьи дом по проекту архитектора Ивана Александровича Фомина. В тринадцатом году это просто усадебный дом, хотя памятником архитектуры неоклассицизма он стал уже при рождении. Пока он в нашей истории как ружье, повешенное на стену в первом акте. Его еще доделывали до июня следующего года, а в конце июля началась Первая мировая война. Сыновья Андрея Григорьевича ушли на фронт, а сам он оборудовал в доме на свой счет лазарет на пятнадцать коек для раненых и больных солдат, за которыми ухаживали его жена и дочь.

В Порхове тоже организовали два лазарета, куда привозили с фронта раненых и больных сыпным тифом. По городу что ни день ходили инициированные властями демонстрации верноподданных граждан империи с портретами царя, хоругвями, иконами и попами. Заработал цех по производству ручных гранат. Местные ремесленники делали для нужд армии одноконные и пароконные повозки, лошадиную сбрую, шили полушубки. Уже осенью четырнадцатого года в Порхов прибыл первый эшелон с беженцами из Прибалтики и Польши. С появлением беженцев повысились цены на продукты питания, которые и без того были немаленькими. Повысились не только цены, но и призывной возраст. В Порхове расквартировали запасные 63-й и 120-й пехотные полки, задачей которых было формировать маршевые батальоны и отправлять их на фронт⁴⁰. По мере того, как линия Северного фронта приближалась к городу, состав гарнизона стал меняться с калейдоскопической быстротой. В шестнадцатом году в Порхов прибыл черкесский кавалерийский эскадрон на случай прорыва немцами линии фронта за Псковом или подавления крестьянских беспорядков. В ожидании прорыва и беспорядков эскадрон сам стал источником последних – черкесы самовольно совершали набеги на дворянские усадьбы с целью самого обычного грабежа. К счастью, эскадрон быстро отправили на фронт⁴¹.

Примечания

²⁵Сведений об общественной жизни Порхова и уезда, а тем более личной жизни порховичей первой четверти восемнадцатого века дошло до нас исчезающе мало, но все же они есть. Нет, стихи порховского воеводы, любовные письма его жены стрелецкому сотнику и материалы следствия по делу о том, как порховские портные передрались между собой, выясняя, кто из них будет шить платье нового покроя воеводине, до нас не дошли. Дошло донесение в Архиерейский разряд архиепископу Новгородскому и Великолуцкому Феодосию, датированное декабрем семьсот двадцать второго года. Написано оно священником Карачуницкого погоста Шелонской пятины Новгородского уезда Аристархом Иосифовым, занимавшим должность проверяющего, то есть имеющего право решать и судить дела в церковной сфере округа Зарусской половины – той части Шелонской пятины, в которой, собственно, и располагался Порхов и его околородье. «...1722 в ноябре месяце был я... в Болчинском погосте в церкви Живоначальны Троицы, и тое церкви поп, Матвей Яковлев, нерадением и безчинством своим в пределе мученицы Параскевы на престоле антиминс сверчен и мят в куче лежит с покрывалом на одном углу, и завеса у царских дверей не задета. Да он же пьет, поп, пьет и ходит на кабаки, и напився пьяно, сего декабря 27 дня пришел в церковь Богородицы Покрова в погребение мною дочери моей духовной, девицы Матрены Лаврентьевой, не сотворя святыя церкви поклонения, чинил мятеж и сквернословил, бранился матерны... и заперся с попадьей в церкви, ломал церковные двери изнутри и стук великий чинил, и во время чтения мною гевангелия на погребении и внутри церкви всякими скверными словами сквернословил при свидетелях».

Короче говоря, навел шороху в подведомственной ему церкви Матвей Яковлев. Тем не менее виновным он себя не признал, упорно все отрицал и говорил на допросе, что «пьян никогда не бывает, и на кабаки никуда не ходит», хотя и уличен был свидетелями – собственным братом диаконом Тихоном Яковлевым, пономарем Алексеем Леонтьевым, отцом этого пономаря Леонтием Артемьевым, диаконом Ульяном Гавриловым и еще одним пономарем Федором Петровым. Пришлось отцу Матвею, пока шло следствие по его делу, посидеть под караулом в Новгороде несколько месяцев и написать Новгородскому архиепископу челобитную, в которой он просит отпустить его домой, потому как у него и покос, и сбор хлеба, и сев озимых. Сельскому священнику в те времена приходилось и пахать, и сеять, и хлеб убирать, чтобы, как пишет Яковлев, «не притыти во всеконечную скудость и з домашними не истаеть от гладов великих...». Самое удивительное, что челобитная возымела действие, и Яковлева отдали под расписку поручителей с условием по первому требованию явиться на допрос в Новгород. Увы, чем кончилось это дело, мы не знаем, поскольку в нем отсутствует заключительная часть.

²⁶В этой поездке сопровождал ее французский посол граф де Сегюр, записавший в своем дневнике: «приехали в Порхов – замечательный город, где псковский губернатор князь Репнин принял нас торжественно и пышно».

Императрица между двумя этими визитами проезжала через Порхов и ночевала там в семьсот восемьдесят четвертом году. За версту от города ее встречали городничий с купечеством, а в Дубровне, где она обедала, ее встречали и провожали уездный судья с заседателями, уездный землемер и уездный предводитель дворянства с представителями дворянства. Ничего особенного в этот визит не произошло. Просто проехала и все, но как представишь себе обсаженную молодыми березками недавно проложенную дорогу, городничего верхом при полном параде, его коня, прядящего ушами, купцов в долгополых кафтанах и одного из них – самого высокого и дородного, держащего в больших красных руках резное деревянное блюдо, на котором на вышитой салфетке воздвигнут пухлый каравай с серебряной солонкой, какую-то бабу, обмахивающую чистой тряпичей пылью, уже успевшую сесть на каравай, еле заметное маленькое облако пыли вдалеке, бестолковую суету, внезапный, как выстрел, крик «Едут! Едут!», городничего, вытирающего огромным фуляровым платком вспотевшую шею себе и своему коню, коня, в нетерпении переступающего с ноги на ногу, купцов, нервно оглаживающих свои бороды, мгновенно простывший след от бабы, стряхивавшей пылью с каравая, нахальную муху, не вовремя севшую на край солонки...

²⁷Сын Кожина лейб-гвардии поручик Петр Кожин в 1789 г был убит своими крестьянами за жестокость.

²⁸О Николае Михайловиче Бороздине нужно сказать особо. Происходил он из дворян Псковской губернии. Родился в имении Бороздиных, в селе Костыжицы Порховского уезда. В молодости был хорош собой, прекрасно пел, фехтовал, танцевал и ездил верхом. При Павле Первом отсидел шесть недель в крепости. По официальной версии «за хвастовство, что он будет пожалован к Его Императорскому Величеству во флигель-адъютанты», а по неофициальной за то, что имел неосторожность понравиться фаворитке императора – княгине Гагариной. Он и стал флигель-адъютантом в восемьсот третьем году, но уже после убийства Павла Петровича, участником заговора против которого он был и не просто был, а входил в число тех четырнадцати человек, которые ворвались в покои императора в ночь убийства. Через год после своего производства во флигель-адъютанты Николай Михайлович женился на Елизавете Жеребцовой. Воевал храбро, принимал участие в заграничных походах русской армии в восемьсот пятом и восемьсот седьмом годах. Был награжден орденом Св. Георгия 4-го класса и золотым оружием за храбрость. Потом Отечественная война, потом снова заграничные походы. Бороздин командует сначала кирасирской бригадой, потом дивизией драгун. В наградном рапорте на Николая Бороздина после Бородинского сражения главнокомандующий Михаил Илларионович Кутузов писал: «...генерал-майор Бороздин привел 1-ю кирасирскую дивизию и повел оную с большим порядком и мужеством в атаку, опрокинул неприятельскую кавалерию... и после жестокого кавалерийского боя неприятельская конница вовсе была сбита и принуждена удалиться».

В восемьсот восемнадцатом году жену Бороздина за заслуги мужа пожаловали в кавалерственные дамы ордена Св. Екатерины. К этому времени она родила мужу пятеро детей – четырех девочек и одного мальчика. Все, казалось, шло хорошо – Бороздин был оваянный славой генерал, командующий резервным кавалерийским корпусом, жена – кавалерственная дама и многодетная мать, но... черт дернул Николая Михайловича неожиданно возвратиться из Воронежа, где стоял его корпус, в Петербург, и вдруг оказалось, что супруга его, пока муж был на службе, сошлась с французским генералом Ипполитом де Пире и забеременела от него. Угораздило ее к приезду мужа родить сына от французца. Бороздин немедленно подал прошение императору о разводе, но Александр Первый не любил громких скандалов и уговорил Николая Михайловича не разводиться. В том же году жена Бороздина вместе с новорожденным сыном уехала в Париж, где уже ждал ее генерал Пире. Николай Михайлович отписал жене все свои имения, оговорив лишь одно условие – никогда не возвращаться в Россию. Она и не вернулась – умерла в Париже от сухотки. Похоронили ее на кладбище Монмартр, а спустя некоторое время прах перевезли в Россию и перезахоронили в семейном склепе Бороздиных в селе Костыжицы.

Николай Михайлович после отъезда жены остался без гроша в кармане с пятью детьми в возрасте от четырех до пятнадцати лет на руках. Службу он, понятное дело, не бросил. В восемьсот двадцать шестом году был произведен в генералы от кавалерии и во время русско-турецкой войны, которая последовала через три года после его производства, командовал сводным корпусом, охранявшим тыл нашей армии, переправившейся через Дунай. В двадцать девятом году, хотя и было ему всего пятьдесят два года, вышел по болезни в отставку. Жил в имении старшей дочери Елизаветы. Недолго жил – через год, приехав в столицу на выпуск двух младших дочерей из Екатерининского института, заболел и, умирая на руках жандармского генерала Балабина, просил передать императору просьбу не оставлять детей. Балабин через Бенкендорфа передал, и Николай Первый пообещал Бороздину детей не оставить и прибавил, что он сам будет «их отцом». Император слово сдержал и детей Бороздина не забыл. Трех дочерей сделали фрейлинами. В воспоминаниях Александры Осиповны Смирновой-Россет по этому поводу сказано: «В это время при Дворе появились три сестры Бороздины, сироты, дети очень уважаемого отца и совершенно невозможной матери».

Похоронили генерала от кавалерии и Георгиевского кавалера в селе Костыжицы в семейном склепе, под церковью во имя Казанской иконы Божией матери, которую в восемьсот втором году сам Бороздин и построил. Там же лежат его сын – предводитель Порховского уездного дворянства Александр Николаевич и внук – Николай Александрович. При Советской власти церковь закрыли,

а ее священника в тридцать втором осудили на пять лет и сослали в Казахстан. Простоял храм до восемьдесят шестого года. К тому времени от него остались три полуразрушенных стены. Тогда же стали прокладывать здесь дорогу и бульдозером снесли остатки церкви. Прах Николая Михайловича и других Бороздиных не нашли. Могильные плиты разбили – искали в гробах ценности. Все же нашлись люди, собравшие обломки надгробных плит и устроившие памятник и памятный знак у дороги*. Мраморная плита памятного знака потрескалась, да и сам памятник не Бог весть какой – бетонный куб с медальоном-портретом Николая Михайловича, порядком обветшавший и осыпавшийся. Торчит из него арматура, а денег на приведение его в порядок, как водится, нет. В нынешнем, двадцать втором году, местные активисты выиграли грант на двести тысяч, но на восстановление памятника нужно раз в пять больше. Активисты не унывают и собираются подать документы на новый грант. Может, его и дадут...

*Кстати сказать, могилы защитника батареи Раевского при Бородине генерал-майора Лихачева, умершего от ран в восемьсот тринадцатом году и похороненного в родовом имении в деревне Тягуще Порховского уезда, теперь и вовсе найти нельзя, а уж о памятнике и говорить не приходится.

²⁹Адам Иванович Ноинский был большой любитель штрафовать крестьян. За самовольную отлучку в Петербург – двадцать пять рублей. Столько же за самовольную продажу коровы или лошади, за погребение младенца без священника. Любоеслушание каралось штрафом от двадцати до пятидесяти рублей. Крестьянин Иван Григорьев должен был заплатить пятьдесят рублей «за допущение к побегу дочерей своих, назначенных в замужество». За написание жалобы на самого Ноинского полагалось отдать ему двести рублей. Узнал, что на барина пишется жалоба, и ему не донес – приготовить двадцать пять рублей. Пирамиду штрафов венчал штраф за «вздор». Наговорил лишнего – плати двадцать пять рублей. Все штрафы аккуратно записывались и неукоснительно взимались. У некоторых крестьян суммы штрафов достигали нескольких тысяч рублей.

Это все с одной стороны, а с другой... Адам Иванович был юристом, кавалером семи российских орденов, в том числе ордена Св. Александра Невского, трижды за успехи по службе награждался императорами бриллиантовыми перстнями, причем один из этих перстней был украшен вензелем Николая Первого, дослужился до тайного советника, занимал должности воронежского губернского прокурора, члена Совета военного министра, генерал-аудитора Главного штаба... Когда он успевал, находясь на службе в столице, постоянно придумывать штрафы для крестьян – ума не приложу.

И еще. Узнав о жалобе крестьян, Ноинский написал письмо Николаю Первому в марте восемьсот двадцать шестого года, в котором всеподданнейше доносил, что «После происшествия, случившегося в половине декабря прошедшего года в столице, неблагонамеренные распустили между крестьянами разные ложные слухи, которые достигли и моего имени. Несколько крестьян буйного нрава, злобствуя на вотчинное правление, распустили разные нелепые и возмутительные толки...».

³⁰Узнав о том, что в Порхове должна открыться богадельня, Псковский приказ общественного призрения немедленно сообщил Порховской городской думе о том, что хотел бы перевести туда пять уроженцев Порховского уезда, призреваемых в Пскове. Жуков попросил городскую думу передать в Псков, что в его богадельне будут жить только коренные жители Порхова, а не уезда.

На открытие богадельни приехал псковский губернатор, многие порховские дворяне и все чиновники. Сначала все представилось губернатору в зале местного дворянского собрания. Потом все отправились в Троицкий собор на литургию по случаю праздника Успения. После молебна духовенство, почетные гости и народ, в числе которого были тридцать два старика и старухи, одетые в форменную одежду богадельни, крестным ходом направились в богадельню для ее освящения. Там для призреваемых была приготовлена, как писали Псковские губернские ведомости, «сытная и даже роскошная трапеза». Для почетных гостей в тот же день Жуков дал праздничный обед с музыкой, а завершилось открытие богадельни и банка народным гуляньем, причем по Шелони плавали иллюминированные баркасы, на которых играли музыканты и выступали песенники. На

следующий день праздник продолжился. Вице-президент Академии наук князь Дондуков-Корсаков принял в своем имении Полоное возле Порхова губернатора и других гостей. Все закончилось обедом в честь Жукова, данным городом.

³¹В девятьсот четвертом году Жукову благодарные порховичи поставили небольшой памятник между богадельней и приютом. Имя Жукова присвоили мосту через Шелонь и проспекту. В девятьсот восемнадцатом году памятник убрали, проспект переименовали, дав ему революционное название «25 Октября», а мост был разрушен во время Великой Отечественной войны. Только строка Пушкина и сейчас выглядит как новенькая.

³²Преподобный Никандр Псковский, пустынный Порховский и Псковский – местночтимый святой, живший в шестнадцатом веке возле Порхова. После смерти преподобного Никандра, на месте его обители, был создан монастырь, который стали называть Никандровой пустынью. В двадцатые годы двадцатого века монастырь был разрушен.

³³У него действительно была такая фамилия. Я ее не придумал.

³⁴С учителями тоже все было не слава богу. Они часто менялись. Одного в тридцать шестом году перевели из Порхова в Холм «в виде наказания за леность и неумение повиноваться старшим». Другого из Холма в Порхов с целью исправления – «за беспечность и предосудительное поведение». Третьего из Порхова в Новоржев «за неприличное и дерзкое обращение с учениками». Четвертому, пятому и шестому директор делал замечания «за опаздывание на уроки и за малое усердие их к службе».

³⁵Сейчас, через полтора года, больницы в Березе и вовсе нет, а фельдшерско-акушерский медицинский пункт ликвидирован. Дотянулись туда руки оптимизаторов нашего здравоохранения и ликвидировали. Там еще и школы нет, но не о ней сейчас речь. Лечиться нужно ехать в Порхов. Правда, если вам хватит таблетки, перевязки или укола, можно добраться до волостного села Павы. Километров десять всего. В Павях есть фельдшерско-аптечный пункт. Ну, а если уж таблетки и укол не помогут – тогда в Порхов, в районную больницу. До нее тридцать шесть километров. Туда ходит автобус от Павы. Больницы и школы в селе Старые Буриги тоже нет. Старые Буриги теперь и не село, а деревня, потому как церкви там тоже нет – разобрали. И то сказать – зачем этим деревням школы и больницы, когда жителей в них осталось по несколько десятков человек в каждой, да и те большей частью живут не круглый год, а приезжают на лето.

³⁶У Петра Петровича Балавенского была родная сестра – Анфиса Петровна. К курорту Хилово она, правда, не имела никакого отношения. За девять лет до его открытия Анфиса Петровна написала драму «Честность», которая с неизменным успехом несколько лет шла на главных театральных сценах обеих столиц, что, признаться, удивительно для драмы с таким названием особенно в России. Успех объяснялся тем, что в пьесе была описана нашумевшая в свое время история тайного советника и камергера Политковского, после внезапной смерти которого выяснилось, что он, возглавляя канцелярию Комитета о раненых и распоряжаясь бесконтрольно инвалидным капиталом, украл более миллиона рублей серебром. Уже с мертвого Политковского, лежащего в Никольском соборе на катафалке в мундире, при орденах и медалях, среди которых был знак отличия «За тридцать лет беспорочной службы», сняли по приказу императора мундир, ордена, обрядили в обычный фрак, положили в сосновый гроб и стремительно отвезли отпевать в какую-то захудалую церковь на Выборгской стороне. Непосредственный начальник Политковского – генерал от инфантерии, генерал-адъютант и герой Отечественной войны Павел Николаевич Ушаков, портрет которого кисти Доу висит в известной галерее в Зимнем дворце, умереть перед судом не успел и потому был лишен звания генерал-адъютанта и отдан под суд «за беспорядки, бездействие власти и допущение важного государственного ущерба». Суд постановил его исключить из службы, возместить нанесенный ущерб и заключить на полгода в крепость, где Ушаков, не отсидев и месяца, умер от «упадка сил и расстройства организма». В общем, все умерли.

Анфиса Петровна после успеха своей криминальной драмы написала комедию «Богатая невеста», которая тоже шла на театральных сценах Петербурга и Москвы. За «Богатой невестой» последовала драма «Маскарад», сказка в одном действии «Чародейка»... и тут Балавенская представила в цензурный комитет драму «Капитанская дочка», написанную по повести Пушкина.

Двадцать пять лет добивалась Анфиса Петровна постановки своей пьесы на сцене и двадцать пять лет цензура ей этого не разрешала. Балавенская забросила драматургию и перешла на прозу. Пошли романы «Княжка Маруся», «Ненастье», «Старый дом», «Разоренье», рассказы для детей... Нужно сказать, что романы ее на полках магазинов и библиотек не пылились. Анфису Петровну даже избрали в действительные члены Общества любителей российской словесности в восемьсот восемьдесят первом году. В возрасте шестидесяти девяти лет Балавенская скончалась. Похоронили ее в Порхове. Увы, могила не сохранилась. Между прочим, читатели не знали настоящей фамилии Анфисы Петровны – публиковалась она под фамилией своего мужа Львова.

Вот, собственно, и все про Анфису Петровну Балавенскую. Остается только добавить, что ныне ее романы и пьесы не переиздаются, что читатели о ней знать не знают, но литературоведы, когда пишут о дворянских гнездах и старых домах в русской литературе девятнадцатого века, нет-нет да и вспомнят о романе «Старый дом» А.П. Львовой. Сначала, конечно, напишут умное о концепции старого дома в романах Тургенева и Гончарова, в пьесах Чехова, а потом уж и Анфису Петровну упомянут. Не так уж и мало для писателя, жившего полтора столетия назад.

³⁷В девятьсот шестьдесят седьмом году в честь 50-летия Советской власти колхозу «Красная берёза» Порховского района присвоили имя Н.К. Крупской, а Берёзовской школе, построенной на собственные средства колхозниками, – имя А.Т. Яворской. В семидесятом году прах Яворской, умершей в Москве в тридцать шестом, был перенесен и захоронен в деревне Береза.

³⁸В апреле девятьсот третьего года в уезде в пятнадцать верстах от Порхова в имении «Марьино Дубрава» действительного статского советника Николая Владимировича Спиридонова Псковское губернское земство открыло низшую женскую школу сельского хозяйства и домоводства первого разряда. Преподавали в ней... можно сказать, что все. Во-первых, общеобразовательные предметы, во-вторых, специальные, среди которых, как писал Вестник Псковского губернского земства, «основные сведения из естественных наук; учение о вредных для хозяйства растениях и животных; основные понятия о правильных способах возделывания земли вообще и ухода за полевыми растениями с более подробным изложением таких отраслей, кои доступны женскому труду, как то: садоводство, огородничество и др.; основные сведения по скотоводству и скотовращению вообще, и, в частности, по молочному хозяйству, птицеводству, свиноводству и рыбоводству; краткие сведения по гигиене и уходу за больными детьми; краткие сведения о главнейших законах, относящихся к крестьянскому быту, припасоведение, церковное пение и счетоводство». И такая школа с преподаванием припасоведения называлась низшей...

³⁹Алексеевский главный комитет был учрежден именным указом от 16 июня 1905 в ознаменование рождения цесаревича Алексея Николаевича. Задачей комитета было призрение детей лиц, погибших в войну с Японией.

⁴⁰Казарм в городе не было, и солдат с унтер-офицерами разместили по домам обывателей. Офицеры квартиры могли выбирать. Солдатам и унтер-офицерам полагалось в день четыреста граммов мяса, тысяча двести граммов хлеба, сахар, чай, мука, специи... Все это им царское правительство и выдавало, по крайней мере, в первые годы войны. Кормили и в прямом, и переносном смысле на убой. В каждом доме размещалось не менее отделения. При военных кормились и хозяева домов. С учетом того, что за два года войны пуд ржаной муки подорожал в Порхове в тридцать раз...

⁴¹Еще до прибытия в город кавалерийского эскадрона, в пятнадцатом году, в Порхове произошло событие, которое можно отнести к сугубо мирным. Сын настоятеля Порховского Троицкого собора, преподаватель Новгородской духовной семинарии статский советник Евгений Евгеньевич Лебедев завершил свой фундаментальный труд по истории Порхова «Порхов и его окрестности. Исторический очерк». На тот момент это была самая полная работа по истории Порхова и уезда. Напечатали книгу в Новгороде. Порховское уездное земство выделило на ее издание двести рублей, а Порховская городская дума сто.

Окончание следует.

Михаил БАРУ – Ольга БАЛЛА-ГЕРТМАН

ЭЛЕКТРОНЫ МАЛЕНЬКИХ ГОРОДКОВ

К выходу книги: Михаил Бару. Скатерть английской королевы¹

Книги, как известно, бывают быстрые и медленные, – по скорости чтения, которую они задают читателю сами, сколько бы тот ни сопротивлялся. Книги странствий Михаила Бару (поэта, прозаика, переводчика, путешественника) – и «Непечатные пряники» (2020), и новейшая, «Скатерть английской королевы» (обе вышли в издательстве «Новое литературное обозрение»), – вне всякого сомнения, принадлежат к числу последних. Жизнь русских провинциальных городов (чаще городков), которые объезжает и составляет потом подробные описания их прошлого и настоящего неутомимый автор, множеством фактов из этой жизни, начиная иной раз ещё с дочеловеческих эпох естественной истории (заодно и с некоторыми заглядываниями в несбывшееся и невозможное), эти тексты полны настолько, что передвигаешься по ним буквально в режиме пешего хода. По ним нельзя бежать – то есть можно, конечно, только при этом ничего толком не разглядишь, и может показаться, что всё рассыпается. Между тем все эти факты, сбывшиеся и несбывшиеся, склеены автором крепчайше.

С текстами Бару о городах читатель «Волги» знаком давно, поскольку именно в этом журнале они выходят регулярно, – но, согласитесь, будучи собраны в книгу, в путевую энциклопедию русских поселений, а в конечном счёте, русской провинциальной жизни, и прочитаны подряд, – они приобретают дополнительное качество, которого, будучи рассыпаны по разным журнальным номерам, не обнаруживают: они складываются в цельную картину. О том, что составляет основу этой цельности для читателей – нам ещё постараются объяснить рецензенты, а вот в чём её видит автор – лучше его самого не расскажет никто. Поэтому говорим с Михаилом Бару о смыслах, истоках и тайных пружинах его исследовательского предприятия.

О.Б.-Г.

Ольга Балла-Гертман: *Прежде всего, расскажите, пожалуйста, об истории вашего проекта (это ведь проект?), о зарождении замысла, о том, трансформировался ли он по мере реализации.*

Михаил Бару: Во-первых, с детских лет люблю историю. Во-вторых, по натуре кладоискатель. В-третьих, не могу долго сидеть на одном месте, люблю путешествовать. В-четвертых, люблю изучать то, что не всех интересует. Особенно, когда в малом скрыто многое. Помните, как у Брюсова: «Быть может, эти электроны – / Миры, где пять материков, / Искусства, знания, войны, троны / И память сорока веков!». Для меня маленькие городки как электроны. «Там все, что здесь в объёме сжатом...». В-пятых, они меня интересуют не только как краеведа, но и как бытописателя – все эти воеводы, городовые казаки, стрельцы, городничие, городские головы, секретари райкомов, городские сумасшедшие, изобретатели, купцы, мещане, прохиндеи, прекраснотушные мечтатели, благотворители, учителя, врачи, главы администраций, хранители музейных фондов... В-шестых, у меня амбиции. Теперь-то я понимаю, что непомерные, а когда все только начиналось

¹ М.: Новое литературное обозрение, 2023. – 368 с. – (Серия «Письма русского путешественника»).

полтора десятка лет назад – задумал я не более и не менее, как составить свой Лицевой свод из биографий наших уездных городов или райцентров. Только все его иллюстрации нарисовать словами. Я и представить себе не мог, что тут нужно как минимум девять, как у кошки, жизней и целый батальон, а лучше полк писателей, историков, краеведов и экономистов.

Первые мои очерки были коротенькими и представляли собой не столько биографии и даже не портреты, сколько эскизы и наброски. Я плохо знал материал и руководствовался больше впечатлениями, нежели первоисточниками. Всё было довольно поверхностно. Со временем я стал внимательнее изучать литературу. Стал, что называется, глубже копать, привлекать статистику, справочные материалы, записывать на диктофон рассказы музейных сотрудников и местных жителей. Маршруты экспедиций удлиннились. Как там в «Мертвых душах»: «Чичиков заметил, что он заехал в порядочную глушь». В глушь я забирался целенаправленно. Меня интересовали медвежьи углы, о которых никто или почти никто не пишет, в которые не приезжают туристы и о которых мало кто знает. Я перестал писать очерки и перешел к повестям. От эскизов и моментальных портретов – к подробным биографиям. Если бы я был министром культуры, то приказал бы основать серию «Жизнь незамечательных городов». Я бы давал творческие командировки писателям, чтобы они ездили по стране и писали такие книги. Как Горький инициировал написание «Истории фабрик и заводов», так бы и я... если бы, конечно, был министром или хотя бы начальником какого-нибудь департамента в министерстве культуры. Ещё приказал бы писать живые, а не скучные и сухие биографии, которые чаще всего пишут краеведы и историки, которых хлебом не корми, а дай всё засушить цифрами или фактами из жизни какой-нибудь мукомольной или кожевенной промышленности. Нет, ты, брат, раскопай и напиши мне про то, как жилось в те времена, что пили, что ели, как украли казённые деньги, когда брали подряд на строительство моста, как спьяну подожгли острог, как сгорела угловая башня с пятью пушками, как в тридцать седьмом арестовали... Вот тогда и будут все читать, не отрываясь, про Солигалич и Сергач, про Кологрив и Котельнич, про Урюпинск и Пудож. Впрочем, это уже не о проекте.

О.Б.-Г.: *Очень интересно узнать, по какому принципу выбираются вами города для поездок (или экспедиций? как точнее?), есть ли в этом система?*

М.Б.: Конечно, экспедиций. Именно так я их сам для себя называю. Во-первых, меня интересуют города с прошлым. Во-вторых, не крупнее райцентра. Это могут быть даже посёлки городского типа, если в прошлом они были городами. Таких у нас много. Советская власть любила города с многовековой историей превращать в посёлки городского типа или даже в сёла. В-третьих, в городе должен быть музей. Если его нет, то я, скорее всего, туда не поеду. Впрочем, бывают и исключения, но они крайне редки. В-четвертых, никогда не езжу в «раскрученные» города вроде Суздаля или Плёса. Они, безусловно, интересные, но и без меня на слуху, и там исследовано всё или почти всё. Для меня чем захолустнее – тем интереснее. Там, под временными пластами, временными осыпями и временными омутами и таятся настоящие сокровища.

О.Б.-Г.: *Есть ли у вас алгоритм(ы) освоения новых для вас городов – устойчивая последовательность действий, которые непременно надо выполнить? Или, по крайней мере, традиции, которые сами себе алгоритмы?*

М.Б.: Во-первых, я заранее изучаю всю доступную мне краеведческую литературу: книги, статьи в краеведческих сборниках и вообще тексты, до которых я могу дотянуться в сети. Что касается книг, то это, как правило, советские или дореволюционные издания. Это необходимо для того, чтобы знать, какие вопросы нужно задавать в музее или прохожим на улице.

Во-вторых, необходимо заранее созвониться с музеем или другими организациями, которые я планирую посетить. Ориентироваться на часы работы, указанные в интернете нельзя, поскольку

ку это наша родина. Музей может быть закрыт по тысяче самых разных причин. Экскурсовод может не прийти, например, потому, что у него в саду осыпается малина и её нужно срочно собирать. Я не шучу – именно такой случай был со мной в Гороховце. Музейного сотрудника можно понять и простить – очень часто сад и огород ему помогают выживать.

В-третьих, нужно непременно нужно посетить районную библиотеку и там разыскать все имеющиеся у них краеведческие материалы по интересующим вас вопросам. Сборники местных краеведов могут издаваться крошечными тиражами, к примеру, в сто экземпляров и не быть доступными нигде, кроме как в местной библиотеке. У меня всегда с собой фотоаппарат и запасные аккумуляторы. Иногда приходится тратить несколько часов на то, чтобы всё нужное переснять. В последний раз в Порхове я этим занимался часа три или четыре и потом долго не мог разогнуться.

В-четвёртых, я внимательно изучаю всю доступную литературу по данному городу и району в электронных каталогах областных библиотек. Сейчас я собираюсь поехать в Вытегру. Уже просмотрел триста номеров Олонецких губернских ведомостей с информацией о Вытегре и уезде. Предстоит просмотреть ещё столько же. Жаловаться на то, что приходится заниматься такой рутинной, я не буду. Это не рутина. Это очень интересно.

В-пятых, непременно нужно посетить какое-нибудь кафе или ресторан и послушать, что говорят местные жители и приезжие. Поговорить, если получится, с официантом, с администратором гостиницы, с прохожим.

В-шестых, если необходимо, списаться с районным или областным архивами и получить от туда необходимую информацию.

В-седьмых, прочесть диссертации, в которых есть материалы об интересующем тебя городе. К счастью, теперь диссертации выкладывают в сеть и их можно скачать за умеренную или не очень умеренную плату.

О.Б.-Г.: *Какое время необходимо и достаточно для того, чтобы понять и почувствовать город? И нужно ли вообще его чувствовать – добиваться от самого себя достижения его целостного и эмоционально – а то и эстетически – значимого образа?*

М.Б.: Всегда по-разному. Я должен его не столько почувствовать, сколько полюбить, чтобы написать о нём. Сначала понять, а потом полюбить. На то, чтобы понять, уходят месяцы. Иногда бывает наоборот: сначала полюбишь сам не зная за что, а потом уже и поймёшь. Я сам провинциал, и потому мне понять провинциальный город проще, чем жителю мегаполиса. Для меня эти тротуары, на которых может расти трава, дети, играющие на улицах, кошки и старушки, смотрящие из окон, палисадники перед домами понятны без предварительных объяснений, но любовь требует знаний о прошлом, о настоящем, о месте города в истории России, на литературной карте (и на ней тоже). Человек, как учил нас Джон Донн, не остров, а часть материка. К городу это тоже относится. Нужно найти и внимательно рассмотреть каждую ниточку, каждый капилляр, которыми этот остров связан с нашим общим материком. Именно этого и нужно добиваться от себя. Это совсем не то, что пройти по улице, подышать воздухом провинции и посидеть в городском парке. Всё куда глубже и сложнее.

О.Б.-Г.: *Вот вы назвали себя провинциалом, и немедленно стало интересно: а каков ваш исходный пространственный и культурный опыт в вашем родном городе – или где? – местом вашего рождения доступные поиску источники называют Киев, вот что уж далеко от тихой провинциальности.*

М.Б.: Я только родился в Киеве. В трёхмесячном возрасте был увезен мамой в Серпухов – к месту распределения папы и мамы. В Серпухове я жил до поступления в институт, а после окон-

чания института прожил еще четверть века в подмосковном Пущино-на-Оке. В сумме получается сорок два года. Две трети от моих шестидесяти четырех прожито в провинции.

О.Б.-Г.: *В каких городах из многих виденных вами вы остались бы жить (если это вообще правильно поставленный вопрос)? Вообще, есть ли у вас любимые города и / или особенно притягивающие Вас регионы нашего трудноизмеримого отечества?*

М.Б.: Сразу мне вспомнился Осташков. Увидел я там одноэтажный домик с мезонином – памятник архитектуры XVIII века, но при этом жилой, с петуньями в окне, с сиренью в палисаднике, – и сразу влюбился и в дом, и в город. Таким от него повеяло уютом и обаянием... Несмотря на то, что сам город довольно запущен. Там даже обветшавшие дома живописны, а уж близость озера Селигер делает его и вовсе неотразимым. В нём я бы остался жить, если... Этих «если» огромное множество, но я бы остался. К Осташкову прибавим Кинешму, Каширу, непременно Кимры с их прекрасным деревянным модерном, миниатюрную Нерехту с её чудесными плюшками и пирожками с яблоком, капустой и рыбой, которые пекут на местном хлебозаводе и продают на главной площади города из детской коляски, накрытой клеёнкой, разрисованной арбузами и ананасами. Прибавим Торопец, Шую, Рыбинск, Галич... Побывал я за много лет, наверное, в ста двадцати или больше городках нашего трудноизмеримого отечества. Если же говорить о регионах, то это прежде всего средняя полоса и севернее её. Впрочем, и на востоке много интересного. Правда, дальше Уржума и Лальска на восток я ещё не забирался. Когда-то я написал о провинциальном городке, в котором мне хотелось бы жить.

Для меня рай – это маленький уездный или вовсе заштатный городок. Неширокие улицы и совсем маленькие переулки, кое-где поросшие травой, многочисленные тропинки, небольшие частные домики, старые двух- и трехэтажные довоенные или купеческие дома, палисадники, пионы, георгины, река, от которой по вечерам тянет свежестью, плотва и уклейки, которых вывесили вялиться на бечёвках во дворах, кошки, которые ходят сами по себе или сидят на заборах, высматривая, как бы украсть рыбу, люди на скамеечках перед домами, тихие бесконечные разговоры, которые можно оборвать в любом месте и начать с того же места хоть через неделю, шашлычные дымки из-за заборов, дети, играющие в казаков-разбойников, катающиеся на трёхколесных велосипедах, бегающие наперегонки с собаками, маленький кинотеатр, в котором показывают только комедии шестидесятых годов, запах свежее испеченного хлеба, которым пахнет из городской пекарни, старое, заросшее бузиной кладбище с замшелыми и позеленевшими мраморными надгробиями, привидениями и каменной часовней времен Алексея Михайловича, в которой по ночам кто-то страшно шуршит, трагически шепчет и невыносимо жалобно стонет.

И непременно краеведческий музей, расположенный в старинном купеческом или дворянском особняке. Стены в нем толстые – все подоконники можно уставить цветочными горшками и утро начинать с того, чтобы поливать герани с фикусами и монстеры с традесканциями отстоявшейся водой из большой позеленевшей изнутри пластиковой бутылки. Чтобы на рабочем столе никаких компьютеров, а только чернильный прибор, стопки книг и рукописей, чтобы в книгах бумажные закладки, которые перекладывать каждое утро на новые места, чтобы каждое утро подчеркивать остро отточенным карандашом новые места, а старые стирать. И каждое утро писать себе новые напоминания на цветных бумажках и разбрасывать их по всему кабинету.

Много лет сочинять многотомную историю этого городка. В самых мельчайших подробностях. Одно описание платья жены первого городничего пусть занимает целую страницу, а то и две. Может быть, даже написать отдельную статью об этом платье, о цветочных гирляндах, которыми расшита атласная юбка, о батистовых ангажантах, о меховой выпушке, о воланах и отправить ее в «Вестник второй половины XVIII века» или отыскать в запасниках музея старинную карту из бересты, где красным крестиком отмечен клад из золотых арабских динаров, который зарыли в этих местах разбойники Емельки Пугачева, когда отступали и разбежались под натиском прави-

тельственных войск, или нарисовать план разрушенного дома, в котором родился Павел Иванович Чичиков или останавливался Гоголь, когда плыл из Петербурга в Рим на пакетботе «Святой Пётр», найти в этом доме обрывок письма Виссариона Григорьевича к Николаю Васильевичу, или к Павлу Ивановичу, или к ним обоим с тремя тщательно зачёркнутыми словами, или... ничего этого не делать, а просто смотреть в окно на копошащихся в пыли кур, на щенка, играющего со старым рваным ботинком, повторять про себя «В Москву, в Москву, в Москву!» и никогда в неё не уезжать.

О.Б.-Г.: *И есть ли, с другой стороны, город(а), который/-ые так и не дались пониманию? (Город ведь, подобно человеку, может и подпускать к себе, и не делать этого.)*

М.Б.: Москва. Что касается провинциальных городов, то я таких не помню. Для того, чтобы понять город, особенно российский, нужно отнестись к нему с сочувствием, с любовью. Это напоминает отношения с женщиной. Нужно выслушать его, пожалеть. Если чем-то можешь помочь – помоги. Тогда всё поймешь. Иногда даже больше, чем хотелось бы.

О.Б.-Г.: *Что при освоении городов, вообще, самое трудное?*

М.Б.: Недостаток информации. Безразличные к своему делу или попросту малограмотные музейные сотрудники, не идущие на контакт. Отсутствие краеведов, с которыми можно поговорить. Всё остальное преодолимо.

О.Б.-Г.: *Людей неинтересных в мире нет, как заметил известный некогда автор. А есть ли неинтересные города? – или в каждом, если уметь, можно найти что-то волнующее и достойное внимания? И если да – как это ищется? (Я на самом деле понимаю, что степень интересности / неинтересности зависит в первую очередь, если не единственно, от внутренних вопросов, с которыми путешественник обращается к городу, ища на них ответа. – В таком случае – могли бы Вы сформулировать хотя бы некоторые из Ваших внутренних вопросов, обращаемых к городам?)*

М.Б.: Я бы сказал, что есть города с разным прошлым, разным настоящим и разным будущим. Наверное, есть более интересные и менее интересные. Совсем неинтересных я пока не встречал. Да, нужно уметь найти это интересное. Вообще российский провинциальный город представляет собой что-то вроде холма или кургана, на котором стоят дома, растут деревья и над зданием районной администрации развевается флаг. Снаружи очень часто ничего особенного, но... внешность обманчива. Это холм, под которым может скрываться Троя. Нужно взять в руки лопату и начать копать, снимать один пласт времени за другим, рассматривать эти пласты в микроскоп, и тогда вы увидите, как самая обычная, иногда даже заурядная внешность преобразится, как заиграет необычными красками. Как это делать, я уже сказал в ответе на вопрос об алгоритме поиска. Собственно, кроме любви к предмету и упорства, здесь ничего не нужно. Ну, пожалуй, ещё умение организовать поиск необходимой литературы.

Теперь о внутренних вопросах. Это, пожалуй, самый важный момент. Обычно нас интересует два вопроса – что делать и кто виноват. На эти вопросы мы ищем ответы везде, где только можно – в романах, в стихах, в картинах, в музыке и, конечно, в истории. В мировой истории, в собственной истории и даже в собственном прошлом. Эти же вопросы и я задаю себе, но не ищу виноватых (хотя от такого поиска трудно, если честно, удержаться), а пытаюсь понять, почему получилось так, как получилось. Мне интересно сравнивать то, как было и то, как стало. Что осталось неизменным, несмотря на сотни прошедших лет. Это касается не только общественной жизни, промышленности или торговли. Хочется понять, почему, например, в прошлом русские купцы и промышленники, даже разбогатеи и перебравшись в большие и столичные города, ни-

когда не забывали своей малой родины и строили в ней гимназии, больницы, детские приюты, жертвовали деньги на благоустройство города, а теперь... Хочется провинциальную жизнь разобрать на атомы и понять, почему раньше думали так, а теперь совсем по-другому или, наоборот, упорно продолжают держаться старых предрассудков. Приведу пример. XIX век. Самая его середина. Город Котельнич Вятской губернии. Ежегодная ярмарка. После того, как традиционный русский национальный костюм стал уходить в прошлое, на ярмарке появилось готовое платье. Оно было отечественного производства, но русские купцы, понимая про своего покупателя даже то, чего он сам про себя не понимал... на подкладке картузов писали французскими буквами фамилию русского фабриканта из Москвы, Казани или Нижнего. Покупателю, конечно, клялись в том, что картуз заграничный и сейчас из французских магазинов. И надпись показывали – самую что ни на есть французскую. И ведь что удивительно – покупали все эти головные уборы на ярмарке преимущественно крестьяне и мещане Вятской губернии. Модные московские магазины на Кузнецком мосту не приезжали сюда оптом закупать картузы. Крестьянам-то с мещанами зачем французские буквы на подкладке? Это у нас навсегда или...

И еще один вопрос, который я всегда себе задаю: что если бы вот здесь, здесь и здесь поступили по-другому? Что если бы пошли в другую сторону? Приведу ещё один пример. Был я как-то в городе Заволжске. Готов поспорить, что мало кто знает, где он находится. Смогут сказать только, что где-то рядом с Волгой. Да, он находится напротив Кинешмы. О Кинешме слышали многие, а вот о Заволжске вряд ли. Снаружи удивительно серый, невзрачный город, застроенный пятиэтажными домами. Порядком, кстати, обветшавшими. Из архитектурных достопримечательностей только страшно облупленная усадьба бывшего владельца сернокислотного завода, построенная по проекту братьев Весниных, да здание музея. Ничего там нет на поверхности. Вся его история – это история одного из первых российских заводов по производству серной кислоты. Мне это было интересно как химику. Пошел я в музей, осмотрел картины местных художников, прялку, швейную машинку «Зингер», какой-то буфет, старый стул и перешел в зал истории химического завода имени Фрунзе. Смотрю я на витрину и замечаю там старую потрёпанную книжку, выпущенную после войны каким-то отраслевым издательством к столетнему юбилею завода.

– Можно, – спрашиваю директора музея, – ее посмотреть и переснять?

А она отвечает:

– Да я вам её подарю. Кому она нужна, кроме специалистов. Кому вообще интересно слушать про подробности производства серной кислоты или бензола.

Открыл я эту книжку, и оказалось, что это нарисованный очаг в каморке под лестницей папы Карло, скрывавший подземный ход в волшебный театр.

В 1901 году у сернокислотного завода появился сосед – ещё один химический завод «Товарищества Русского бензол-анилинового завода». Завод этот основали два текстильных фабриканта по инициативе инженера-химика Александра Никифорова. Сокращённо предприятие называлось «Бензолан», а местные жители называли просто «Бензолка». Как можно догадаться по названию, производил он бензол и анилин. Российской текстильной промышленности до разреза были нужны свои анилиновые красители. Не покупные немецкие, а свои. И ещё российской промышленности нужен был бензол, из которого делали не только анилин, но ещё и мощное взрывчатое вещество тетрил и толуол, из которого, в свою очередь, делали тринитротолуол, из которого делали тротил, которым начинали снаряды, которыми собирались обстреливать... Ну, да мы не о том. Мы о том, что бензол у нас тоже был немецкий и он тоже был нужен свой. Учредителей у завода было пять, но именно Александр Никифорович Никифоров был тем учредителем, который предложил получать бензол из сырой русской нефти. Никифоров не только предложил, но и разработал технологию его получения. В 1902 году завод заработал, и через год было наработано уже такое количество бензола, которое можно было перерабатывать в анилин. Тогда получили немногим больше трехсот килограммов анилина, а уже через год... деревянное здание, в кото-

ром его производили, сгорело. Оно и не удивительно. При производстве бензола все было огнеопасным, особенно готовый продукт, который хранили на складе в деревянных бочках. Только в страшном сне сегодня может присниться деревянный склад с деревянными бочками, полными бензола, который образует с воздухом взрывоопасные смеси. Достаточно сторожа, даже трезвого, с керосиновой лампой в руке, чтобы... Все восстановили, но реторты, которые прогорали через каждые полтора месяца, и частые ремонты сделали производство убыточным. Завод при этом был не то что маленьким, но микроскопическим даже по тогдашним меркам – работало на нем шесть человек в две смены. В 1905-м Русское техническое общество и Товарищество братьев Нобель удостоили инженера Никифорова премии имени Людвиг Нобеля за способ получения из русской нефти бензола и его гомологов», а через год... завод снова остановили, а еще через год... махнули рукой и стали закупать бензол в Германии, чтобы на его основе получать анилин и анилиновые красители.

Настоящее промышленное производство бензола в России начнется только через десять лет, когда военные поймут, что без него у них не будет тротила. Станут бензол получать в Донбассе, из газа, который выделяется при нагревании коксующихся углей. Потом наладят производство бензола из нефти в Баку, на заводах «Товарищества нефтяного производства братьев Нобель», и к 1917 году взрывчатки и снарядов у России будет столько, что хватит еще на четыре года Гражданской.

Теперь работы Никифорова имеют лишь историческое значение, теперь и места того не найдти, где стоял сгоревший дотла заводской корпус, в котором пытались получать бензол, теперь... хорошо бы доску мемориальную. Пусть и не мраморную, а чугунную, с обычными чугунными буквами. Ведь это был, строго говоря, первый в России завод, специально построенный для получения бензола из российской нефти. Пусть у них не получилось, пусть получилось не у них и лишь через десять лет, но если бы не они... Если бы у них получилось? Тогда было бы у России бензола хоть залейся, и тротила тоже. Тогда в начале второго года Первой мировой мы бы не отступали из-за нехватки боеприпасов, а могли бы наступать и войти в Берлин в 1915 году. На тридцать лет раньше. Тогда... даже страшно подумать, как все могло бы быть, кабы у инженера-технолога Никифорова и его команды все получилось в 1905 году. Благодарные потомки воздвигли бы в Заволжске, который назывался бы, конечно же, Никифоров, а вовсе не Заволжск, даже не обелиск, а целый пантеон, в котором принимали бы в инженеры-нефтехимики студентов со всей России. Почетный караул вносил бы чёрное, цвета нефти, орденов Менделеева и Зелинского бархатное знамя нашей нефтехимии с вышитым на нем золотом бензольным кольцом. Студенты становились бы на одно колено, целовали знамя и торжественно клялись топить печки ассигнациями, а не нефтью, маленькие дети из детских садов и школ Заволжска, наряженные в костюмы атомов углерода, водорода и простейших углеводородов вроде пропана, бутана и бензола, водили бы хороводы в форме бензольного кольца и других циклических соединений, а взрослые пели бы хором под гитару песни о каталитическом крекинге и ректификации...

– Эх, ты размечтался, – скажет читатель и будет, наверное, прав. Денег на пантеон вряд ли дадут. Скорее всего, на деньги, собранные по подписке, поставят жители Заволжска маленький железный обелиск с маленькими железными буквами в маленьком и чахлам городскому саду. Насчет водящих хороводы детей в костюмах я не уверен, а вот собаки...

Какая там скука... Это я вам еще не рассказал про фабрику, которая делала фибровые чемоданы. С началом войны почти вся продукция фибровой фабрики стала военной. Еще в 1938 и 1939 годах фабрика освоила выпуск так называемой авиационной многослойной фибры, из которой клеили бензобаки на штурмовиках ИЛ-2. Поначалу такие бензобаки делали из металла. Достаточно было одного попадания пули, чтобы бак начинал течь. Пулевое отверстие в металлической стенке было аккуратным и круглым. В фибре пуля делала лучистое, рваное отверстие. Через такое отверстие, лепестки которого стремились закрыться под давлением массы бензина в баке, бензин вытекал куда медленнее. Кроме того, вытекающий бензин растворял резиновый протектор,

и отверстие затягивалось образовавшимся резиновым клеем. Такой фибровый бак выдерживал не одно, а несколько пулевых попаданий. И это не всё. Он был легче и выдерживал куда большие вибрационные нагрузки, чем металлический. Испытывали фибру прямо на заводе. Стреляли в неё из трофейных немецких автоматов. И это не всё. Еще был астроном Бредихин, изучавший кометы... Вот и нет скучного серого унылого города, а есть город с интереснейшей историей, до которой нужно только докопаться. Вот я и докапываюсь, и стараюсь писать о ней так, чтобы можно было не заснуть во время чтения.

О.Б.-Г.: *Не могу не спросить о ваших опытах с городами вне России. Попадая в какое-либо из поселений в иных землях, включаете ли вы поневоле – по привычке исследовательскую установку, стараетесь ли наработать себе сколько-нибудь системное знание о них или отпускаете себя на свободу и занимаете позицию туриста-созерцателя? И какие страны Вас особенно интересуют, волнуют, притягивают помимо нашего отечества?*

М.Б.: Стараюсь этого не делать. Там я просто турист. Это касается и музеев в больших городах России. Дома быть просто созерцателем сложнее, но я стараюсь, поскольку круглый год голова занята или написанием рассказа о провинциальном городе, или подготовкой к экспедиции, или собственными текстами, не имеющими отношения к краеведению. Меня, если честно, не волнует ни одна страна, кроме своей. Поводов для волнения у меня и здесь более чем достаточно. Конечно, интересно было бы посмотреть на Эверест хотя бы снизу вверх, взобраться на Мачу-Пикчу, посетить Британский музей, побродить по улицам Рима... но мне куда интереснее поехать в Солигалич или в Уржум. То есть я не отказываюсь от Рима или Лондона, но в свободное от поездок в Солигалич и Уржум время. Впрочем, теперь это всё разговоры, больше относящиеся к теории, нежели к практике.

Олег ЛЕКМАНОВ

«НАМ» И «НАС» В СТИХОТВОРЕНИИ БРОДСКОГО
«НА НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ»¹

*Мы здесь росли и превратились
В угрюмых дядь и глупых тетъ.
Скучали, малость развратились –
Вот наша улица, Господь.*

Сергей Гандлевский

В стихотворении Иосифа Бродского «На независимость Украины», написанном, скорее всего, в январе 1992 года², ни разу не употребляется личное местоимение «я» и производные от него, зато многократно встречаются падежные формы личного местоимения «мы» и глаголы первого лица, множественного числа (курсив в цитатах везде мой – О. Л.): «Не нам, кацапам», мы «с залитыми глазами жили, как при Тарзане», «Скажем им», «Ступайте от нас», «брезгуя гордо нами», «Вашего неба, хлеба / нам – подавился мы жмыхом и потолком – не треба», «Полно качать права, шить нам одно, другое», «Больше» мы «поди, теряли», «Как-нибудь перебьемся».

Кто они, эти «мы», от лица которых проклинает украинцев Бродский?³

Не будем пока выходить за пределы стихотворения и обратим пристальное внимание на третью его строфу:

Гой ты, рушник-карбованец, семечки в потной жмене!
Не нам, кацапам, их обвинять в измене.
Сами под образами семьдесят лет в Рязани
с залитыми глазами жили, как при Тарзане.

Здесь Бродский, как представляется, отделяет «нас» стихотворения от тогдашних российских ура-патриотов. Он прямо говорит, что, если вспомнить историю России и Советского Союза, то

¹ Эта статья представляет собой сокращенный вариант главы из моей новой книги «Иосиф Бродский как (анти)имперский поэт».

² Бродский никогда не публиковал это стихотворение, однако, как минимум, дважды прочел его публично: на вечере в еврейском центре в Пало-Альто в Калифорнии 30 октября 1992 года и на вечере в Нью-Йорке в Куинс-колледже 28 февраля 1994 года. Чтение было записано на магнитофон, текст с ошибками расшифровали, а затем с этого дефектного списка опубликовали в 13 номере киевской газеты «Столица» за 1996 год. Аутентичный текст впервые появился на странице Живого Журнала Натальи Горбаневской (запись от 17 мая 2008 года). Переславшая его Валентина Полухина сообщила, что это «точный текст, полученный от самого Иосифа» (см.: <https://ng68.livejournal.com/123368.html>). Ниже в статье мы цитируем стихотворение «На независимость Украины» по этой сетевой «публикации». См. также корректную публикацию текста стихотворения в составе статьи: Лупан В. Бродский, Украина и порядок // Русская мысль. Париж, 2014. № 53/9 (4924). Сентябрь. С. 6.

³ По моему убеждению, стихотворение Бродского не следует считать персонажным, то есть написанным от лица неких, чуждых поэту «мы». Ср., например, мемуарное свидетельство Григория Фрейдина из письма к автору предлагаемой заметки: «Так случилось, что у меня обедали Иосиф и Чеслав Милош. Последний сказал тогда об этих стихах по-русски: ну, Иосиф, так же нельзя. ИБ с шутливо виноватым лицом только рассмеялся. На этом тема закончилась». Рассмеялся с виноватым лицом, но не стал говорить, что он в «мы» стихотворения не входит.

русским гордиться особенно нечем. Рязань в третьей строфе почти наверняка должна была напомнить читателям о князе Олеге Рязанском, которому традиционно инкриминируют сговор с Мамаем и Ягайло за спиной Дмитрия Донского и предательство Дмитрия¹. А «семьдесят лет» – это, конечно, семьдесят лет советской власти (с 1917 по 1987 гг.), когда весь советский народ, в том числе и русские, а не только украинцы, покорно жили под ярмом и не оказывали решительного сопротивления государству-насилию.

Соответственно, главное обвинение, которое Бродский от лица «нас» предъявляет украинцам – это обвинение, выстроенное в логике «дружба дружбой, а денежки врозь», только дружбу он заменяет на общее несчастье (протицируем финал пятой строфы):

Как в петлю лезть, так сообща, сук выбирая в чаще,
а курицу из борща грызть в одиночку слаще?

В этом горьком вопросе содержится и ответ: мы вместе пережили страшные советские годы, а теперь вы нас бросаете и ищите выгоды в союзе с Западом (в стихотворении Бродского прямо упоминаются поляки, немцы и Канада), а расхлебывать страшные последствия советского владычества предоставляете лишь нам².

Об этом Бродский говорит не только в пятой строфе стихотворения, но и в шестой, согласно которой украинцы пытаются повернуть время «вспять» и сделать вид, что никакого общего прошлого у них с россиянами не было:

Плюнуть, что ли, в Днипро: может, он вспять покатит,
брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый
отвернутыми углами и вековой обидой.

Итак, «мы» в стихотворении Бродского это те россияне, которые, с одной стороны, ненавидели советскую империю, а с другой – ставили Украине в вину поспешный разрыв с Россией в один из наиболее драматических моментов ее истории.

Если мы теперь попробуем вписать стихотворение «На независимость Украины» в исторический контекст 1991–1992 годов, то увидим, что взгляд Бродского был общим для очень большого количества россиян, живших как в Советском Союзе, так и на Западе. Сразу же отметим, что речь далее пойдет не о текстах, которые Бродский непременно читал, то есть не об источниках его стихотворения, а о текстах, в которых высказывалась точка зрения на события, близкая той, что выражена в стихотворении «На независимость Украины». Разумеется, далеко не все россияне разделяли подобную точку зрения и в декабре 1991 – январе 1992 гг.

До этого периода среди тех «нас», от лица которых Бродский написал свое стихотворение, в отношении Украины господствовали, скорее, благодушные настроения. В начале 1992 года публицист Анатолий Стреляный (украинец по национальности) по свежим следам вспоминал атмосферу времен поздней перестройки:

¹ Напомним также, что вице-губернатором, а затем председателем Казённой палаты в Рязани некоторое время служил М.Е. Салтыков-Щедрин.

² Можно поручиться, что Бродскому не показалась (бы) убедительной логика, например, такого письма жительницы города Йонкерс Марин Кисюк, под выразительным заглавием «Не обвиняйте Украину в чужих грехах», опубликованного в номере газеты «Нью-Йорк Таймс» от 9 января 1992 года (цитирую в русском переводе): «Украинцев обвиняют в событиях, которые они не контролировали. Будучи поработанной нацией, не имеющей правительства, которое могло бы разрабатывать и проводить собственную политику, украинцы страдали от преследований, эксплуатации и классового геноцида, унесшего миллионы жизней. Возмутительно обвинять украинцев в деяниях, совершенных русской коммунистической или Белой русской армией, основной целью преследования которых было как раз украинское население. Только свободная и полностью независимая Украина может нести ответственность за то, что происходит на ее земле» (*Kiciuk M. Don't blame Ukraine for Sins of Others // New York Times. 1992. 9 января*).

Уже мне попадались первые секретари украинских райкомов, которые высказывались за уход из-под Москвы, а мои русские друзья... «Ну, что ты говоришь такое! Всегда были вместе, а теперь разойдемся?!»¹

Поэтому, например, тон обращения к украинцам, взятый в статье Александра Солженицына «Как нам обустроить Россию? Посильные соображения», написанной в июле 1990 года, можно определить как ласково-увещательный. Но и Солженицын напоминал украинцам про общее советское прошлое: «Братья! Не надо этого жестокого раздела! – это помрачение коммунистических лет. Мы вместе перестрадали советское время, вместе попали в этот котлован – вместе и выберемся»².

Тем болезненное недавние «русские друзья» (воспользуемся формулой А. Стреляного) Украины восприняли даже не столько сам акт провозглашения ее независимости, принятый Верховной Радой 24 августа 1991 года и поддержанный 90,32 % участников общенационального украинского референдума 1 декабря 1991 года, сколько последующее жесткое поведение Украины в отношении России. Особое недовольство вызвали у «русских друзей» Украины ее претензии на немедленное создание собственной армии и флота³.

«Грозными проклятиями проводили строптивую сестричку слившиеся в горести одной демократы и государственники», – еще 9 декабря 1991 года иронически констатировал обозреватель журнала «Коммерсантъ Власть»⁴.

Реакция «государственников», то есть представителей так называемой «русской партии» на обстоятельства, сопровождавшие отделение Украины от России, нас сейчас не интересует. «Государственники», как уже было сказано, явно не входили в то «мы», от лица которого было написано стихотворение Бродского. Однако и многие российские демократы отреагировали на события конца 1991 и, особенно – начала 1992 года чрезвычайно болезненно. В качестве примера приведем здесь с небольшими сокращениями заметку из того же «Коммерсанта» от 13 января 1992 года с выразительным названием «Владимир Лукин нажаловался американцам на Украину». Кроме Лукина, действующими лицами этой заметки стали еще два российских политика с устойчивой репутацией демократов:

6 января состоялась встреча председателя Комитета ВС Российской Федерации по международным делам и внешнеэкономическим связям Владимира Лукина с делегацией конгресса США во главе с Сомом Гибсоном. В доверительной беседе Лукин посетовал на нарушение Украиной беловежских и алма-атинских договоренностей и просил американцев оказать давление на недисциплинированного Леонида Кравчука. <...> ...главный парламентарий-международник <...> нажаловался американцам на плохое поведение Киева, который, претендуя на Черноморский флот, нарушает минские и алма-атинские договоренности. Как стало известно из кругов, близких к Белому дому,

¹ Стреляный А. Притязания перебежчика // Континент. Париж. 1992. № 2 (72). С. 203–204. Напомним, что Бродский входил в редколлегия «Континента».

² Солженицын А.И. Как нам обустроить Россию? Посильные соображения // Солженицын А. И. Публицистика: в 3-х тт. Т. 1. Ярославль, 1995. С. 546.

³ Приведем здесь лишь одну цитату – из интервью тогдашнего главнокомандующего Объединенными вооруженными силами СНГ маршала Евгения Шапошникова, данного газете «Комсомольская правда» 5 января 1992 года: «В условиях развалившегося Союза о каких-то единых структурах говорить не приходится. Но главная моя задача заключается в том, чтобы решить все проблемы без страданий, без крови и без ущерба для армии. А для этого необходим переходный период. Года два, а может и больше. За это время, не покушаясь на право каждого государства иметь свои Вооруженные Силы, надо решить все социальные вопросы, тревожащие армию, пересмотреть все законодательные акты, принятые бывшим Союзом и министерством обороны. Поспешность, с которой действует Украина, носит деструктивный характер. Нельзя опять делиться на “наших” и “не наших”» (Крайний А. Совпадает ли курс Кравчука с линией Маннергейма // Комсомольская правда. 1992. 7 января).

⁴ Коммерсантъ Власть. 1991. 9 декабря.

Лукин попросил конгрессменов поддержать Россию и оказать давление на Украину. При этом он не исключил, что Москва может прибегнуть к действиям силового характера.

Наблюдатели не считают жесткость выражений Лукина в адрес Украины случайностью. Три дня спустя на встрече с сотрудниками МИД России вице-премьер Геннадий Бурбулис почти в тех же осторожных, но тем не менее определенных формулировках подтвердил позицию российского руководства в отношениях с Киевом. И уж совершенно откровенно высказался мэр Петербурга Анатолий Собчак, предложив увязать вопрос о судьбе Черноморского флота с проблемой Крыма. Как считают эксперты, рождественские просьбы Лукина к американцам стали началом масштабной кампании давления на украинского президента: Россия не намерена более идти на уступки¹.

Если в «коммерсантовской» заметке ругательная риторика по понятным причинам не использовалась, в большой статье Александра Минкина «Президентская рать», опубликованной во втором номере ультралиберального московского журнала «Столица» за 1992 год (подписан в печать 9 января) желчь и обида просто переливались через край.

Как и Бродский, Минкин начинает свою статью с переосмысления результатов Полтавской битвы, в эпиграф у него вынесена цитата из Пушкина: «И грянул бой. Полтавский бой!»² (у Бродского в зачине стихотворения: «Дорогой Карл Двенадцатый, сражение под Полтавой, / слава Богу, проиграно»). Как и Бродский, Минкин сопоставляет события конца 1991 – начала 1992 гг. с Брестским миром 1918 года: «Ельцин гордился своим Брестским миром (ну, нету у наших начальников ни вкуса, ни слуха)»³ – сравните у Бродского в зачине стихотворения, с намеком на Ленина: «Как говорил картавый, / время покажет»⁴. Как и Бродский, автор статьи «Президентская рать» уличает украинцев в отказе от христианства и, по-видимому, от христианских нравственных ценностей – он обзывает президента Украины «нехристом»⁵; в стихотворении Бродского «На независимость Украины» об украинском флаге сказано: «даром, что без креста: но хохлам не надо». Как, по-видимому, и Бродский, Минкин в своей статье обыгрывает не только то, что в Канаде живет очень много украинцев, но и то, что Украина «заказала у канадской фирмы Canadian Bank Note Co. (Оттава) 1,5 млрд банкнотов, деноминированных в гривнах»⁶. Минкин пишет: Кравчук «постоянные карбованцы в Канаде заказал. Там ему канадские мастера за американские доллары украинских карбованцев наштампуют – гуляй – не хочу»⁷ (у Бродского говорится об украинском флаге с намеком на чернобыльскую катастрофу и с едва ли не намеренным спутыванием флага советской Украины с флагом советской Белоруссии: «То не зелено-квитный⁸, траченный изотопом, – / жовто-блакитный реет над Конотопом, / скроенный из холста: знать, припасла Канада»). Как и Бродский, Минкин густо насыщает свою статью издевательски звучащими украинизмами: «Жовто-блакитный Кравчук»⁹ (у Бродского: «жовто-блакитный реет над Конотопом»), «...что ж я могу зробить, когда у мэнэ в парламенте таки хитры хохлы»¹⁰ (у Бродского: «Прощевайте, хохлы!»), етс. Как и Бродский, Минкин не брезгает обценными намеками и шуточками: «Шан-

¹ Коммерсантъ Власть. 1992. 13 января.

² Минкин А. Президентская рать // Столица. 1992. № 2. С. 5.

³ Там же.

⁴ С. Г. Павлов в своей не слишком убедительной статье о стихотворении Бродского приводит параллель к этим строкам из статьи Ленина «О праве наций на самоопределение», но у меня нет уверенности, что Бродский шгудировал труды основателя советского государства (см.: Павлов С. Г. «На независимость Украины» И. А. Бродского в контексте украинской евроинтеграции // Труды Нижегородской духовной семинарии. Сборник работ преподавателей и студентов. Вып. 19. Нижний Новгород, 2021. С. 465).

⁵ Минкин А. Президентская рать. С. 6.

⁶ Запад готов предоставить Украине членство где угодно. Но не в ядерном клубе // Коммерсантъ Власть. 1991. 9 декабря. Но дело, конечно, было не только в купюрах. Канада стала одной из первых стран, признавших, хотя и с выставлением условий, независимость Украины.

⁷ Минкин А. Президентская рать. С. 6.

⁸ Зелено-красным в советское время был флаг Белоруссии, а украинский – сине-красным.

⁹ Минкин А. Президентская рать. С. 5.

¹⁰ Там же.

тажируя неприсоединением, украинский эсэнговник ставит Ельцина в не слишком пристойные позы»¹ (у Бродского: «Пусть теперь в мазанке хором Гансы / с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы») – сравните также высказывание уже упоминавшегося нами выше Владимира Лукина, инкрустированное в статью Минкина: «Мы не позволим Украине посылать себя на три буквы. Даже если эти буквы – СНГ»² и схожий эвфемизм в стихотворении Бродского: «Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире, / по адресу на три буквы...». Как и Бродский, Минкин напоминает читателям про общее советское прошлое России и Украины:

Украинский президент – профессиональный интернационалист. Верный ленинец с 33-летним стажем. <...> Украинская цензура была на первом месте в СССР. <...> Неудобные скульптуры заливались бетоном. Все, что «про евреев», запрещалось строжайше»³.

Главное же – как и Бродский, Минкин (и другие «русские друзья» Украины в диапазоне, приблизительно, от Солженицына до Ельцина⁴) не хотел и, по-видимому, не мог принять и признать национальную субъектность украинцев, их желание жить отдельно, своим умом, без сколь угодно дружеской и деликатной опеки «старшего брата». В этой точке либерализм «русских друзей» Украины заканчивался, и властно вступало в свои права их имперское подсознание, сформированное, в первую очередь, годами, проведенными в Советском Союзе.

В частности, Минкин в своей статье не только иронизирует над украинцами, но и прогнозирует: «Горбачев <...> пытался по телевизору зарядить украинцев, дать им установку на Союз. <...> громодяне не поддались (о чем, вероятно, еще пожалеют)»⁵.

Мы сегодня знаем цену этому прогнозу. Как и тому, который был сделан Бродским в десятой, последней строфе стихотворения «На независимость Украины»:

С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухай!
Только когда придет и вам помирать, бугай,
будете вы хрипеть, царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса.

Исчерпав весь набор имевшихся у него в запасе инвектив, Бродский для финала приберег самый сильный, как казалось ему, и многим из тех «нас», от чьего лица было написано стихотворение «На независимость Украины», аргумент. В заключительных строках речь у него заходит о русской культуре, представленной именем главного русского поэта. А обращение к этой теме, возможно, помимо сознательной воли автора, запускает основополагающий для русской и советской культурной памяти механизм. Раз русская культура великая, то можно прекратить игру в смирение («не нам, кацапам...») и без тени сомнений, в приказном порядке («будете») смоделировать якобы неизбежную переориентацию оторвавшихся от русских культурных корней украинцев. Перед смертью они де будут хрипеть русские «строчки из Александра» Пушкина, а не «брехню» украинца Тараса Шевченко⁶.

¹ Там же. С. 6.

² Там же. С. 7.

³ Там же.

⁴ Напомним здесь о скандальном заявлении тогдашнего ельцинского пресс-секретаря Павла Вошанова, сделанном после того, как Верховная Рада приняла акт о провозглашении независимости Украины. В этом заявлении содержалась угроза «поставить вопрос о пересмотре границ» бывших союзных республик (см., например: Российская газета. 1991. 27 августа). Впрочем, заявление Вошанова было почти сразу же дезавуировано.

⁵ Минкин А. Президентская рать. С. 5.

⁶ Прочитируем здесь в переводе на русский язык суждение Ольги Бертельсен о финале стихотворения Бродского: «сама логика, стиль и тон стихотворения привели текст к неизбежному выводу о превосходстве русской культуры: поэзия Пушкина была первозданной, вечной и проявлением “высокой” культуры, тогда как поэзия Шевченко была обманчивой, неискренней и репрезентирует обывательскую

Позволим себе предположить, что, создавая стихотворение «На независимость Украины», Бродский надеялся во второй раз высечь сильный парадоксальный эффект из самой биографической ситуации, сопровождавшей его написание: изгнанный из России на Запад отщепенец от лица россиянина проклинает добровольно присоединяющихся к Западу украинцев. В первый раз такого эффекта Бродскому удалось достичь, когда он, уже в статусе эмигранта, написал оду-некролог маршалу Жукову. «Вообще-то я считаю, что это стихотворение в свое время должны были напечатать в газете “Правда”», – полушутливо сообщил Бродский Соломону Волкову¹.

Сегодня, однако, очевидно, что в случае со стихотворением «На независимость Украины» запланированный Бродским эффект не состоялся, в отличие от другого, автором, вероятно, не предусмотренного. Проявившееся в финале стихотворения высокомерное отношение «нас» к украинской культуре привело к тому, что украинцы закономерно воспринимают русскую культуру как враждебную и отвечают агрессией на агрессию, в частности, сносят памятники Пушкину, как метки, расставленные когда-то чужаками в качестве знаков русского и/или советского присутствия в их стране.

Впрочем, непризнание «нами» и не только «нами» за украинцами права на абсолютную сепарацию от России в итоге привело к куда более страшным последствиям.

Р. С. Роман Лейбов, с которым были подробно обсуждены все версии этой статьи, в письме обратил наше внимание на то, что

украинский вопрос уже начиная с 1840-х годов представлял проблему не столько для сторонников нового национального единства (мысливших его как общеславянское), сколько для имперских “западников” вроде В.Г. Белинского, решительно отвергавшего поэтику и тематику Шевченко. В известном письме критика к П.В. Анненкову (начало декабря 1847 года) поражает сходство с интонациями стихов Бродского инвективного лексического буйства Белинского, легко соединяющего политические, кулинарные и личные выпады: “...здравый смысл в Шевченке должен видеть осла, дурака и пошлеца, а сверх того, горького пьяницу, любителя горелки по патриотизму хохлацкому. Этот хохлацкий радикал написал два пасквиля – один на г<осударя> и<мператора>, другой – на г<осударын>ю и<мператриц>у. Читая пасквиль на себя, г<осударь> хохотал, и, вероятно, дело тем и кончилось бы, и дурак не пострадал бы, за то только, что он глуп. Но когда г<осударь> прочел пасквиль на и<мператриц>у, то пришел в великий гнев, и вот его собственные слова: «Положим, он имел причины быть мною недовольным и ненавидеть меня, но ее-то за что?» И это понятно, когда сообразите, в чем состоит славянское остроумие, когда оно устремляется на женщину. <...> Шевченку послали на Кавказ солдатом. Мне не жаль его, будь я его судьей, я сделал бы не меньше. <...> Ох эти мне хохлы! Ведь бараны – а либеральничают во имя галушек и вареников с свиным салом! И вот теперь писать ничего нельзя – все марают. А с другой стороны, как и жаловаться на правительство? Какое же правительство позволит печатно проповедывать отторжение от него области?»² К этим “петербургским” контекстам (с наложенным на них скрытым комплексом еврейских обид) отчасти и восходит яростная, исторически несправедливая и исключительно выразительная инвектива Бродского. То есть важным для понимания смысловых оттенков стихотворения «На независимость Украины», не в последнюю очередь, оказывается петербургское происхождение автора. Стихотворение продолжает антипошвенническую линию петербургских западников, презиравших и условную Рязань, и украинцев с их любовью к земле. Вероятно, именно с этим связано обилие в стихотворении этнических мотивов, а также мотивов, воплощающих тему еды (“семечки”, “курицу из борща”, “вареник”, “кавуны”) с возможным намеком на ленинградскую блокаду (“Вашего неба, хлеба / нам – подавись мы жмыхом и потолком – не треба”).

культуру» (Bertelsen O. Joseph Brodsky's Imperial Consciousness // Scripta Historica. 2015. Vol. 21. P. 277).

¹ Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 2000. С. 54.

² Белинский В.Г. Полное собрание сочинений в 13-ти тт. Т.12: Письма 1841–1848. М., 1956. С. 441–442.

«ДРАНЫЕ» СТИХИ САМООРГАНИЗУЮТСЯ В РЕЧЬ

Канат ОМАР о языковой самоидентификации, петербургских литературных встречах, поэтах Казахстана и поэме «Зрачок замёрзшей».
Беседовал **Владимир КОРКУНОВ**

– Канат, когда ты впервые увлекся поэзией?

– Скорее, это она в какой-то момент увлеклась мной (*смеётся*). А если без шуток, то, наверное, под влиянием сказок, стихов и песен, которые слышал в детстве, – матушка каждый вечер читала сказки народов мира. Ну и, разумеется, Александр Сергеевич – главный виновник того, что я полюбил организацию речи посредством ритма и говорение каких-то вещей таким неправильным, по мнению Льва Толстого, способом как стихи, иначе ритмизованной речью. С детства – и на всю жизнь.

– Можно сказать, ты больше ритмом скорее увлёкся, чем самой поэзией?

– Ритм, конечно, был важен, но и фонетика, и то, что за этим возникало. Может быть, кто-то и усмехнётся, что я оперирую очевидными именами, но тогда я был абсолютно покорён умением Пушкина простыми средствами дать картину, которая движется, звучит и вызывает в тебе море изменчивых настроений – именно это в своё время очаровало малыша (*улыбается*). Конечно, потом были и другие авторы, которые, может быть, стали более важны, но всё начиналось с него. Помню, будучи дошкольником, спрашивал: «А почему у него такая фамилия? У него была пушка?» Только позже понял, что главное здесь не пушка, а вот это: пуш-ш-ш – пух. Он воздушен, легкокрыл, летуч, как речь.

– В детстве ты уже пробовал что-то писать сам?

– Первое зафиксированное родителями, скажем так, стихотворное «произведение» – поэма о «дедушке Ленине». Как настоящий акын, стоя в автомобиле и держась за спинки передних сидений, всю дорогу от Краснокутска в Павлодар (а это немногим больше ста километров) импровизировал, вдохновенно вещал о «лучшем друге всех детей». А что именно произносил – напроочь не помню.

– Какой тебе представлялась поэзия тогда? Сочетание «мистического» ритма и фонетики – или, если обращаться к сказке, – сказочной, волшебной?

– Да, именно сказочной. Поэтому-то меня до сих пор привлекают авторы, которые не якают, а посредством непрямолинейной речи говорят о мире: Фёдор Сваровский, Арсений Ровинский, Станислав Львовский, Мария Степанова, Леонид Шваб... А ещё для меня всегда была важна звучащая речь, не печатная; мне кажется, с древних времён именно в звуке, ритме, интонации и заключалась магия воздействия текста на других.

– А какое своё первое стихотворение вспомнишь? Уже без подсказок родителей.

– Из детских точно ничего не помню, тем более в юности начал писать романы – о пиратах, авантюристах и так далее и ничуть не сомневался, что пишу круче всяких там Фениморов Куперов! Вспоминается только пара строк из стихотворения, написанного в 17 лет. «По окну разметались / мокрые волосы неба...» Дальше был образ комнаты – через это окно – в каплях дождя, и у ночника сидел некто, и были важны эти взаимоотношения между тем, что снаружи, и тем, что внутри. Это уже такой как бы переход к космогонии.

– Ты прекрасно владеешь казахским языком, но пишешь по-русски. Почему так?

– Язык сам меня выбрал. Это было заложено в детстве, при том, что казахская речь звучала повсюду, поскольку первые пять лет мы прожили с родителями моего папы; они говорили на казахском языке, и казахская речь – певучая и образная – пронизывала всё вокруг, и это было прекрасно, поскольку давало такой удивительный симбиоз с повсеместно звучащей русской речью – из радиоприёмника, чёрно-белого телевизора, на улице, в детском саду. Так что я даже не мог представить, что может существовать жизнь без казахской речи. А поскольку матушка моя с Алтая, то и все сказки и стихи, которые она мне читала каждый вечер, звучали на русском языке. Я говорил об этом на презентации книги «Каблограмма» в Москве.

– С предисловием Станислава Львовского, между прочим.

– Прекрасного Станислава Львовского! Книга вышла благодаря рекомендации Дмитрия Кузьмина, который переслал рукопись Вадиму Месяцу, который как раз тогда с Еленой Пахомовой из клуба «Классики XXI века» затеял замечательную серию «Русский Гулливер» в издательстве Руслана Элинина. Меня могут закидать мочёными яблоками, но я всё же повторю то, что сказал 15 лет назад на презентации книги, потому что это будет честно: та культурная и политическая ситуация, когда на всей территории бывшей Российской империи – и позже Советского Союза – русский язык и русская культура были доминирующими (что, несомненно, плохо для национальных культур: украинской, белорусской, казахской, грузинской, для какой угодно другой), вручила мне ключи к русской культуре и русскому языку и дала право называть себя русским сочинителем. Потому что, хочу я того или нет, а мыслю на русском языке. Случилось то, что случилось, и изменить это невозможно, и надо принимать только с благодарностью всё, что дарит или отнимает судьба, поскольку всё, с чем мы сталкиваемся в жизни, не что иное, как испытание: испытание любовью и страхом, жадностью и желанием славы, невзгодами и удачами, утратами и одиночеством...

Как говорил Лев Гумилёв, если кто-то принимает культуру другого народа искренне и полно, это становится его собственным достоянием. И Марина Ивановна (Цветаева) говорила, что именно язык взрывает национальные границы. Когда я что-то произношу, не задумываясь о грамматических правилах и лексических выкрутасах, я забываю, казах я или грузин, землянин или, положим, марсианин. Я – космополит в том значении, которое придавал термину Эдгар Алан По: житель космоса. И в этот момент мне не так важно, выходец из какого края, представитель какого народа тот, с кем я говорю. Если он владеет русским языком, и для него русская культура в базисе, мы всегда найдём общий язык. Разумеется, политики не имеют отношения ни к языку, ни к культуре: безжалостная история убедительно демонстрирует нам, что они с поразительным упорством становятся как раз таки губителями того и другого. Говорю же я тут сугубо о моих прекрасных друзьях и о тех, кто сохраняет честь и отвагу той великой русской литературы, которую мы знаем с XIX века.

– Как я понимаю, ты считаешь, что ни у кого нет монополии на язык, и одновременно у каждого носителя языка есть личная монополия?

– Конечно, конечно!.. Посмотрите, то же самое происходит и с английским языком. Поскольку русский язык является мировым языком, его судьба – быть толерантным к тому, что право на него внезапно получают в том числе и жители каких-нибудь Карибских островов или Австралии – только потому, что искренне и всецело приняли и полюбили этот язык и эту культуру. При этом они могут быть серо-буро-малиновыми и определять свой гендер как угодно или не определять вовсе. Но в этом же как раз и сила, и залог существования языка и продолжения культуры в новых непредсказуемых формах.

– Ты никогда не думал перейти в текстах на казахский язык? С одной стороны, это твой национальный язык. С другой – на русском пишет неизмеримо больше людей...

– Первое, что я хотел бы сказать совершенно чётко: меня никогда не интересовал успех в какой бы то ни было сфере. Всё, что привлекало, – это возможность существовать частным образом, максимально независимо от дураков. К сожалению, это невозможно, пока ты живёшь по законам человеческого общества. Хотя я и стараюсь минимизировать степень и частоту соприкосновения с различными образчиками людской агрессии, которая неизбежно проявляется в любой области, которая может представлять мало-мальский практический интерес для озабоченных индивидуумов.

К сожалению, стремление добиться успеха на литературном поприще редко отличается от общего душевного крена толпы и во всех прочих областях применения каких бы то ни было дарований с единственной внятной артикулируемой целью получения благ. Соответственно, это сопряжено с маловразумительной толкотнёй, которая меня совсем не забавляет. Мне ближе позиция Саши Соколова, Сэлинджера, Робинсона Джефферса, Кормака Маккарти и Мураками, когда человек делает вещи, которые сами по себе доставляют ему огромное удовольствие, а если плоды этих занятий оценит ещё кто-нибудь, то и слава богу! А нет – так и ещё лучше. По крайней мере, не будут навязываться в собеседники. Потому что, по моему глубокому убеждению, жизнь намного богаче и занимательней, нежели одно только литературное сообщество, которое ведь – будем честны до конца! – довольно скучная публика по одной простой причине, что люди, которые в него входят, часто примерно одного склада. Пусть в меня плюнут все, кому заблагорассудится, но признаюсь, что мне достаточно нескольких человек, дружбой с которыми я весьма дорожу. Они – лучший подарок в жизни, после, конечно, моих необыкновенных родителей, у которых мне посчастливилось родиться, моей чудесной супруги и моих прекрасных детей. Это небольшой, но важный для меня круг: Борис Останин, Николай Кононов, Станислав Львовский, Илья Кукулин, Дмитрий Кузьмин, Арсений Ровинский, Фёдор Сваровский, Александр Скидан и ещё несколько имён, которые не стану произносить, чтобы сохранить интригу (*улыбается*). Это неповторимые люди удивительного склада, высочайшей порядочности и невероятной одаренности. И каким-то необъяснимым образом сложилось так, что они чрезвычайно доброжелательно относятся к моей скромной персоне, а ведь «голос мой негромок». И, поверьте, этого достаточно, мне не нужен иной успех... К тому же есть ещё и ушедшие, те самые мёртвые собеседники, беседа с которыми никогда не заканчивается.

– И всё же: у тебя не было искушения начать писать на казахском?

– Естественно, я не мог не поддаться напору звучащей речи: как-то лет в 20 написал несколько текстов на казахском и отдал в алматинский журнал «Жалын», что в переводе означает пламя – ничем не лучше, чем зная... или вымя (*смеётся*). Ответили: «О, здорово, в этом есть какая-то изюминка, а принесите-ка ещё штук 5-6, сделаем подборку». Но у меня было всего-навсего три коротких стихотворения, и я подумал: прекрасно, вуаля! – и закрыл для себя тему. Поскольку не ощущаю себя настолько свободным в казахском языке, как в русском, чтобы отвечать за каждую паузу, каждый надрыв, каждый огрех.

– А в целом на литературную среду, которая не особо-то замечает авторов, далёких от московской и петербургской литературной тусовки, у тебя обиды нет?

– В журнале «Волга» как-то была опубликована моя подборка, где были строки: «оторван ото всех / и всеми вырван с мясом», а дальше переход – что-то вроде: а вот ведь воздух, весна и всё такое, и всё возможно, и голоса по-прежнему звучат... Да, ощущение оторванности, добровольной эмиграции, поскольку юность провёл в потрясающем-фантазмагорическом-непостижимом Петербурге, есть, но обиды – быть не может. Гнев вспыхнуть из-за каких-то мерзких вещей может – не буду отнекиваться, но вот обида, как и жалость, уверен, вовсе не те чувства, которые имеют право на существование, когда в собеседниках Эдгар Алан По, Марсель Пруст, Аполлинер, Овидий, Басё, Бухар жырау, Шалкииз, Магжан... Олег Григорьев, в конце концов...

– Если говорить о русских поэтах, кого бы ты назвал своими учителями?

– Сложно сказать насчёт учителей, но если говорить о тех, кто для меня особенно важен, – это Пушкин, Тютчев, Фет, Случевский, Анненский, Мандельштам. Блок, безусловно. Хотел бы назвать Цветаеву, но, к сожалению, это будет ложью, хотя всегда восхищался ею. Скорее назову Константина Вагинова и Леонида Аронзона, при этом не назову ни Бродского, ни Михаила Ерёмина... Пастернак? Безусловно. Борис Леонидович и Геннадий Айги – вот ещё два автора, которые для меня важны. И Стратановский – понял это совершенно определённо в глухой день в конце прошлого тысячелетия. И Виктор Соснора, который где-то рядом с Александром Сергеевичем стоит и заглядывает через плечо.

– В твоей поэзии больше от Сосноры, чем от Пушкина...

– (смеётся) И слава богу.

– Ты упомянул, что в 90-х погрузился в петербургскую культурную среду. Вспомни, пожалуйста, атмосферу Петербурга того времени.

– Самым ценным было ощущение безграничной свободы и радости. Карнавного веселья, буйства красок, смешения всех возможных систем, парадигм, поэтик, художественных стратегий, чего угодно – и все они имели право на существование, и не было никакой агрессии, поскольку всё это дополняло картину мира, которая стремительно наливалась жизнью, энергией, цветом и так далее, и так далее. Потому что до этого мир был сер и никудышен, а в этот момент внезапно стал снова таким, каким помнился с детства – до того, как поблёл в школьные годы в советской империи, весь аппарат которой, как мне кажется, был нацелен на то, чтобы вытравить из человека стремление к радости свободы, внутренней прежде всего, секрет которой хранится в детстве. Это время стало возможностью вернуться к детскому мироощущению – свободы, счастья, всеобщей любви, хотелось всех обнимать, целовать, плясать ночи напролёт. «Ёлки зелёные, брызги шампанского мне не дают забыть о том, что всё поёт и играет, поёт и играет...» – незабываемые слова из песни петербургской группы «Колибри» тех лет. Они великолепно иллюстрируют это карнавальное время, которому я безумно благодарен за то, что оно помогло мне вспомнить детскую радость ежеутреннего пробуждения – тому, что солнце всходит и заходит, ты дышишь свежим воздухом, пьёшь чистую воду и чихать хотел на временные материально-бытовые условия, внешнеполитическую ситуацию, какой бы уродливой она ни была. Потому что я точно знаю: мир продолжается, и он вовсе не замкнут в кратком светлом промежутке, *lumen intervallum*, и был прекрасен до того, как мы с вами оказались тут, и подарит ещё более увлекательное путешествие после того, как покинем освещённый крупинкой соли – нашим тусклым сознанием – круг, пре-

красный именно в своей кратковременности, и – очень надеюсь – встретимся с теми, кто ушёл чуть раньше и кто по-прежнему длится в памяти.

– А в легендарных петербургских котельных, где собиралась богема, ты сумел побывать?

– Безусловно! К примеру, в замечательной котельной на Невском проспекте, где дежурила Катя «ПК», но там была скорее художественная богема. Когда жил в Петербурге, был больше инкорпорирован в художническую среду. Не знаю, что тому причиной, но я всегда больше любил общаться с художниками и музыкантами, нежели с литераторами. Возможно, причина в неврас-
теничности (*смеётся*)...

– Литераторов?

– Да, наших собратьев по цеху. Художники всегда были более цельными натурами, светлыми и близкими к детям в своём мироощущении. Немного наивными, может быть, менее склонными к саморефлексии, но это как раз и привлекало. На тогдашней Пушкинской, 10 я нашёл удивительное сообщество, которое навсегда покорило мои сердце и разум. Это были замечательные Новые художники и кинематографисты Параллельного кино: Евгений Кондратьев, Евгений Юфит, Борис Казаков, Вадим и Саша Овчинниковы, Тимур Новиков, Борис Кошелухов, Игорь Рятов, Алексей Митин, Олег Маслов... Многие уже, увы, ушли... Владимир Николаевич Сорокин – намного более одарённый, чем московский Владимир Сорокин (*смеётся*), Владислав Гущевич и, к счастью, поныне здравствующий Олег Котельников, который наконец оценён в той мере, в которой заслуживает. Даже Илья Кукулин говорит о нём как об одарённом литераторе, и я знаю, что устные мемуары Олега Евгеньевича (он всегда был силен в разговорном жанре) прямо сейчас записывают на диктофон, а ведь он был одним из атлантов, свершивших русскую художественную революцию рубежа 1980–90-х, и помнит всё.

– Знаю, что в Петербурге у тебя было множество литературных встреч. Как ты познакомился с Драгомощенко?

– Аркадий Трофимович был тем, чьё существование в литературе и, шире, языке не было оправдано ничем рациональным и предсказуемым, это был человек-подарок! Первый раз имя Драгомощенко я услышал, ещё живя в Павлодаре, в конце 80-х, когда хлынул поток самиздата и тамиздата – всего, что было недоступно раньше. Я выписал «Вестник новой литературы», который выходил в Петербурге (тогда ещё Ленинграде) и некий дайджест лучших публикаций в самиздатовских журналах, где наткнулся на пару текстов Драгомощенко. Всё, что помню, это как он посредством фантастической графики и под управлением неповторимого ритма смог со своей абсолютно индивидуальной интонацией передать траекторию падающего листа. Стихотворение было вовсе не о том, но меня больше всего поразило именно это, потому что было привычным, что почти все гениальные русские стихи за редким исключением (тех же отважных хулиганов Хлебникова, Маяковского, Гуро, Кузмина, Вагинова, иногда куда более осторожных Блока, Мандельштама и Цветаевой) были написаны ровными убоористыми строфами и не отходили ни на шаг от аккуратной силлабо-тоники, где графика оставалась на задворках. Так что это было здорово, ошеломительно свежо! Позже подобную смелость у старших товарищей я обнаружил у Геннадия Айги.

А потом, уже в Петербурге, году так в 1992-м, Вадим Евгеньевич Овчинников представил меня Драгомощенко, между прочим, у подножия памятника Пушкину работы Аникишина, и почему-то произнес: «Вот, теперь я могу быть спокойным», поскольку, должно быть, посчитал, что передал меня в правильные руки (*смеётся*). Но надо понимать, что в юности я был куда более

радикальным, и мне претила любая возможность оппозиции августейшего ментора и коленопреклонённого школяра, что, конечно, было большой глупостью с моей стороны.

– Как на знакомство отреагировал Драгомощенко?

– Снисходительно усмехнулся.

– А с Кривулиным ты как пересёкся?

– О, это забавная история! Но прежде надо сказать о том, кого действительно любил, с кем мы провели много времени в прогулках по Петербургу и беседах о литературе и искусстве, памятью о ком дорожу, – Олеге Григорьеве. Мне посчастливилось встретиться с ним в 1991-м году, примерно за год до его кончины... Мне трудно о нём говорить бесстрастно, он один из немногих, о чьей утрате я сожалею как об утрате родного человека... После того, как это, увы, произошло, в Доме кино устроили вечер памяти Олега Григорьева. Там был Кривулин, пел Гребенщиков, собрались безусловно замечательные люди, произносились достойные речи, но в какой-то момент всё действие превратилось в пьяную вакханалию; я даже стал свидетелем сцены, когда ошарашенные посетители, случайно забредшие на огонёк, спрашивали у молодого человека, который пошатываясь спускался по лестнице со второго этажа: «Что здесь происходит?», и тот с улыбкой во всю физиономию провозгласил: «Праздник в честь смерти поэта Олега Григорьева!» Да, он прожил жизнь, которая предполагала подобное карнавальное сумасшествие, и это, может быть, по-своему даже замечательно. Думаю, он посмеялся бы, услышав это тогда – откуда-то оттуда. И вот когда вечер завершился, ближе к полуночи, стало ясно, что мой друг Алексей, которого все мы называли Крестьяшей, немного перебрал, так что надо было его сопроводить. И вот я потащил его к себе на Чёрную речку, в общежитие Академии культуры, где учился на режиссёра кино, буквально вёл под ручку по тёмному переулку от Дома кино к станции метро на Невском проспекте. Вдруг в какой-то момент Алексей вырвался и унёсся в сумрак. Я кинулся следом и увидел двоих: мужчина ковылял, как «скрюченный человек по скрюченной дорожке», и его придерживала дама – это были Кривулин с женой. Алексей кинулся к ним с воплями: «Вы все – фашисты! Вы все – фашисты!» Вероятно, таким образом выплеснулась его обида на питерских литераторов за Олега Григорьева...

– Что спонли?

– Сложно сказать, что за этим стояло... Но порыв нельзя было не оценить. Другое дело, что он не должен был относиться к Кривулину, абсолютно. Я схватил Алексея за руку и сказал: «Алёша, ты что? Это же поэт Виктор Кривулин!» Крестьяша сразу успокоился и застыдился, и Кривулины ушли в темноту... Я запомнил навсегда этот момент, потому что хоть Кривулин, конечно, и был шокирован Алёшиной филиппикой, вздрогнул, дёрнулся в сторону, но в его глазах, как и в глазах прекрасной спутницы, мелькнуло что-то особенное, когда неведомо откуда взявшаяся фигура с лицом восточного человека произнесла: «Это поэт Виктор Кривулин». Тешу себя надеждой, что в тот момент Кривулин ощутил дуновение того, что зовётся народной славой (*смеётся*).

– Если идти дальше по важным для тебя именам, наверное, надо назвать Бориса Останина.

– Борис Останин – абсолютно чудесный человек, умнейший и добрейший, и он первый из литературной среды, кто встретил меня в Петербурге. Я безумно ему благодарен, потому что, будучи абсолютной звездой, редактором легендарного самиздатского журнала «Часы», известным прозаиком и мэтром, вокруг которого собирались юные авторы, которые стали потом цветом того поколения «младших петербуржцев»: Александр Скидан, Дмитрий Голынок, Руслан Миронов,

он совершенно не чинясь пригласил меня к себе домой. Мы сидели на его кухне, пили кофе, и он сразу сообщил, что сам приехал в Петербург с Алтая (откуда, между прочим, и моя матушка), и его всегда сильно занимало то, что происходит в литературе за Уральским хребтом. Возможно, этим был продиктован интерес и к моей персоне, а уж точно не альманахами, напечатанными на коленке в Павлодаре. Что меня тронуло – он оказался настолько широчайшей души и открытости миру, что предложил мне, девятнадцатилетнему салаге, стать соредактором одного из номеров журнала «Часы».

– Представить казахстанскую литературу?

– А вот и нет! Просто Останин знал, что к тому времени, как постучался в его дверь, я уже с головой погрузился в художественную среду, и он полагал, что смогу привлечь тех петербургских авторов, которые ощущали себя прежде всего мастеровыми визуального искусства. А журнал «Часы» был хорош тем, что давал приют литературным изгоям, так называемым проклятым поэтам, иногда даже и не поэтам вовсе. И в самом деле он угадал, потому что пусть идея с «Часами» и не сложилась, но спустя пять лет собранные тексты нашли пристанище в альманахе «Прогулка», изданном на грант фонда Сороса. И редактировал который, в свою очередь, и всячески способствовал печати замечательный, стоящий особняком в литературе в силу уникальности дара и творческой манеры, умница и настоящий друг Николай Кононов.

Кстати, тогда же, в 1990 году, Борис Останин пригласил меня на писательские посиделки в сгоревшем позже Доме писателей на Шпалерной, так что я смог представить вольнослушателям его литературно-философского кружка один из павлодарских самиздатских альманахов. В их числе, повторяюсь, были Скидан, Голынок, Миронов. Всех их я очень люблю. Больше всего из них, конечно, признан Александр Скидан, и покойный Дмитрий Голынок получил свою долю признания, причём и за рубежом, а вот неподражаемый Руслан Миронов остался самым недооценённым, наверное, автором этого поколения. Но до сих пор его «Воздухоплаватель» 1994 года – одна из моих любимых поэтических книг.

– Помню ещё один альманах, который ты мне подарил, тоже из конца 1990-х.

– Это была идея моего давнишнего друга и очень одарённого автора Евгения Дымова – издать в Павлодаре альманах «Na barjé». Произносится на французский лад, с ударением на последнем слоге. На обложке Женька поверх контурной карты разместил силуэт Эйфелевой башни на месте Павлодара, этакое в его тогдашнем представлении центра мира.

– Ты сразу начал писать верлибром – или вначале было регулярное письмо?

– Помимо русской поэзии я всегда любил французскую и японскую. А во французской, помимо Бодлера, Малларме или Рембо, как ты помнишь, были Гийом Аполлинер, Блез Сандрар и Поль Элюар, которые писали свободным стихом. А когда ты говоришь о японской поэзии, например, о Басё или Бусоне (которых читал, разумеется, в переводах замечательной Веры Марковой), это ведь тоже не регулярное письмо. Ещё мне всегда нравился совершенно неповторимый Пиндар с его рваными одами. Или, к примеру, древние индийские гимны и заговоры поражали своей образной системой: «О, женщины в разбитых одеждах!» – это из заклинания против кровотечения, представляешь? Или египетские плачи и любовные песни – они точно были написаны не силлабо-тоникой. И на фоне всего этого наблюдать ужасающую массу пишущихся здесь и сейчас незамысловато зарифмованных силлабо-тонических текстов! Игрушечных стихов по сравнению с образцами, которые дали Случевский или Анненский.

И вот когда в 15-16 лет в тебе начинает звучать некоторая речь, ты записываешь её торопливо, не упуская ничего, и тексты выходят многословными, едва умецаются на страницу А4. Но

по здравом размышлении ты видишь, что в них ничего нет, кроме 2-3 диких строк, и какая-то сила внутри тебя требует действий, как будто говорит: «Нет, это всё не то, это всё враньё, это всё ложь», и ты принимаешься вычёркивать, вычёркивать и вычёркивать. И таким образом из напудренного и завитого текста вдруг возникает некое подобие верлибра. Твоего собственного. Не потому, что перенимаешь его у кого-то, а просто потому, что отсекаешь всё лишнее, и вот эти выжившие оборвыши, «драные стихи» самоорганизуются в речь. И ты понимаешь, что это единственное, что стоит оставить.

– *Получается та манера, в которой ты работаешь...*

– Как каменотёс... как скульптор.

– *Сейчас, спустя 25 лет с момента выхода твоей первой книги «К ещё более бледным», какой она тебе представляется?*

– О, это далеко не первая книга. Самая первая существует в двух или трёх экземплярах, отпечатанных на пишущей машинке моим замечательным другом школьных лет Вадиком Овчинниковым (то есть не тем Вадимом Евгеньевичем Овчинниковым, который был одним из лидеров Новых художников в Петербурге, а Артуровичем). Она называлась «Это не книга» (отсылка к цитате из Уитмена: «нет, это не книга, Камерадо, / тронь её, и тронешь человека...»), а после неё ещё были «Человек в квадрате» и «Каля-маля», тоже самиздатские.

Что касается той книжки, о которой ты спрашиваешь, то это была первая изданная типографским способом, и с ней связан забавный факт: как-то раз, уже в эпоху Интернета, я был застигнут врасплох, случайно обнаружив запись в «Живом журнале», что вот, мол, ура, в галерее «Борей» на Литейном наткнулся на книгу «К ещё более бледным». Когда ты уже 10 лет как покинул Петербург, услышать такое не ожидаешь. Первая реакция: «Кому она вообще может быть интересна?»

Объясню название: подразумевалась аллюзия на раннюю работу Константина Вагинова «Монастырь Господа нашего Аполлона», а если быть точней, это цитата из книги Уолтера Патера «Воображаемые портреты». Патера я, разумеется, в те годы не читал, но его слова в статье о Вагинове о том, что страшный, кровожадный, переродившийся Аполлон Гиперборейский направляется «сквозь Францию и Германию к ещё более бледным странам», врезались в память. Тем более территорию украинско-российско-казахских степей всегда воспринимал как те самые бледные, северные страны по отношению к древнегреческой ойкумене. И вот, в 1997 году чаяниями потомков великого полководца времён Второй мировой войны, одного из военачальников дивизии Ивана Панфилова, которая остановила наступление гитлеровских армий на подступах к Москве, и вышла моя книга. В издательстве «Кавсар Булак» при Благотворительном фонде имени Бауыржана Момышулы. Книгой занимался внук полководца Ержан, но настоял на публикации его отец, сын Бауыржана, покойный Бахытжан. Возможно, это ничего не значит для литературы, но для меня лично всё это... как бы такое благословение степного патриарха, наследника героического духа доблестных предков, веками отстаивавших мою родную землю от захватчиков...

– *В Казахстане 2000-х одной из наиболее ярких поэтических фигур был Павел Банников, поэт, культуртрегер. Слышал, его влияние на литературу Казахстана было сродни влиянию Дмитрия Кузьмина на российскую актуальную литературу.*

– Павел Банников – фигура небывалого для местной литературной среды масштаба, которая, возможно, здесь более значима, нежели фигура Дмитрия Кузьмина для российской.

– *Из-за расслоения и многочисленных течений и притоков?*

– Разумеется! Бесспорно, масштаб фигуры Дмитрий Кузьмина и всего сделанного им никому не затмить. Но в казахстанской литературной среде, в значительной степени однородной, признание Банникова куда более безусловно, чем Кузьмина в московской и в целом российской именно в силу их большей дифференцированности. Конечно, и у него были оппоненты и злопыхатели, но погоду они не делали. И стоит заметить, что именно Банников перехватил падающее знамя из рук скончавшейся Ольги Борисовны Марковой, главного редактора альманаха «Аполлинарий» и основателя фонда «Мусaget», которая в 90-х просто спасла целое поколение современных казахстанских авторов от небытия. В их числе как раз таки Павел Банников, Иван Бекетов, Юрий Серебрянский, Иван Полторацкий, Ксения Рогожникова, Михаил Земсков, Заир Асим, Ольга Передеро, Алексей Швабауэр. Именно Паша благодаря своей светлой натуре и устремлённости к радости, гармонии и счастью смог подарить надежду и любовь следующим поколениям молодых одарённых авторов, их имена звучат всё более отчётливо. И в литературе они возникли и существуют во многом благодаря усилиям, вниманию и терпению Банникова. Я ни в коем случае не умаляю заслуг Михаила Земского и Ксении Рогожниковой, которые стоят у истоков Открытой литературной школы Алматы (ОЛША) как продолжения марковских институций, наподобие «Мусagета», но то, что давал и даёт людям Паша, трудно переоценить. Это вопрос личной вовлечённости и увлечённости процессом, достоверных индикаторов которых просто нет, но уверен, что ощущения многих причастных совпадают с моими. Не говоря уже об удивительных издательских проектах, которые он затеял за прошедшее десятилетие, и международных литературных фестивалях, которые умудрился провести. И о звёздах мировой величины, которых он привозил в Алматы со всех концов света.

– Уже в 2010-е ты познакомился и достаточно близко общался с Надеждой Воиновой и её дочерью Софией Камилл. По литературной жизни в Петербурге и отчасти в Москве мы их помним, а какими они были в Казахстане?

– Это были прекрасные годы, когда Надежда Воинова с семьёй жила в Астане. Я благодарен ей за всё, что она сделала. Например, за переводческий семинар с Алёшей Прокопьевым, в котором участвовали Юрий Серебрянский, ваш покорный слуга и другие. В первый раз мы встретились с ней на фестивале Post Poetry, который устроил Ануар Дуйсенбинов, и куда он пригласил в том числе Банникова и Швабауэра из Алматы. Тогда-то Надежда и соткалась прямо-таки из воздуха. Мы толпились у входа в клуб и весело болтали, в предвкушении предстоящих чтений, слегка волнуясь, а потому слегка что-то выпивая, и вдруг чей-то ясный и сильный голос процитировал – причём полностью – стихотворение Леонида Аронзона. Если человек цитирует тебе на берегах Есиля за тысячи километров от Петербурга стихи Аронзона – это внезапный подарок, которого никак не ждёшь, и это знак того, что это свой человек. И уже позже я узнал, что она, оказывается, из Питера, и знакома с моими тамошними друзьями: например, с Андрюшей Саматугой. И, конечно, я признателен ей за то, что она подарила чудесную возможность познакомиться с её фантастическими детьми – в первую очередь, с Ксенией Софией Элизабет Камилл. Я не хочу называть по именам, чтобы не сглазить, младшую дочь и сына, а вот София сразу напомнила отважных девчонок, в которых я непрестанно влюблялся в детстве, которые были настоящими пацанками и бесстрашно стремились к чему-то, что только брезжило впереди. К чему? Только всей своей жизнью каждый из нас даёт собственный ответ – как правило, уже после того, когда мы проходим точку невозврата: зачем и что было нам дано, и достигли ли мы пункта назначения. И в случае с Софией это было выражено особенно внятно. Ей было неполных 12 лет, когда мы впервые увиделись. Надя всё время водила её с собой на литературные чтения, театральные премьеры, всевозможные презентации и приёмы, и София жадно всё это впитывала. Спустя пару лет с Юрой Серебрянским и вашим покорным слугой она даже потом вместе читала.

– Собственные стихи?

– Да. Но я хотел бы рассказать не об этом, а об уникальном событии, свидетелем которого мне посчастливилось быть. Замечательный Ельден Сарыбай учредил в Астане творческий фонд «Перо» и каждый второй вторник всякого месяца устраивал чтения в самых неожиданных кафе. Любой желающий мог прочесть стихи, и что удивительно: публика с бокалом вина в руках внимательно слушала всех, невзирая на степень одарённости. И Надя довольно регулярно приходила на эти вечера читать свои стихи, ведь она не только переводчик, но и самобытный автор, и, конечно, приводила Софию. Помню, как-то обратил внимание: та сидит за кофейным столиком не в общем зале, а в боковом, и что-то записывает в блокноте. И вот вечер завершается, и тут Надя просит: «Ребята, пожалуйста, не расходитесь! Послушайте, что написала моя дочь. Впервые». И тогда я услышал – смею надеяться – первое стихотворение, написанное Софией Камилл (по крайней мере, в тогдашней интерпретации это прозвучало таким образом). Что меня поразило: это был абсолютно зрелый текст, который имел полное право претендовать на то, чтобы быть произнесённым вслух перед искушёнными читателями.

– *Перенесёмся в день сегодняшний. Поздравляю с новой книгой, вышедшей в серии «InВерсия», – «Город крадёт мёртвых». Расскажи, пожалуйста, как она создавалась, какой у неё концепт?*

– Сказать, что я рад её выходу, значит, ничего не сказать: я просто опрокинут и потерян. Прошло 14 лет с моей предыдущей книги «Каблограмма», если не считать сборника «Нембо», который Алексей Швабауэр тиснул в своём «Подпольном издательстве» в 2015 году, хотя он был собран ещё в 1993 году. Я безумно благодарен Наталье Санниковой, если бы не она, книга никогда бы не была издана. Признателен и остальным участникам книгоиздательского проекта: Юлии Подлубновой и Екатерине Симоновой, а в особенности Илье Кукулину, который написал послесловие – это такая невероятная честь, которой я вовсе не заслуживаю. А почему такое название? Идея книги появилась у нас с Наташей в первый и самый ошеломительный год пандемии, думаю, нет необходимости объяснять, что происходило в мире, мы помним все эти тысячи смертей, которые рушились на наши головы ежедневно, как небесная кара. Люди были абсолютно не готовы к беде, вся мировая инфекционная система оказалась не готова к такому удару, хотя его предрекали не раз. Из-за одного только неверного протокола лечения мы теряли миллионы людей по всей планете. Тогда казалось, что заканчивается целая эпоха, наступает конец цивилизации, а апокалиптические предчувствия, которые пронизывают всю современную культуру уже какое десятилетие, начинают сбываться... Теперь-то мы понимаем, что это были только цветочки, и куда более актуальными эти предчувствия стали позже... Тексты, написанные в пандемию, и вошли в книгу, но не только они. И хоть я мог бы сожалеть, что не включил в неё какие-то важные тексты, а какие-то необязательные, напротив, сунул, но не стану, потому что существенно не это, а то, что она всё-таки состоялась, и это самое главное, что я хотел бы сказать сегодня о своём ощущении времени и мира, в котором мы с вами, дорогой Владимир, барахтаемся.

– *Ещё меня очень волнует твоя совместная работа с Марией Дейкуте – она переводит твой цикл «Зрачок замёрзшей» – о голодоморе в Казахстане... Расскажи, пожалуйста, о нём и о совместной работе с Марией.*

– Я абсолютно убеждён, что настоящие тексты, которые приходят в этот мир, возникают во все не по воле автора (если, конечно, автор не врёт), так что они не написаны, а записаны. Выужены из звучащего хаоса. Из беременного воздуха. Соответственно, вопрос авторства для меня всегда сомнителен и неважен. Это, кстати, имеет отношение и к вопросу о публичном успехе. Сказочно смешно, когда человек, которому посчастливилось записать горстку текстов каким-то особенным образом, считает, что этот факт подразумевает мифическое право на особое отношение к его персоне! Если человек думает так, то он мнит себя рок-звездой и вряд ли имеет отношение

к настоящей литературе. Поскольку не лживые тексты всегда возникали не благодаря какому-то автору, а только посредством этого персонажа как всего лишь инструмента – он становился просто удачливым проводником того, что уже звучит само по себе и существует помимо него. Ему повезло обладать сверхчутким слухом, который позволил уловить то, что носится в воздухе, он всего лишь флейта, обожжённая уж не знаю кем и зачем. Ведь мы прекрасно знаем, что человек – довольно ужасное существо. Несмотря на то, что мы – любимые дети Всевышнего, в нас, увы, очень много звериного, того, что в христианской парадигме считается дьявольским, а когда мы говорим о настоящих текстах, мы говорим о божественном. Вспомним байку о том, что в двадцатом веке учёные переложили звуки, дошедшие из космоса, на нотную грамоту и осознали, что они той же природы, что фуги и кантаты Баха (салют пифагорейцам!) Потому-то смешно, когда люди выпячивают собственное «я» всякий раз, как речь заходит об авторстве. У настоящих текстов, которые остаются в памяти человечества, нет автора. Мне чрезвычайно симпатичны слова моего соотечественника Бахытжана Канапиянова: «Я просто пишу стенограмму, / И авторство мне ни к чему». Это очень честные слова! Либо ты записываешь, либо врёшь. Поскольку всё, что может выдать каждый из нас по собственному разумению, это гипертрофированное эго, что, по идее, не должно бы прельщать никого в здравом уме. В действительности же мы видим совсем иную фантазмагорическую картину... Конечно, если говорить о прозе – это другое. Там Гаргантюа и Пантагрюэль, великий безумец Сервантеса, вся эта гоголиада и набоковиана.

– А если обратиться к конкретно твоему тексту?

– Это вовсе не цикл, а трагическая поэма, продиктованная памятью о Великом голоде в казахской степи 1920–30-х годов, инспирированном большевиками, катастрофе, постигшей казахский народ. Я убеждён, что главной жертвой Октябрьского переворота и Гражданской войны стал именно русский народ. Он потерял практически всё, всю великую культуру, которая завораживала мир, и стал на грань исчезновения. Но абсолютно трезвое моё убеждение заключается в том, что в результате последующих действий большевиков – борьбы с крестьянством и поспешной коллективизации – казахский народ пострадал куда больше, чем русский и украинский. Казахи потеряли больше половины народа. Это ещё не упоминая беженцев в Китай, Иран, Афганистан и так далее. А те, что остались на родной земле, безлюдной, как выжженная пустыня, выживали, как могли, но не могли не впасть в ничтожество. Ведь большевики уничтожили весь цвет национальной интеллигенции, и всё это вкуче позволило им сотворить всё, что они сотворили с моим любимым, многострадальным и мужественным народом. К счастью, мы сохранили высокие традиции великих предков и наш дух. Благодаря этому стало возможным восстание 1986 года, когда молодёжь вышла на улицы тогдашней столицы Казахстана с требованием уважать национальное достоинство каждого народа, населяющего Советский Союз, – и, в частности, казахского народа.

Я никогда не считал себя вправе говорить о тех ужасных событиях в годы Великого голода, когда, казалось, Вселенная отвернулась от этой земли. Но в какой-то момент, кажется, это был 2019-й год, речь о них начала звучать во мне против моей воли. Я люблю жизнь и всю ту радость, что она может приносить всем без исключения, и никогда не хотел говорить о вещах, мысль о которых приносит невыносимую боль мне самому. Каждая строка, которую я записываю, – это страдание. Я не знаю, когда это завершится. Не я её начинал, не мне завершать. И я бесконечно благодарен Марии Дейкуте, которая, прочитав первые главы поэмы, сразу сказала: «Я буду это переводить, это важно». Какое отношение к поэме «Зрачок замёрзшей» имею я? Мне эта ситуация видится таким образом: на какое-то время я стал тем самым инструментом, в котором шипел, свистел, шелестел обожжённый воздух, и только лишь для того, чтобы голоса тех прозрачных и уже неразличимых прозвучали здесь и сейчас. А всё, что есть от меня, – это искажения... Если бы я был одарён как лучший из лучших, поэма звучала бы иначе. Так, что люди не смогли бы терпеть тот ужас, с которым они мирятся сегодня.

ДРАМА И ДВИГАТЕЛЬ ИСКУССТВА

Виталий ЛЕХИЦЕР о вестнике современного искусства «Цирк “Олимп”+TV», феноменологии, личных поэтических траекториях и опыте хронических болезней.

Беседовал **Владимир КОРКУНОВ**

– Виталий, во второй половине 1990-х Самара стала одним из центров литературной жизни страны – во многом благодаря созданному Сергеем Лейбградом изданию (тогда газете) «Цирк “Олимп”». В город приезжали классики андеграунда Всеволод Некрасов, Геннадий Айги, Лев Рубинштейн... Каким было для вас это соприкосновение? И не оно ли – и вся атмосфера – предопределило ваше обращение к инновативному письму, поиску того, чего не было ни в конвенциональном письме, ни в андеграунде?

– Да, во многом именно оно. Конечно, Сергей Лейбград благодаря своему теперь уже легендарному вестнику современного искусства «Цирк Олимп» (1995–1998) создал потрясающую литературную и артистическую атмосферу в городе, и многое из того, что читалось, говорилось, звучало на литературных акциях, организованных Сергеем в конце 90-х и начале нулевых, на меня, разумеется, сильно влияло. Прежде всего, в плане преодоления постакадемической инерции письма и освоения эстетики конкретизма и концептуализма, вообще речевой основы поэтического высказывания. Мне кажется, в этом заключалась одна из сквозных линий ЦО 1990-х – и плане публикаций, и в плане приглашаемых Сергеем в Самару авторов, многие из которых – классики русской неподцензурной литературы. Однако к этому нужно добавить, что в 1998 году я защитил кандидатскую диссертацию по феноменологии художественного опыта, а писалась она, как положено, три года и в итоге вылилась в мою первую монографию «Введение в феноменологию художественного опыта» (2000). Эмпирический материал диссертации был существенным образом поэтоцентричен. Я тогда прочитал, по-моему, все на свете касательно философии искусства и литературы. Такая работа сильно продвинула мое осмысление литературы и, в том числе, собственного поэтического опыта. Отметил бы еще два обстоятельства. В 1996 году я получил грант Института «Открытое общество» и провел в Самаре в партнерстве с Самарской Гуманитарной Академией трехдневную и многоформатную литературную акцию, пригласив на нее ряд известных литераторов (с кем давно хотел познакомиться), которые не только читали стихи и выступали с сообщениями, но и вели мастер-классы для молодых авторов из Самары и Тольятти. На этой акции я, например, впервые услышал программный доклад Михаила Айзенберга «Власть тьмы кавычек». Также очень был любопытен состоявшийся публичный спор, короткий, но показательный, между Михаилом Айзенбергом и Евгением Рейном – вокруг фигуры Всеволода Некрасова. Все это заснято, оцифровано и размещено на нашем канале на Ютубе. А также в 1997 году я принимал участие во Втором съезде молодых европейских писателей в Хорватии, на о. Крк. Стоит ли упоминать, насколько меня ошеломило все, что я увидел на этом европейском празднике молодой поэзии и перформанса.

– А ваш интерес к феноменологии – как возник? Что она значит для вас?

– Вероятно, с философских семинаров профессора В.А. Конева в Самарском государственном университете. На семинарах мы штудировали Гуссерля, Хайдеггера, Сартра, Деррида и т.д. Тогда (как раз в середине 90-х) я вчитался в классические феноменологические тексты и влюбился в строгость феноменологического анализа, который парадоксальным образом был близок поэзии – не строгостью, конечно, а тематически, своим предметом – опытом. Потом

было много чего – стажировка в РГГУ, где функционировал Центр феноменологической философии (руководитель – профессор В.И. Молчанов), участие в семинаре выдающегося немецкого феноменолога Бернхарда Вальденфельса, который он проводил в Минске (2004) в рамках философской школы Европейского гуманитарного университета (тогда он еще базировался в Минске, с 2004 г. и по настоящее время – в Вильнюсе). Вообще летние философские сессии в Минске и Литве, и также короткие в Киеве и других городах, проходившие по несколько лет подряд в середине, а потом с небольшим перерывом в конце нулевых – главное событие в моей интеллектуальной жизни. Общение с Владимиром Фурсом, Татьяной Щитцовой, Ильей Инишевым и целым рядом приглашенных на сессии зарубежных профессоров – это была мощнейшая профессионализация, о которой я вспоминаю с огромной ностальгией. Эти школы дали возможность переосмыслить свой философский опыт, изменить его. Участие в егущных семинарах открыло мне глаза и на многие неприглядные вещи в философии, которые я раньше не замечал и которые, к сожалению, с избытком процветают в отечественной философии и, тем более, в Самаре, и в стенах нашего университета в том числе, и у тех людей, которые двадцать лет назад казались другими.

На философских школах и между ними – бесконечные разговоры с коллегами из Киева, Питера, Минска, Москвы, Вильнюса, Екатеринбурга, Томска. У нас образовался тогда дружеский трансграничный круг феноменологов, который и сейчас отчасти существует как *invisible college*. Для многих моих друзей феноменология стала главной историко-философской темой, меня же вдохновляла скорее сама идея эмпирического философского изучения (аналитического описания) сущности человеческих переживаний, актуализация методов феноменологии для анализа того или иного региона этого переживания, например, опыта боли, художественного опыта или опыта спора (это некоторые темы моей докторской диссертации). И когда по разным причинам я ушел из философии и стал больше заниматься социальными науками, все-таки феноменологический бэкграунд остался для меня важным, потому что феноменология повлияла и влияет до сих пор на очень многие явления в современной социально-гуманитарной науке.

– В ваши поэтические тексты, я заметил, некоторые феноменологические мотивы проникают уже с первого серьёзного сборника – «Книга просьб, жалоб и предложений» (2002). Можно ли сказать, что ваша поэтическая и философская работы существуют не автономно, а крепко спаяны между собой?

– Да, так сказать можно, добавив сюда еще мои исследования в области медицинской антропологии. Но, действительно, поэзия как феноменология – моя давняя тема, начиная с кандидатской диссертации и первой монографии и заканчивая совсем недавней открытой лекцией (я выступал в качестве приглашенного лектора) в лаборатории трансцендентальной философии НИУ ВШЭ. На материале американской и русской поэзии я рассказывал о близости поэтического опыта и опыта феноменолога. Некоторые мои стихи, например, в книге «Своим ходом: после очевидцев» строятся как транспонирование (разными способами) в поле поэзии лекционных или научных высказываний. В «Книге просьб, жалоб и предложений» фиксируется фактическая ситуативная речь из домашнего мира. Правда, то обстоятельство, что здесь применимо гуссерлевское понятие *Heimwelt*, я понял уже сильно после... Но в целом исследовательская, рефлексивная установка в поэзии – это то, что для меня растет из феноменологии и – в последние годы – из антропологии.

– Что сейчас самое интересное происходит в феноменологии? – поясните для обычного человека.

– Много всего, это целый мир. История «Феноменологического Движения» (Г. Шпигельберг) далеко не закончена. Есть прикладное применение феноменологии, например, в психотерапии.

По-прежнему ведутся историко-философские исследования текстов феноменологов-классиков, издаются новые переводы. Краткий обзор того, как повлияла феноменология на американскую и русскую поэзию, можно прочитать в моей статье «Поэзия как феноменология». Но я бы привел пример одного прекрасного исследования, которое я пару лет назад рецензировал для журнала «HORIZON. Феноменологические исследования» – это книга профессора Китайского университета Гонконга Саулюса Гениусаса «Феноменология боли» (Saulius Geniusas, «The Phenomenology of Pain», 2020). Выдающийся систематический анализ опыта боли, имеющий и методологическое значение, и прикладное – попытка скорректировать то понятие боли, которое было принято в 1979 году Международной Ассоциацией Исследования Боли (International Association for the Study of Pain) и признано Всемирной Организацией Здравоохранения.

– Кстати, вы сразу чувствовали – что будете преподавать? Что вы видите в этом: некий отдаленный долг, воспитание людей со схожими взглядами? Какая у вас сверхцель как у преподавателя?

– Преподавать начал с аспирантуры, хотя работал и санитаром в больнице, и журналистом. У преподавания несколько целей: передача профессиональных знаний, обучение исследовательским навыкам и, поскольку университет – это политический институт, то (формулирую сверхцель) обязательно формирование ценностей демократии и критического мышления. Работы на общество, а не на власть, и верности истине. Социологов, которым я преподаю, это касается в первую голову, потому что в будущем они, как это обычно происходит, могут быть развращены госзаказами. Ну а после 24 февраля прошлого года – создание когнитивной и языковой альтернативы тому, что льется на головы студентов отовсюду и, к сожалению, от многих преподавателей тоже.

– Вы были близки к проектам Дмитрия Кузьмина – «Вавилону», а после «Воздуху». И несколько книг в его издательстве/под его редактурой выпустили. Про Кузьмина говорят многое (и подчас противоположное), а каков он в ваших глазах?

– Надо уточнить, что близок исключительно эстетически, не организационно, то есть с точки зрения понимания того, что такое поэзия и как возможно поэтическое высказывание. Это как раз темы инновационности, экспериментальности, актуальности и т.п. Мы одного поколения – и возрастного, и литературного. Дмитрий Кузьмин в известной статье «Поколение Вавилона» (2008) упоминает много имен, и когда обращает внимание на российские регионы, а он делал и делает это всегда, то в том числе упоминает и меня. Я, безусловно, горжусь этим славным фактом, как и тем, что несколько моих книг выпущено, как вы верно заметили, в его сериях, при его редактуре. Ну и, простите, если уж вы спросили, не могу не упомянуть его речь на вручении мне Премии Белого в Питере в 2019. Упомянуть еще и потому, что там, в частности, сформулировано самое адекватное понимание того, что я делал как литкуратор, исходящее из всего контекста моей литературной и научной работы. Вообще Дима, о чем бы или о ком бы ни говорил, всегда или почти всегда удивительно точен в формулировках. Вы брали у него интервью, вы это знаете: он проблему просто раскладывает по полочкам, очень убедительно. Вот такую аналитическую точность, адекватность предмету разговора, основанную, разумеется, на обширных знаниях, я не видел почти ни у кого в литературном мире. Сложно сказать коротко, кто такой Кузьмин в моих глазах, если вообще возможно. Абсолютно уникальный эксперт в области современной русской поэзии, а также украинской и американской, создатель самых крутых литпроектов, журналов и поэтических издательских серий, прекрасный переводчик с нескольких языков, интересный поэт (я писал о его стихах). Человек, который не боится яростно, но аргументированно спорить с мейнстримными идеями и брать огонь на себя. Часто в публичном поле резкий (это порой и вправду нужно), но в жизни, по-моему, деликатный и мягкий. Мне также импонирует, что он понимает поэтическую актуальность, не редуцируя ее к какому-то одному, пусть и продвинутому,

типу письма, и руководствуется в своих редакторских и кураторских решениях только профессиональными критериями. Вот это вообще редкое качество в литературном мире. А верность профессиональным критериям имеет, между прочим, и политическое значение.

– Кто для вас в литературном поле также является ориентиром? Чтобы сузить круг (поскольку, я понимаю, у редактора, много лет держащего руку на пульсе поэтического литпроцесса, этот список может быть велик) давайте ограничимся пятью самыми важными для вас поэтами. Можете ли назвать также и несколько поэтических книг, которые вас потрясли в течение последних лет?

– Именно в качестве ориентира назову Александра Скидана. Человек огромной культуры, абсолютного литературного слуха, тоже совершенно уникальный эксперт, прекрасный поэт, и плюс ко всему он органически демократичен, что действительно поразительно при таком масштабе личности. Кроме того, мне чрезвычайно импонирует его идея работающего сообщества в литературе, идея, которую он долгое время реализовывал в Санкт-Петербурге. Я учился этому у него, когда пытался сделать нечто подобное в Самаре. Но у меня все-таки не получилось. Вообще Кузьмин и Скидан для меня – две координаты актуальности и экспертизы в поэзии, установки на этичность, политизацию и профессионализм. Это уникальные люди – вот изыми их кураторскую, издательскую, редакторскую деятельность из литпроцесса... мне даже не хочется вообразить такое. Поскольку и до 24 февраля в России не сложилось хоть сколько-нибудь нормальной институциональной среды в литературе, особенно в поэзии, а по многим параметрам она буквально близка к нулю, постольку институты у нас – это конкретные личности, их персональная квалификация и энтузиазм. По крайней мере, так было. А поскольку мы здесь, в России, остались без будущего, то говорить теперь можно только о прошлом.

Что касается современных поэтов, важнейших для меня, то я назову четверку (иначе придется называть и десять, и двадцать, причем из разных поколений): Станислава Львовского, Елену Фанайлову, Александра Скидана и Дмитрия Голыню. Среди новых книг, меня потрясших, упомяну «#температура земли» Ирины Котовой, «Ненаглядные пособия» Марины Тёмкиной, «Периоды» Полины Андрукович, «То, о чем следовало рассказать с самого начала» Константина Шавловского и совершенно поразительные стихи Ии Кивы (Украина) в книге «Подальше от рая».

И я не могу не упомянуть некоторые имена в другом отношении – кураторском. Вот есть город Челябинск, мне довелось там участвовать целых два раза в едва ли не лучшем поэтическом фестивале «InВерсия», включавшем массу новаторских форм взаимодействия и предъявления литературы, в том числе инклюзивный проект «На языке тишины», который курировали вы, Владимир. Я хочу назвать Наташу Санникову. Чувствую с ней общность судьбы. Мы с ней живем в городах, созданных не для надежды, а для отчаяния, не для мечты, а для заведомого поражения. Это все фатальные последствия «внутренней колонизации» (термин А. Эткинда) в организации России. Все, кто претендует на что-то серьезное, уезжают из таких городов, и правильно делают. И в этой атмосфере Наташа с коллегами каждый раз формировала такую содержательную литературную программу фестиваля и создавала на нем такую атмосферу, что ты чувствовал любовь, неподдельное внимание и перспективы. Я бы ставил памятник таким людям. А потом они, жительницы Челябинска и Екатеринбурга (Наталия Санникова, Екатерина Симонова, Юлия Подлубнова), создали офигительную поэтическую книжную серию. Я вас уверяю, сделать серию такого уровня в российском регионе практически невозможно, но они сделали. Низкий поклон за помощь в этом проекте издательству «Кабинетный ученый» и его директору Фёдору Еремееву.

– В 2011 году вы были одним из тех, кто возродил закрытый после дефолта «Цирк “Олимп”» – уже с припиской «+TV». Почему вы решили вернуться к остановленному изданию? И чем для вас были эти 11 лет работы соредактором?

– Это решение возникло само собой весной 2011 года под конец нашего совместного (с Сергеем Лейбградом, Ириной Саморуковой и Ириной Тартаковской) ужина в японском ресторанчике на углу улиц Фрунзе и Ленинградской. Я думаю, что нами руководили чувство ностальгии по 90-м и одновременно желание самоаффекации, попытка мотивировать себя жить дальше, опираться на какой-то серьезный смысл или хотя бы его иллюзию, поскольку наступала самая настоящая «глухота паучья», и существовать, особенно в провинции, было совсем уж тошно. Я говорю, прежде всего, о своих ощущениях в то время. О «сейчас» нужен разговор особый. А потом, да, эти 11 лет. Я постепенно, не сразу стал понимать, насколько должна быть профессиональна работа редактора. Редактура статей, эссе, рецензий требует особой научной и литературно-критической экспертизы, но вообще все, что публикуется, стихи, проза, привлечение определенных авторов, выстраивание эстетической политики журнала, обозначение лейтмотивной проблематики (а она обновилась в 2010-е годы по сравнению с 90-ми), международные контакты, постоянные принятие решений – реально большой экспертный труд, систематическая (практически ежедневная) профессиональная работа. Когда я говорю «профессиональная», я не оцениваю свою работу и работу моих коллег, об этом пусть судят авторы и читатели, а отмечаю характер этой деятельности, требования к ней предъявляемые.

Редакторская работа – это возможность лучше узнать поле, следить за тем, что происходит в литературе. Это, безусловно, плюс, как и то, что ты понимаешь, что можешь реально участвовать – вот прямо из этого безнадёжного угла, из колониальной Самары – в определении литературных ценностей по гамбургскому счёту. Более того, что ты создаешь в провинции полноценные институты профессионального признания. Кажется совершенно фантастичным, но все-таки это произошло. Знаете, сколько очень известных поэтов хотело опубликоваться в нашей книжной серии! Конечно, когда ты редактор – ты на виду, ты заметен. В последние до [Роскомнадзор] годы едва ли не каждый амбициозный молодой поэт создавал свое литературное медиа, потому что это и механизм самораскрутки тоже. Однако должен предупредить, что как только ты перестаешь быть редактором или издателем, что-то резко происходит с твоей востребованностью. Это прямо драма поэта-редактора. Но вообще я бесконечно благодарен этим одиннадцати цирколимпийским годам и Сергею Лейбграду за выданный мне карт-бланш: ЦО+TV реально помог не задохнуться и более или менее осмысленно прожить все эти годы.

– А с чего берёт начало ваш интерес к документальной поэзии? Внутри себя мучаюсь вопросом: с американских опытов 1930-х годов, когда она производила фурор и провоцировала скандалы, или, скорее, с наших опытов, текстов, скажем, Станислава Львовского и Михаила Сухотина?

– К документальному письму как работе с документами я пришел самостоятельно примерно к 2013-му году, когда начал поэтически осмыслять тексты интервью, документы из семейного архива, публичные документы, пробовать поэтически-социологическое освоение биографических нарративов и писать так называемые «социологические верлибры», первые из которых были опубликованы в блоге известного социолога и правозащитника А.Н. Алексеева «Cogital.ru» в 2015 году. И уже в рамках теоретического и историко-литературного обоснования docupoetry (готовился к конференции, проводимой в Институте языкознания РАН профессором и поэтессой Наталией Азаровой) я вчитался в замечательные тексты Михаила Сухотина, Станислава Львовского, Кирилла Медведева и многих американских поэтов. Безусловно, я их знал и ранее, отмечая для себя их разную по форме работу с «чужими словами», но все это до поры до времени не складывалось в один документальный фрейм.

Другая ветвь docupoetry, а именно ситуативное документирование чужой речи – это то, что мне было всегда интересно, начиная с «Книги просьб, жалоб и предложений». Но тогда я не называл это документальным. В целом для меня осознанный приход к документализму, то есть к текстам, в которых создан фрейм документальности, стал продолжением, если угодно, ра-

дикализацией конкретистских поэтических логик, связанных с фиксацией фактической чужой речи. С другой стороны, продолжением эпистемических логик социальных наук, которыми я стал заниматься примерно с 2010 года. Этнографирование, с одной стороны, работа с документами в социологии, их качественный анализ, с другой – все эти вроде бы гетерогенные поэзии вещи для меня стали новым ориентиром для письма, взламывающим безнадежно устаревшие в постконвенциональном мире эссенциалистские, имманентные или метафизические трактовки искусства, и поэзии в частности. Работая с документами, поэт-документалист делает примерно то же самое, что и социолог или антрополог – он, прежде всего, интересуется другими людьми, их речью, их позицией, главное, выходит за пределы себя любимого, исследует, типологизирует, интерпретирует социальную действительность с точки зрения человеческого опыта, – это если мы имеем дело именно с человеческими документами. Понятно, что в поэтическом тексте в отличие от научной статьи такое исследование приобретает особую эмоциональную контекстуализацию.

– Как вы для себя решаете спорные моменты, связанные с docupoetry – и этический вопрос, связанный с вторжением в жизнь информанта, апроприацией чужого опыта, и некоторую схожесть этой работы с журналистикой?

– Здесь такая же ситуация, как при работе с документами в социальных науках. Если поэт берет интервью, устное или письменное, то он, конечно, должен получить согласие на его поэтическое использование, оговорить анонимизацию. Правда, иногда называние имен может входить в авторский замысел, как у Лиды Юсуповой. Получить согласие поэт должен также и в том случае, если хочет поэтически использовать под своим именем личную/приватную переписку. Если поэт имеет дело с документами, которые уже находятся в публичной сфере, например, открытые блоги или комментарии в Сети, то согласие не нужно. Или если это исторические документы, свидетельствующие о людях, которых уже давно нет в живых. Или если ты имеешь дело с собственным семейным архивом – это тоже отдельная история, здесь работают внутрисемейные конвенции. Когда ты имеешь дело с человеческими или официальными документами других людей, то, как правило, нужна анонимизация, и нужно в некоторых случаях транспонирования документов, извлечения их из локальных контекстов и переноса на большие литературные просторы, смотреть, чтобы такой перенос не навредил живому конкретному человеку. Особенно это важно, когда имеешь дело со свидетельствами, касающимися сенситивных тем – травмы, насилия, болезни, уязвимости. Здесь нужно сделать так, чтобы человек не был узнан по твоим документальным текстам, если только человек сам по каким-либо причинам ни захочет быть узнанным.

Этические вопросы в поэтической документалистике – это то, что ей присуще по определению. Точно такие же проблемы постоянно обсуждаются и в документальном театре актерами и режиссерами, создающими вербатимные постановки. Характерно, что сегодня этические вопросы ситуативного документирования речи своего визави становятся, как в стихах Марии Малиновской, предметом самого документального стихотворения, реализующего таким образом метадokumentальную рефлексию. Такую же рефлексию, даже с избытком, мы видим в недавно изданном прекрасном романе Анастасии Вепревой и Романа Осминкина «Коммуналка на Петроградке». Там много – про «эмансипированные эпистемологии» и этическую позицию писателя-документалиста.

Передо мной тоже вставали этические вопросы документирования. Для себя я их решил. Например, если я документирую речь условного «врага», я спрашивать у него разрешения не буду, тут поэзия – инструмент полемики. Если я документирую речь друга, близкого человека, то разрешаю это себе ровно до того момента, пока это не вызовет его протест. В одном моем старом стихотворении (вошло в книгу «Своим ходом: после очевидцев») такой протест говорящего, которого документируют вместо того, чтобы поддерживать беседу, запечатлен: *«здесь очень важно это "со" / в слове собеседник / а ты только сачки расставляешь»*. Кроме того, если я использую

метод этнографирования устного дискурса конференций (мне он давно очень нравится), то с недавних пор стал ссылаться под стихотворением и на конференцию, и, если нужно, на докладчика, как это принято в научных публикациях.

Есть еще одна тема, о которой нельзя не сказать. Это публичное поведение поэта-документалиста, особенно работающего с нарративами травмы других людей и реализующего тем самым этическую миссию документальной поэзии. Сейчас таких авторов с каждым днем становится все больше. Мне кажется, тут вступают в силу особые этические требования к поэту, по крайней мере, я их озвучиваю для самого себя. Не заботиться о личном капитале, зарабатываемом именно на такой поэзии, например, не просить рецензии и тому подобное. На любой другой поэзии – пожалуйста, но не на этой, поскольку дело тут не в поэте, а в тех, чьим рупором он является. Прекрасно, когда такой капитал складывается сам собой, когда для автора это результат чьей-то сторонней оценки, как очень удачно произошло с «Кайманией». Конечно, публично просить рецензии на свои книги – дело привычное для нашего литературного брата, все это хорошо укладывается в законы экономики внимания, и грешат этим почти все авторы, как с громкими именами, так и не очень, но именно для поэтов-документалистов-трансляторов чужой беды лучше этого не делать. Это тонкий, но этически важный момент – именно здесь располагается основная мишень для тех, кто не принимает досюреэту в принципе, не принимает как стратегию. Такие критики не правы по существу, но в чем-то, я думаю, нужно прислушаться и к ним.

Про «апроприацию» я скажу отдельно. На самом деле апроприация – суть писательского труда. Обычный писатель все, что видит вокруг себя, все, что слышит, чужие истории или истории семьи, вставляет в свою прозу. Трансформирует ее в лучшем случае и использует. Только его анонимные «соавторы» при этом так и остаются безвестными. Как правило, о них не упоминается. А вот в документальной поэзии как раз подчеркивается, что такой-то материал имеет такое-то происхождение, что это чужое высказывание. Часто в тексте или под ним указывается, откуда взяты документы или цитаты из них. Поэтому, даже если документы привлекаются ради какой-то тенденции, то, как говорит американский поэт-документалист Марк Новак, происходит демонополизация авторского голоса. В этом смысле документальная литература гораздо этичнее, чем та, которая делает то же самое, но без всяких ссылок и обозначений, для которой это просто внутренняя кухня.

– С особым теплом и вниманием вы относитесь к документальной поэзии Марии Малиновской – в «Цирке “Олимп”+TV» выходила одна из частей её «Каймании», вы дважды номинировали Марию на Премию Аркадия Драгомощенко; одноимённая книга Малиновской вышла в прижурнальной серии. Насколько важна для современной документалистики «Каймания»? И вообще: что происходит в молодой документальной поэзии сегодня (к развитию которой вы, несомненно, приложили руку¹), какой опыт ей нужен и не предвидится ли её исчерпанность?

– «Каймания» – уникальный жизненный и поэтический проект Марии Малиновской. Такого документализма по материалу и радикальности ни в русской поэзии, ни, насколько я могу судить, в англоязычной, нет. Неслучайно фрагменты «Каймании» уже переведены на несколько иностранных языков и опубликованы за рубежом. «Каймания» имеет большой этический смысл, но и исследовательский тоже, ее можно использовать как материал по медицинской антропологии, дающий нам непосредственное представление о расколатом сознании, о людях, страдающих от особенностей своей психики и от стигмы. Эта книга, безусловно, будет вызывать споры, некоторых читателей она шокирует, но без нее современная русская документальная поэзия уже непредставима. Я рад, что Маша по мере спонтанной реализации своего проекта приняла идею

¹ Имеются в виду и лекции Виталия Лехциера о документальной поэзии, прочитанные в разных городах, и организация, а затем публикация переводов текстов англоязычных практиков и теоретиков документальной поэзии, их научное редактирование, и фундаментальная статья в НЛО о Марке Новаке, но и вообще о принципах докупэтри и др.

docupoetry, прониклась ею и дальше продолжила ее осознанно применять, в том числе, рефлексировав над самим типом документального письма. Кроме того, «Каймания» является примером жанра long poem, собственного американской поэтической традиции, но для нашего контекста более чем редкого. В общем, я рад, что некоторым образом причастен к появлению этой книги на свет и ее легитимации в нашем профессиональном литературном поле. Я также признателен Маше за согласие стать соредактором ЦО+TV, которым она была с 2021 года до момента вынужденного закрытия журнала весной 2022 года.

Что касается молодой документальной поэзии, я могу только сказать, что обращение к документу стало буквально трендом в последние годы. В каждом номере ЦО+TV я печатал что-то подобное. Есть практики обращения к документам, репрезентирующим сферы опыта, с которыми люди соприкасаются редко (например, различные эксклюзивные медицинские темы). Но есть и практики работы с документами, публично доступными, отражающими текущие дела в политике. Здесь docupoetry конкурирует с медиасредой, насыщенной документальными свидетельствами. Мне не всегда хватает в подобных поэтических композициях исследовательского начала и оригинальных концептуализаций. Есть интересный прием ситуативного документирования речи оппонента (в основном взятой из сетей). Здесь docupoetry – и инструмент политической полемики, и исследование консервативного сознания. Но в целом, я думаю, что пока рано делать большие обобщения. Наверное, какое-то чувство истощенности приема наступить может, но тут дело за индивидуальными логиками обращения к документу, они могут быть самыми разными. Кроме того, размах второго крыла docupoetry, а именно самостоятельное этнографирование, документирование, может быть поистине безграничен.

– Ваша поэзия от книги к книге достаточно сильно отличается – если в сборнике «Побочные действия» (2009) мы видим совершенно оригинальный, но регулярный стих, то в сборнике «Своим ходом: после очевидцев» (2018) перед нами новая поэзия, отточенная, социально напряжённая, с многочисленными акцентами, ведущими в разные сферы опыта. С какой целью вы решились на этот переход и насколько просто/сложно он вам дался?

– В «Побочных действиях» есть верлибрический и разговорный цикл «Новые просьбы и старые страхи», восходящий к «Книге просьб, жалоб и предложений», но вы правы, он здесь по остаточному принципу. И в книге «Фарфоровая свадьба в Праге» (2013) ничего нового по отношению к самому себе я не сделал: трехстишия, травелог и т.п. Вообще это самая неудачная моя книга. А вот последующие годы были временем очень существенной переработки собственных поэтических привычек, абсолютного расставания с регулярным стихом, открытия документального измерения поэтической речи, эстетической продуктивности идеи транспонирования, которую я почерпнул у гениального социолога Ирвинга Гофмана, лекции о котором читаю. И это еще время работы над главной для меня научной монографией, которая вышла в Вильнюсе, в Европейском гуманитарном университете «Болезнь: опыт, нарратив, надежда. Очерки социальных и гуманитарных исследований медицины» (2018). Все, таким образом, сошлось. Я реально чувствовал, что делаю нечто новое. И ощутил полную свободу поэтического высказывания. Ставил эксперимент за экспериментом: несколько поэм с привлечением документов разного типа (реализация и тематизация семейной памяти, мемориальной культуры), транспонирование научного дискурса (в основном медико-антропологического, но не только), искусствоведческое расследование, концептуалистский текст «Поведение рептилий», сшитый из названий научных статей, этнографирование путешествий и конференций и т.д. Кроме того, за эти годы дважды случилась любимая и мной, и женой Италия: Рим и Сицилия. Ожидаемо ошеломительные и очень познавательные поездки, давшие много бесценного эмпирического материала, особенно Сицилия, где мы были вместе с друзьями и облазили там все в поисках древностей, в том числе весьма далеких от туристических маршрутов. Итальянские мотивы в книге нашли разнообразное отражение.

– В статье Дениса Ларионова, предваряющей тексты из сборника «Своим ходом...», мне кажутся очень важными мысли о вашем неангажированном исследовании, нахождении в стороне от героя; создании (через его речь и ваши слова) базисной ситуации, которую можно анализировать в разных направлениях – от поэтических до социологических. Каковы самые важные принципы подобной работы для вас? Что для вас в поэзии приемлемо, а что нет?

– Денис обычно пишет очень точные и глубокие предисловия к авторским сборникам или рецензии на них. Например, предисловие к книге выдающегося поэта Дмитрия Голынка «Приметы времени», издать которую в 2017 году, в книжной серии «Цирка “Олимп”+TV», мне выпала честь. Невероятно печально: она стала последней книгой Дмитрия. Уверен, что поэзию Голынка ждет большое будущее.

Предисловие Дениса к моей книге – не исключение, в том смысле, что там тоже все точно, за что я ему благодарен, как и Нине Савченковой, написавшей послесловие как бы со стороны философии. Да, неангажированность в вопросах обращения к чужой речи и ситуация/ситуативность – это два важных связанных между собой понятия и одновременно принципа моей поэтики. Ангажированная позиция заключается в том, что заранее размечается некая онтологически и ценностно привилегированная территория, с которой поэт ведет речь сам или подключается к совершенно определенной чужой речи. Такое подключение выполняет медиумическую функцию: поэт хочет быть голосом не иначе как «бытия», или, например, классовых или гендерных интересов. Первое смешно: мы уже наслушались глашатаев «бытия» в XX веке, обычно многословная установка на «бытие» заканчивается миллионами жертв. А вот второе – нужный политический и поэтический ход, но у меня все же ход другой: постметафизический, то есть этический. Следуя за конкретистской некрасовской максимой «ловли себя на поэзии», я полагаю, что абсолютно любая жизненно-речевая ситуация может быть источником интерречевой, коммуникативной или документальной структуры стиха, и абсолютно любой другой достоин оправдания, того, чтобы быть услышанным, а значит, признанным. Именно так устроена алеаторическая ситуативная субъективность, рождающаяся в поэзии каждый раз заново на основе игры, случайности и необходимости.

– Александр Житенёв называет важнейшей интуицией вашей теоретической книги «Поэзия и её иное: философские и литературно-критические тексты» – «понимание, что эстетическое “бесконечно закрывает мир вместо того, чтобы его открывать”». Могли бы вы пояснить эту мысль – и попутно: как эстетическое может (и почему должно?) открывать мир?

– Прежде всего, я хочу поблагодарить Александра Житенева за его публикации рецензий и эссе в ЦО+TV, я всем рекомендую их читать, как и книги Александра – он один из лучших специалистов в современной русской поэзии. Кроме того, я рад, что он согласился на предложение нашей редакции и в 2020 году вошел в редколлегию нашей книжной серии (как, кстати, и Денис Ларионов).

Что касается эстетического как закрытия мира... Об этом у меня есть статья «Корзина искусства: необходимость и прием...» Основной тезис можно понять, только приняв мысль об историчности эстетического опыта, как и любого другого, мысль о том, что, как писал Ортега-и-Гассет, «художник никогда не остается с миром наедине». Суть в том, что искусство периодически сталкивается с собственной избыточностью и поэтому вынуждено ограничивать себя, как бы отправлять в корзину – ради того, чтобы восстановить способность слышать голос реальности. Наступает момент, когда художник всматривается в реальность, но натывается только на «художественные образы», их бесконечное и все время увеличивающееся количество. Это драма, но одновременно и двигатель искусства, поэтому один «изм» в историческом развитии искусства обязательно сменяет другой. Потому что предыдущий, как полагают новые художники, превращается в жаргон, канон, некий коллективный идиостиль, который уже ничего не выражает – ни

объекта, ни субъекта, ни реальность, ни субъективный опыт, а только бесконечно воспроизводит сам себя. То есть закрывает мир, заведомо набросив на него балдахин из конвенциональных эстетических и онтологических категорий и поэтик. Например, открытие речевого измерения поэзии русскими конкретистами было полемично по отношению к акмеистическому/советскому канону, который стал закрывать мир. Срывая этот балдахин конвенций, поэт/художник получает шанс прорваться к первичному опыту мира («от слов к самим вещам», как говорил Эдмунд Гуссерль). Гарантий тут ни у кого никаких нет, но мирооткрывающая функция искусства/эстетического начинается в этот момент работать.

– А вот Алла Горбунова, критикуя некоторые положения книги, замечает, что её нужно читать/изучать в первую очередь желающим «понять современную поэзию и испытывающих с этим трудности, потому что они мыслят в рамках “старой парадигмы”». Это очень интересно вынести отдельно от книги – в каком именно ключе, на ваш взгляд, нужно сейчас понимать поэзию? Я понимаю, что ответом на этот вопрос служит вся книга, но мне хочется увидеть некое резюме в нашем интервью, причем проговорённое вами, а не критиками.

– Я думаю, Алла имела в виду формулируемые мной принципы «постметафизического мышления» в поэзии, первенства этики над онтологией, социальности нового типа, исследовательского начала и т.п. Но ответить на вопрос, в каком ключе следует сейчас понимать поэзию, очень сложно, потому что он предполагает недопустимую генерализацию. Моим ответом на него служит скорее публикационная политика «Цирка “Олимп”+TV» в рубрике «Поэзия». Но я бы все-таки добавил пару слов. Мы живем в эпоху дивергентной поэтической рациональности, эстетической плюральности, и здесь каждый выбирает стратегию для себя. Мне интересна та поэзия, в которой есть антипоэзия, есть вопрос о ней самой, интересны те стихи, которые с ходу даже не идентифицируются однозначно как стихи. Вот это сразу-узнавание-текста-в-качестве-поэтического-и-только поэтического – вот это как раз тот самый балдахин, добровольная и напрасная дань прожорливым историческим конвенциям и общественному вкусу, выдающим себя за «сущность» искусства. Дело вообще не в том, чтобы писать очередные хорошие стихи. В этом нет никакой проблемы. Хороших стихов – море, и поэтов хороших немерено. Задача заключается в том, чтобы нарушать властные поэтические инерции, экспериментировать, навязывать поэзии гетерогенные логики, продумывать их, извлекать ее из имманентной литературной традиции и включать в широкие, «посторонние» интеллектуальные и социальные контексты. Чем дальше от привычного, родового, сладкозвучного и т.п., тем лучше, потому что тем интереснее и содержательнее, особенно если ставить при этом серьезные эпистемические задачи. Тем проблема поэзии внутри самой поэзии или на ее границах (например, с нон-фикшн) ставится радикальнее. Разумеется, часто в таком деле может помочь «назначающий жест», о котором писал Дмитрий Пригов.

– Ваша новая книга «Гейдельбергский человек», которую я видел в рукописи (стихи 2018–2021 годов), стилистически продолжает предыдущую – и выглядит убедительно на весах баланса своей (в первую очередь) и пойманной речи. Но не только. В ней широкий спектр тем, недостаточно исследованных в русскоязычной поэзии. Речь и об этнографическом письме, и отсылках к антропологии; уникальными кажутся и поэтические интерпретации научных исследований... Как у вас происходит такая работа научная и поэтическая: параллельно или что-то превалирует? Был бы рад примерам.

– Да, там, с одной стороны продолжают предыдущие мои линии, связанные с разного рода этнографированием, работой с семейным архивом, экфрасисами и политическими стихами. И совершенно верно, что многое в книге переплетено с антропологией, начиная с названия (гейдельбергский человек – отдельный вид в эволюции человека, предок неандертальцев) и заканчивая

циклами, в которых поэтически осваиваются новые научные открытия (например, цикл «Исследования»). Что касается науки и литературы, то я занимаюсь и тем, и этим, но влияние, по крайней мере, на уровне дискурса или проблематики происходит у меня со стороны науки на поэзию.

В книге есть стихи, рефлексирющие пандемию, и внезапно возникший новый для меня с точки зрения поэтики раздел «Агенты теоретического конфликта», почти визионерский, использующий сильное метафорирование. Это, наверное, какое-то мое позиционное отступление. И, конечно, есть стихи, написанные в 2022 году.

– Сохранение семейной памяти – одна из важных тем в вашей поэзии. Реконструировать прошлое в лицах и событиях – скорее поэтическая или личная задача?

– И та, и другая. История моего деда Семена Борисовича Готлиба, литовского еврея, приехавшего в Россию строить социализм, героя гражданской войны, «пламенного революционера», троцкиста, сосланного в 1937 в ссылку в туркменский город Ташауз (где через поколение родился я), а затем, в 1947 году отправленного в Карлаг, а также история его родных братьев Гирша и Мирона, которые выбрали совсем другой путь, уехали в Америку строить капитализм, мне бесконечно интересны. Полярные судьбы. Я ездил в Литву, пытаюсь найти следы Готлибов в городке Алитус, но нашел только большое кладбище в лесу, где похоронены евреи, расстрелянные фашистами. Среди них, я знаю, есть и Готлибы. Читая документы семейного архива, начинаешь чувствовать трагический XX век совсем иначе, он перестает быть отчужденной темой учебников и монографий, становится осязаемым, почти личным. Конечно, сейчас я бы очень о многом поговорил с дедом. Мне нравится проводить своего рода историческое исследование, чтобы восстановить или уточнить все детали из архива, брать интервью у родственников, связываться с региональными тарутинскими краеведами (так было при работе над документальной поэмой «Йончик»). Это захватывает. Но мы знаем, например, по книгам Алейды Ассман, что подобные практики семейной памяти – черта нашего времени.

– Что побудило вас обратиться к социальным и гуманитарным исследованиям медицины (речь о книге «Болезнь: опыт, нарратив, надежда»¹)? Мне видится тут общая человеческая хрупкость и боль, которую мы испытываем и в медицинском, и в художественном смысле (ведь и поэзия – работа с болью).

– Я думаю, собственный, увы, немалый опыт хронических болезней. Я часто лежал в больницах. Но это было потом. А сначала, со школы, я хотел быть врачом. В последнем классе школы и год после него (когда не добрал один балл на лечебный факультет самарского меда, а на другой факультет я не пошел) работал санитаром, в больничной аптеке и в отделении госпитальной хирургии, причем работал в операционной. О том, что я там видел и слышал, могу рассказывать бесконечно – и о врачах, и о пациентах. Но в тот же период я увлекся литературой и уже на следующий год поступил на филфак. А через много лет медицина стала для меня предметом изучения в другом смысле – со стороны социальных и гуманитарных наук. Я занимаюсь этим больше 10 лет, вхожу в совет Ассоциации медицинских антропологов России (ИЭА РАН). Сказать абсолютно честно, я очень устал от этой тематики, она реально морально трудна. И вижу свою задачу сейчас в передаче эстафеты: в этом году по социологии медицины защитилась одна моя аспирантка и ближе к концу года, надеюсь, защитится другая.

– Философ Александра Володина в рецензии на вашу книгу «Болезнь: опыт, нарратив, наде-

¹ Учтём и это издание: Лехциер В.Л., Готлиб А.С., Финкельштейн И.Е., Шекунова Ю.О. Между выбором и заботой: очерки социально-гуманитарных исследований пациентского и врачебного опыта / Под ред. В.Л. Лехциера. – Самара: ООО «Слово», 2022. – 380 с.

жда...» (вышедшую, кстати, в Литве) отмечает, что в ней исследуется в том числе момент, «где кончается “я” и начинается “болезнь”», который напоминает мне о вопросе Милана Кундеры: какая доля искажения человека (например, в художественном произведении), что позволяет ему оставаться узнаваемым? Насколько – если заглянуть внутрь исследований – болезнь отнимает у нас «я» и как его можно вернуть?

– Это важная тема гуманитарных исследований медицины. Если говорить коротко, то, как правило, мы переживаем болезнь посредством трех основных нарративов: «restitution narrative» («нарратив восстановления»), «chaos narrative» («хаотический нарратив») и «quest narrative» («поисковый нарратив»). Я излагаю сейчас ведущую теорию по этому вопросу, принадлежащую канадскому социологу, этику и онкопациенту Артуру Франку (A. Frank), человеку легендарному и одному из ключевых авторов современной медицинской гуманитаристики. Так вот в первом нарративе «я» не затронуто, болезнь воспринимается как временная и устранимая поломка. Это наиболее медиализированный и объективированный нарратив, касающийся в основном острых и несложных заболеваний. Второй нарратив – это как бы сам «раненый рассказчик», антинарратив, чистый голос страдания, раздающийся здесь-и-сейчас, но специалист может и обязан, чтобы помочь, расслышать историю человека и в нем, хотя это чрезвычайно сложно. А вот в третьем случае «я» затронуто сильно – причем так, что все привычные самоидентификации больше не релевантны. Человеку нужно заново себя собирать, переосмыслить, выстраивать идентичность, новые сценарии будущего и интегрировать – на уровне самопонимания – болезнь в свою жизнь. Это случаи серьезных хронических болезней, которые не могут быть излечимы. Человек в лучшем случае достигает ремиссии и становится жителем «общества ремиссии» (термин А. Франка). «Я» возвращается, но модифицированным. Человек учится жить иначе и даже извлекать благо из случившегося с ним. Поисковый нарратив – это нарратив о благе, которое может принести хроническая болезнь и для самого пациента, и посредством него для других людей.

– В Самаре сложилась своя поэтическая школа – с достаточно яркими именами: от Александра Уланова, если говорить о старшем поколении, до ярко вошедшей в литературу Кати Сим. Наверняка вы, постоянно взаимодействуя с самарскими авторами, смогли бы вкратце обрисовать её особенности, основные черты, которые отличают её от прочих поэтических школ.

– Я не очень люблю слово «школа» – ни по отношению к науке, ни по отношению к литературе. Мне кажется, что от «школ» в нашем веке ничего не осталось, все авторы движутся своими путями, но собираясь, если получится, в сообщества ради профессиональной работы – семинаров, фестивалей, изданий. В Самаре очень много глухого и провинциального, вызванного давней местной изоляционистской и крайне вредной мифологией, являющейся обратной стороной колониального устройства российской жизни. Но мне кажется, что сейчас для большинства молодых авторов, чьи тексты вошли в антологию самарской актуальной поэзии «Движение на грани стекла», составителем которой был я («Цирк “Олимп”+TV», 2020), это уже не так. У Кати Сим в 2021 году в «АРГО-РИСКЕ» вышла первая книжка стихов, некоторые авторы (Катя Сим, Алексей Ларин, Татьяна Губанова) вошли в лонг-лист ныне закрытой Премии Аркадия Драгомощенко, готовится к выходу большая книга стихов Семена Безгинова, Саша Шалашова реализуется в профессиональном литературном поле и как поэт, и как прозаик. В принципе эти авторы понимают, что есть что и кто есть кто в современной поэзии в ее глобальном измерении, а другого измерения у нее нет. Их профессионализация происходит.

Я, конечно, не могу не отметить влияние на некоторых самарских авторов поэтики Александра Уланова. Но она, слава богу, уже разбавлена у них социальными темами. Главное сейчас, когда из-за [Роскомнадзор] России в Украине абсолютно все изменилось, чтобы для ребят Са-

мара не стала могилой их таланта, потому что этот потенциал у нашего города – быть огромным волжским могиликом, городом без шансов, чушкой из известной блоковской фразы – очень большой. Мы это видим, в том числе по абсолютной деградации всех институций в Самаре, имеющих отношение к литературе. Нынешним молодым, кроме наступившего конца эпохи свободного высказывания, не повезло еще и в том отношении, что в городе нет филфака, способного хоть что-то инициировать и поддерживать в сфере актуальной литературы, в особенности в поэзии – в этом отношении вообще все абсолютно мертво. В отличие, например, от филфаков Нижнего Новгорода или городов Урала. Чтобы у самарских поэтов были шансы, нужно как минимум систематически, ежедневно отделять себя от «поэтической» попсы, государственно-консервативного сегмента литературы, и продолжать профессионализироваться, работать над собой, используя глобальные сети.

– В переписке вы не раз упоминали, что выехали за реку – на остров. У вас там дача? Наверное, удивительной красоты места, где можно скрыться от городского шума...

– Да, это очень красивые места! Я рад, что у внуки теперь есть свое место, где с поздней весны, когда уровень воды в Волге спадает, и до поздней осени можно погулять по лесу, покататься на семейной лодке по озеру, посмотреть, как вспархивают от испуга цапли, погоняться по озерной глади за бобром, научиться отличать парящих орлов от коршунов, покормить семейство уток, подплывающих к твоей веранде к завтраку... Но для меня цапли там тоже политические, они сторонники озёрной демократии. Если без шуток, то Заволжье действительно имеет политический смысл. Город – территория, неизбежно находящаяся под контролем вертикали, а летом Волга «оккупирована» государственными праздничными фестивалями, поддерживающими чувство, что хорошо в стране такой-то жить. А Заволжье по-прежнему свободно. Это оппозиция Волге коллаборационистской, городской. Я за Волгой проводил поэтические Озёрные чтения, которые снова в нашей истории уже можно называть неподцензурными.

Александр МАРКОВ

СУБЪЕКТЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ У СЕБЯ В ГОРОДЕ

Ольга Седакова. О русской словесности. От Александра Пушкина до Юза Алешковского. – М.: Время, 2023. – 604 с.

Собрание филологических работ О.А. Седаковой – огромный отчет о случившемся. Свойство сбываться вопреки обстоятельствам, вероятно, главное у всех этих исследований. Этим Седакова, при всей близости и ее исследовательских позиций, и интонаций образцовому литературоведению, отличается от привычного образа литературоведа: человека, который последовательно излагает и отстаивает ряд решений, найденных в изучаемом предмете, – условно, «концепцию русского романтизма» или «чеховскую линию в сюжетосложении позднейшей русской прозы». Такой литературовед честен и значителен, но случившееся в его работах всегда – равнодействующая, результат сложного взаимодействия с традициями критики и философских размышлений, с новыми формами существования литературного порыва в лекциях и на семинарах, с навыками столкновения, которые есть у студентов и читателей. У Седаковой никогда нет равнодействующей, есть только вектор.

В науке равнодействия что-то всегда остается несбывшимся. Либо такое желанное за горизонтом аргумента – еще более амбициозная концепция, например, истории метафор русской поэзии (опять же, условный пример), которую невозможно создать силами одного человека. Либо какое-то очень прямое слово, обращенное к писателям и читателям, которое трудно назвать, но нельзя не заявить о его будущей необходимости или намекнуть на то, что так говорить в строгой науке пока не принято. Работы Седаковой, вошедшие в этот том, создавались в разное время и иногда по случайным обстоятельствам – статья о *сложном конфликте* в «Медном всаднике» восходит к первой университетской курсовой, а статьи о

поэтах-современниках – это продолжение систематизации «второй культуры» сначала в машинописной антологии, которая должна была познакомить в том числе и ведущих филологов, как Лотман и Гаспаров, с происходящим в стихе здесь и сейчас. Но именно это свойство – сбываться вопреки всему – в этих работах сильнее всех отдельных свойств аргумента и изложения.

Опыт Самиздата, как пишет сама Седакова в эссе «О погибшем литературном поколении. Памяти Лени Губанова», не располагает к большому стилю жизни, к той самой событийности: ты обращаешься к кругу «своих», который чем дальше, тем ненадежнее: кто-то выбывает из игры, кто-то оказывается человеком других ценностей или ждет от поэзии чего-то другого. Вынужденное одиночество непубликуемого автора может позволить сбываться отдельным стихам и циклам, но не дает быть чему-то другому – как когда, например, говорят, что поэт вошёл в университетскую аудиторию, и в ней стало светлее. Чтения поэтов-шестидесятников, сохраненные для нас Марленом Хуциевым – это другое, это дозволенный институт самоорганизации, который тоже имеет свои исторические *границы*.

Этой ситуации забывания о том, кто может быть рядом с поэтом, кто собеседники и чей отклик неизбежно должен быть первым, и противостоят несколько десятков текстов случившихся и включенных в эту книгу. Чтобы сбываться, нужно было адресовать тексты не только эмпирическому автору, но и его героической ипостаси: тексты о Венедикте Ерофееве обращены и к человеку Венедикту Ерофееву, и к персонажу Веничке. Но и тексты, которые писались для Лотмана или Гаспарова, имеют в виду не просто «крупнейших специалистов по...», которые могут справедливо оценить качество работы, и даже не лидеров научных школ. Лотман-читатель – это уже не просто автор книг и курсов, это и фронтовик, и лирик, носитель и властитель лирического мироощущения, и человек смелый и способный увидеть смелость и милость в поэтических строках; и к этой ипостаси Лотмана Седакова тоже обраща-

ется, как обращается к Веничке, когда пишет о Венедикте Ерофееве и мысленно одновременно для Венедикта Ерофеева.

Некоторые из работ книги были написаны по заказам или по советам европейских славистов старшего поколения, как Витторио Страда и Жорж Нива. Некоторые были докладами на международных конференциях и фестивалях, или частью курсов, прочитанных в американских и европейских университетах. Но есть общее во всех работах: это никогда не выполнение просто задачи, например, «показать формальные новации Леонида Аронсона и связать их с особенностями его мировоззрения» или «раскрыть поэтику малых рассказов Солженицына». Нет, это совсем другое – когда задача уже решена, еще не раз вернуться и показать сами механизмы, которые позволили поставить такую задачу.

Например, если мы говорим о новациях Аронсона, то прежде всего видим рождение определенного субъекта, способного переживать кульминацию жизни; и дальше этот субъект действует, определяя субъектность и отдельных образов, и читательских реакций, выстраивается своего рода *город субъектов*. Или Солженицын соединяет случайность и необходимость особым образом, исходя из того, что значит *пожить* жизнь и *прожить* жизнь, и дальнейшие более сложные формы – это способ уже явить героев для того начального переживания, которое есть уже в ранних и малых вещах. Можно было бы назвать эту книгу, как назвал свою А. Зорин, «Появление героя», но только таких героев много, они разные по природе, и их появление – это уже не просто новая эмоциональная жизнь человека внутри культуры, а целый город или форум, где многие люди осознают себя в культуре и традиции.

Началом такого исследования субъективаций для Седаковой стала гипотеза структуриализма об инварианте – Седакова училась в Университете у В.Е. Хализева, М.В. Панова, Н.И. Толстого, но окончательно эта гипотеза была проверена в докладах на домашнем семинаре А.К. Жолковского. Конечно, в филологическом и вообще гуманитарном знании гипотез в строгом смысле нет, потому что мы никогда не знаем, сколько экспериментов надо поставить, чтобы ее проверить; но в данном

случае мы отдаем долг структуриализму и кибернетическим моделям, где есть гипотезы, по крайней мере, о природе информации. Инвариант – начальная порождающая структура, генератор моделей, а не просто смыслов, и для Седаковой инвариант тесно связан с вопросом о личности.

Так, в статье «Шкатулка с зеркалом. Об одном глубинном мотиве А.А. Ахматовой», первоначально представленной на семинаре Жолковского и опубликованной в тартуских «Трудах по знаковым системам», раскрывается глубинный мотив внутриположности вещей в мире Ахматовой: воспоминание внутри как камень в колоде, всё вмещается во что-то, и тайна этого мира – тайна шкатулки. Этот принцип был прочитан и как этикетный: при каких условиях читатель допускается в этот мир, и когда он должен сам стать как «закопанный клад». Строгий структуриализм позволил описать имплицитного читателя и этику поэзии катастрофической эпохи точнее, чем многие теоретические работы, которые создавались в других странах для своего читателя.

Хотя структуриализм иногда упрекали в статичности, в рассмотрении устойчивых структур, так что даже в историческом процессе приходится всё делить на устойчивое и спонтанное, у Седаковой этот инвариант определил динамику развития литературы. Так, в статье «Другая поэзия», реконструирующей усредненный канон официальной советской поэзии, называя сначала отдельные свойства этой поэзии, такие как тематичность, популизм, случайность инкультурации, превращение общих мест из материала риторической разработки в общие моральные выводы – Седакова говорит об отсутствии в ней магического кристалла инварианта, который и позволяет создать новую выразительность, которая только и нужна в истории литературы: может быть, сейчас нужно проходить этот путь выразительности, а через десять лет – совсем другой. Тем самым инвариант, преобразующий мысли и впечатления в сложные маршруты выразительности, оказывается не кибернетической моделью, но скорее этической реальностью, которую можно было бы назвать, по Ницше, «пафос дистанции», если бы этот оборот не требовал дополнительных пояснений.

Значимость структурализма Седакова отмечала не только в вошедших в эту книгу работах, например, в статье «Пауль Целан: заметки переводчика»¹ она отметила, что статья М.И. Лекомцевой о грамматических формах в «Псалме» Целана стала для нее ключом к этому новому, необыденному субъекту, который создается в поэзии Целана и Мандельштама; к этой новости самой новизны, которая стоит выше привычных инертных грамматических и риторических подразделений. Сейчас о Целане узнают больше из работ постструктуралистов: «Шибболет» Деррида, «Поэзия как опыт» Лаку-Лабарта, «Когда стих становится евреем» Даниэль Коэн-Левинас – я разбираю со студентами эти исследования. Но есть обстоятельства, почему я всякий раз говорю о работах Седаковой о русской литературе даже студентам, не изучающим русскую литературу.

Учение об инварианте создало огромное здание, или, можно сказать, город русской литературы, устроенный совсем иначе, чем в учебниках и историях. Первый раздел книги посвящен Пушкину, и Пушкин как раз – это магический кристалл и пафос дистанции всей русской литературы. Пушкин, согласно Седаковой, превозносит особый ум, напоминающий о французском *остроумии*, но поднявшийся над скепсисом французской мысли, точнее, сделавший этот скепсис частью, областью себя, а не целым; элементом структуры, но не структурой.

Здесь сразу становится понятно частое отталкивание Седаковой от постструктурализма, как бы недолговечного, – потому что он как будто сразу переходит от остроумия к выводам, минуя этот *аскетический подъем над собой*, это обобщение, которое постструктуралисту покажется незаконным. Конечно, в других традициях постструктурализм, напротив, помогает объединить умы, но для Седаковой пушкинский ум – утраченный шанс на единство русской литературы. Ум Пушкина предупреждает и от наивных, и от сентиментальных глупостей, и от плоского восторга, и от мнимого философского знаточества. Уже в статье о «Медном всаднике» показано, как Пушкин поднимается благодаря этому уму над различ-

ными конфликтами, даже близкими ему, как конфликт царя и поэта, – и создает настоящий умный конфликт Божьей стихии и темной стихии посредственности, по отношению к которому и должны самоопределиться царь, летописец, поэт, читатель.

Такую умную дистанцию Седакова находит во всех сочинениях Пушкина: например, в «Золотом петушке» конфликт стремительного блеска Петушка и как бы здравого смысла Додона и его окружения делает частными целый ряд других конфликтов: не только поэта-звездочета и государя, но и природы и искусства, механической похоти и органической страсти, изобретательности и тирании готовых решений – все эти конфликты оказываются лишь выразительными продолжениями этого начального конфликта. В коварной сказке Пушкин смеется и над представлениями о силе вождения у французских либертинов, и над философическими планами преобразования страны – всё это для него недостаточно умные и недостаточно счастливые идеи. Это инвариант пушкинского Ума есть одновременно освобождение от своей привычной личности – как говорить умно, не умничая; как доверять уму, который умеет когда нужно не доверять, но еще лучше умеет миловать вещи, радовать их, не подчинять их каким-то узким принципам.

Пушкинский инвариант, в версии Седаковой, в целом был отвергнут русской литературой. Так, в статье «Наследие Николая Некрасова в русской поэзии», написанной для многотомной французской «Истории русской литературы», реконструируется, в чем состояла революция Некрасова – не столько в народничестве, сколько в новой секуляризации, второй после Жуковского. Если у Жуковского славянские библеизмы и аскетико-мистические выражения стали служить целям новой чувственности, то у Некрасова – целям общественного призыва. Это оказались слова первого ряда, такие как «свет», «путь», «дело», «вождь», которые не указывают на конкретные события, но обладают суггестивной силой, выстраивая *священную историю борьбы*. Другой изменник делу Пушкина – Достоевский: если Некрасов создал мир, в котором стала жить русская общественная жизнь, мир идеалов, сверхзадач и надрывов, то Достоевский создал мир, в кото-

¹ <https://www.olgasedakova.com/Poetica/261>

ром стали жить сами писатели. Здесь Седакова близка позиции Бибикина, который в статье о романе Вл. Маканина «Герой нашего времени»¹ как раз показал, как метафизический герой Достоевского, стремящийся не к деньгам или славе, но к разрешению загадки, оспариванию полномочий Бога, вседозволенности и немислимому, стал у Маканина повествователем, субъектом, как если бы «Бесы» были написаны Ставрогиним.

Получается, что этим русская рецепция Достоевского отличается от французской, от «Калигулы» и «Одержимых» Камю, где субъект трансгрессии ставится в рамки строго продуманного эксперимента. Но у Седаковой немного другая перспектива: Достоевский, создавая свой мир метафизических героев, при этом оставался реалистом, а в мире реализма невозможна святость, потому что каждый начинает видеть в святом характер, а не подвиг. Князь Мышкин не может ничего сделать с этим миром, потому что в нем видят характер, персонажа, а в себе собеседники Мышкина сразу начинают видеть еще более последовательный характер, окружающие Мышкина, его окружение, оказываются в плену своего характера в кубе. Собственно, единственное, что у Достоевского позволяет разомкнуть этот реализм – притча. Вдоль силовых линий притчи герои выходят за пределы своего характера и становятся беззащитными. Такая беззащитность, заметим, развивая мысль соответствующей статьи, видна в «Братьях Карамазовых», где евангельские притчи о сеятеле, виноградарях и другие определяют необъяснимые поступки героя – и вот виноградник злых виноградарей оборачивается садом Федора Карамазова, а возвращение блудного сына – смертью Илюши.

Преодоление некрасовской или реалистической традиции для Седаковой – это выход за пределы своей привычной литературной улицы, когда ты вдруг начинаешь быть видим глазами неба, глазами мироздания, глазами Страшного суда, и это намного более сильный опыт, чем временная отрешенность за городом Ницше, Густава Малера или даже Хайдеггера. Здесь совершенно поразительна от первой

строки до последней статья «В поисках взора. Италия на пути Александра Блока». Только задумаемся: мир Блока – это Петербург и немого Шахматово. Он везде видит Петербург, *достоевский и бесноватый*, и даже в Италии будет жаловаться на громкое пение ночью, на «звоня в пыли велосипеды», на пыль и все-европейскую желтую пыль, всё то непетербургское, чего он никогда не примет. Но здесь его встречает Равенна, взор Галлы Пладиции, и он уже не думает о том, о чем думали Гумилев или Кузмин, об итальянских примитивах, беззаботности, нежности тонов и грациозной галантности, о театре и масках.

Эта Италия масок, интриг, ухаживаний и карнавалов Блоку чужда не меньше, чем Италия автомобилей и велосипедов, просто потому что «синий сон» чужого взгляда возвращает настоящую субъектность там, где прежде были лишь компромиссы и проницательные догадки. Здесь появляется другой пафос дистанции, не пушкинский ум, а скорее милующий холод, отрешенность, которая опасна, как опасна любая аскеза (в «Лестнице» всё об этом сказано), даже когда щедро и одаряет всех вокруг. Это как «Арзамасский ужас» Толстого, только *счастливый затаенным счастьем*. Седакова подробно прослеживает в ряде статей этот второй вариант русского пафоса дистанции, от «Войны и мира» Льва Толстого к «Доктору Живаго» Б. Пастернака – благородства, которое существует и после смерти не меньше, чем при жизни, которое после смерти освобождается от случайного, но не требует гибели, напротив, только живой жизни, которая *затаялась за каждой победой* над самим собой. *Рыцарство* у Толстого и Пастернака, перед лицом смерти, объявившей войну всей жизни – одна из напряженных нитей, протянутых через всю книгу.

Совершенно неожиданно, что для Седаковой Пастернак возвращает тему Художника, забытую в мире Достоевского, где движется на ощупь, кричат и удивляются, но не изображают. Конечно, литературовед может написать монографию, в которой объяснит, что у Достоевского не хватает пластических образов, а Пастернак продолжает жанровые традиции *Künstlerroman*, романа о художнике, и протянет нити от Чехова, Ибсена и Рильке к этому

¹ http://www.bibikhin.ru/pisatel_i_literatura

образу Художника-Врача с записной книжкой чудес медицины и самого бытия-в-мире. Но Седакова не пишет такой монографии: ей достаточно указать, что отношение Пастернака к истории, к случившемуся таково, что даже если бы он вдруг забыл и Гёте, и Рильке (хотя он их никогда не забывал, по безмерной признательности к ним), он из этого отношения к истории вывел бы память, рыцарство и геральдику достоинства, а из этого – образ Художника, поражающего змея обыденности. Труды Седаковой если и непросто иногда читать иному читателю, то только поэтому: не оговаривается условий успешного и провального эксперимента, вроде того, как работает историческая память в таком-то жанре, и что будет, если всё забыть, – а просто показано, что эксперимент уже состоялся (*it is told*, как сказали бы англичане) и жизни новизна пришла, щедрости которой хватило и на культуру, и на уважение к культуре.

И мы подходим к еще одному свойству литературоведения Седаковой, которое можно назвать сборкой канона. Существует зазор между классическим пониманием классики и академическим. Классическое понимание классики требует поместить Блока и Мандельштама в один пантеон, тогда как академический филолог отсоветует любому аспиранту писать на тему «Блок и Мандельштам», если только это не биографическое расследование и не введение новых мемуаров и других документов. Но когда Седакова начинает говорить о Мандельштаме в статьях этой книги, она вспоминает больше Данте и Петрарку, чем Блока, но Мандельштам в поздних стихах оказывается перед другим, по-другому катастрофическим, но тоже открытым небом, и тоже итальянским, и в другом смысле. Назвать это «история русской поэзии» нельзя, назвать «история катастрофизма в русской поэзии» – дерзко и даже не очень прилично. А вот сказать, что это «история неба» как некоторого субъекта русской поэзии – это самое то, самое точное; хотя опять же требует новых комментариев умного и любезного читателя.

Итак, в статьях этой большой книги, которую хочется не раз перечитывать, в диапазоне

от академических статей до *causerie* (в хорошем смысле *лекции на случай*), нет герменевтики поэзии в привычном смысле, как истолкования тех значимостей поэтических выражений, которые способны создать событие или раскрыть событие. И создание, и раскрытие события для Седаковой – не обособленные темы, а часть больших и не сразу обозримых сюжетов, начиная со *сверхсюжета* истории христианства.

Разбираемые в книге стихи – это всегда *стихи в прозе* (как в оболочке), в прозе биографической жизни Ахматовой или в прозе детской доверчивости Пастернака – и это не биографический метод и не сравнение поэзии и прозы, а скорее метод исследования, какие именно порывы (художественные мотивы или жизненные мотивации) лучше всего движут большой сюжет. Это *проверка биографии или прозы на скорость*, а не объяснение всего биографией или прозаическими заметками поэта. Скорость лучше объясняет, почему поэт стал другим в поздний период, или почему в стихотворении есть и субъект высказывания, и лирический герой, и лирическая роль, и субъектность изображенного времени, и субъектность читателя, который должен смело сопоставить далекие образы и амплуа. Именно поэтому Седакова не любит, например, психоаналитический метод в литературоведении или социологию Бурдьё – слишком уж они медлительны и косны, еле-еле раскошегарившиеся при виде поэзии, и то не до конца.

Вот следя за этими большими сюжетами и перечитываешь книгу, и читаешь ее с любого места. А урок книги, этого филологического *постдраматического театра*, таков: пока ты не видишь одним глазом Гёте, а другим – Пастернака, пока не видишь одним глазом Венедикта Ерофеева, а другим сразу – Юза Алешковско-го, а просто следишь за линиями преемства, ты человек хороших филологических навыков, но не филолог. Филолог – это тот, кто узнав о лирическом герое или ролевой лирике на университетской скамье, изменил не только привычки речи, но и привычки зрения и слушания. *Exi de Theatro Cato, adhibe mentem Cicero* – выйди из театра, суровый Катон, слушай внимательно, любезный Цицерон.

Алексей ГОЛИЦЫНХУДОЖНИК НИКОЛАЙ МАМОНТОВ. СОВЕТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СКВОЗЬ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

В биографии Николая Андреевича Мамонтова (1898–1964) до настоящего времени по объективным причинам оставались непроясненными несколько моментов. Так, если творческая жизнь в Барнауле и Омске после революции, период эмиграции в Италии (1924–1932) и возвращение в Советский Союз описаны достаточно подробно, то начиная с 1936 г. документальные свидетельства о Мамонтове практически отсутствуют. После ареста и пятилетнего лагерного срока имя художника исчезает из культурного пространства, и сведения о его жизни либо фрагментарны, либо носят следы вполне объяснимых «авторских» искажений. Переезд в провинциальный Саратов в 1948 году ситуацию только усугубил. Осужденный по политической статье Николай Мамонтов смог получить работу в вузе, но для официальных структур вынужден был придумать автобиографию.

Уголовные дела в отношении Николая Мамонтова¹ и его родственницы Марии Сахновской² позволяют прояснить некоторые факты из жизни художника и его окружения.

Неизвестно, что послужило толчком для возбуждения уголовного дела №243806 в пятом отделении секретно-политического отдела УНКВД Московской области. Однако 17 апреля 1936 г. оперуполномоченный Семен Павловский счел, что Николай Мамонтов, «будучи враждебно настроен к советской власти, систематически ведет контрреволюционную агитацию фашистского и пораженческого характера», и подписал постановление о привлечении художника по статье 58 пункт 10 часть 1. В тот же день сотрудник оперативного отдела НКВД Матвейчук провел обыск в квартире Мамонтова по адресу: Дангаузевская слобода, шоссе Энтузиастов, новые дома, корпус 11, кв. 54. Отметим, что это был престижный новый дом в стиле конструктивизма.

Чекисту удалось воспроизвести на обороте ордера следующую надпись:

обиск проезв<ел> кромы картин бо<льше> нет ничево ненин обиску непропи нечи<?>
Мамонтов. НА

Видимо, Матвейчук хотел сказать, что, кроме картин, ничего предосудительного найдено не было. Но даже из отсутствия улик следователь Виктор Аленцев смог извлечь выгоду. К уголовному делу были приобщены «анатомические рисунки», которые затем трансформировались в «два рукописных порнографических рисунка». Ныне эти работы Мамонтова не присутствуют в деле ни в подшитом, ни в «конвертированном» виде. Выяснить, на каком этапе они пропали, невозможно. Впрочем, рисунки-вешдоки фигурировали только в обвинительном заключении и вряд ли произвели впечатление на членов Особого совещания, определивших наказание для Николая Мамонтова.

На следующий день, 18 апреля, заключенного в Бутырскую тюрьму Мамонтова впервые допрашивали, и он указал в анкете, что «служил у Колчака в 1919 г. полгода рядовым по мобилизации». Этот факт органы ему будут припоминать постоянно. Например, жалобу уже осужденного Мамонтова в 1939 году прокуратура оставит без удовлетворения, в том числе и по причине службы у белых.

Уже на первом допросе Николай Мамонтов признался в тяжких преступлениях перед советской властью. В частности, он подтвердил имевшуюся у следователя информацию о том, что со-

¹ ГАРФ Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-78040.

² ГАРФ Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-13895.

бирался нелегально перейти границу осенью 1932 года, когда жил в Батуме. Затем сказал под запись, что «Сталин очень боится за свою жизнь и бережется больше, чем Муссолини». Но главное, Мамонтов заявил, что считал Сталина «основным виновником того, что я являюсь непризнанным художником... при этом я угрожал физической расправой со Сталиным». Этой фразы было достаточно, чтобы получить высшую меру наказания, но Мамонтову повезло, что органы обратили на него внимание весной 1936 года, и пик репрессий был еще впереди.

Художник назвал следователю ближайших знакомых – носителей антисоветских настроений: в том числе художника Федора Семенова, соседа Федора Срулева, некоего Степана Тригнера и Марию Сахновскую – сестру своей жены Ольги Соколовой.

В пересказе Мамонтова Сахновская говорила, что «в СССР жизнь населения значительно хуже, чем за границей, у нас здесь засилье бескультурия, нельзя высказать свободной мысли, все прижато кулаком... В СССР много недовольных, а как только начнется война с СССР, а Япония и Германия скоро будут воевать, то защищать совласть народ не будет». Кроме того, Мамонтов обвинял родственницу в том, что она «вела похабно клеветнические разговоры о быте руководителей партии и, в частности, о т. Сталине... она является морально разложившимся человеком и имеет у себя большое количество порнографических карточек... в числе ее знакомых имеется женщина, которая позировала для порнографических карточек (живет в той же квартире напротив)».

20 мая Сахновская была арестована. Следователь Павловский подписал постановление, согласно которому 46-летняя персональная пенсионерка «систематически ведет к-р пораженческие клеветнические разговоры против руководства партии и правительства, а также высказывает резко враждебность к т. Сталину».

На первом же допросе Сахновская выдвинула встречные обвинения против мужа своей сестры: «<Мамонтов> по своим убеждениям является сторонником фашизма. Так, при встречах у него на квартире и у меня на квартире он всячески восхвалял фашизм. При советском строе, говорил он, художники не могут развиваться, так как от них требуют изображения машин, рисовать глупые лица (ругательство) так называемых вождей. Другое дело в Италии и Германии». Сахновская добавила, что «Мамонтов, проживая в Батуме после возвращения из Италии, опустился, ничего не делал и свои неудачи объяснял политикой совласти. В результате этого он решил нелегально перейти границу, но сестра моя не допустила привести в исполнение его намерения».

Сахновскую допрашивали еще трижды, все обвинения она отрицала. «Никогда никаких антисоветских разговоров я не вела и враждебного отношения к т. "С" я не выражала», – конспиративно обозначено в протоколе от 3 июня. Оперуполномоченный настаивал: «Вам зачитываются показания Мамонтова, где он совершенно конкретно приводит факты Ваших антисоветских настроений». Сахновская отвечала: «Показания Мамонтова являются ложными, никогда и нигде я антисоветских настроений не выражала». И, видимо, желая убедить следователя в собственной лояльности, сдала ему еще трех близких знакомых.

Первым Сахновская назвала Николая Ивановича Шувалова, бывшего работника художественного отдела Наркомпроса. «Совласть он постоянно, до самого последнего времени, характеризовал как "царство хамства". "Неграмотные мужики, хамы думают, что могут двигать культуру, изгоняя интеллигенцию"», – цитировала Сахновская приятеля.

Затем последственная упомянула Сергея Семеновича Дурнева, певца, который, по ее словам, «одновременно с этим работал продавцом магазина по продаже водки». «Всех его антисоветских высказываний не помню, т.к. больше года его не видела, но помню, что он постоянно о мероприятиях совласти и ее руководителях отзывался с нелюбовью», – показала Сахновская.

Тем не менее в списках пострадавших от репрессий Шувалов и Дурнев не значатся.

И, наконец, «Шибеева-Орлицкая <...> у меня на квартире и у себя заявляла: "Я советскую власть ненавижу. Раньше, когда был царь, было значительно лучше, а теперь хамье, мужики грязные сидят у власти, душат все живое <...> скоро будет война, и от советской власти ничего не останется <...> они продали Россию же..., русским не даютдохнуть". <...> Причиной ненависти Шибеевой к совласти является то, что раньше, до революции, она была женой фабриканта Шибеева. Затем

в 1933–34 г. у нее органами НКВД было отобрано много бриллиантов. Она 2 раза арестовывалась из-за этих бриллиантов. Она намеревалась нелегально перейти границу, для чего собиралась поехать в пограничное местечко и там, подкупив людей, организовать нелегальный переход границы».

Виктория Александровна Орлицкая-Шиббаева, 63 лет, дворянка, преподаватель балета и музыки была выслана из Москвы в Каширу 31 января 1936 г. за «связь с контрреволюционным элементом». А на следующий год получила 8 лет лагерей. В обвинении перечислялось: «контрреволюционная агитация, клевета на конституцию, давала частные уроки музыки и балета».

Сахновская провела в камере Бутырской тюрьмы пять недель и была освобождена 27 июня 1936 г. Начальник 5-го отделения секретно-политического отдела УНКВД Московской области Виктор Аленцев записал в постановлении, что Сахновская была арестована *«на основании показаний обвиняемого Мамонтова Николая Андреевича, где Сахновская характеризуется как резко враждебно настроенная к ВКП-б и советской власти. В процессе расследования указанные факты не подтвердились. Обвиняемый Мамонтов оговорил Сахновскую»*. Мария Ивановна Сахновская была реабилитирована 18 октября 1991 г. Прокуратура Москвы не располагала сведениями о ее родственниках, поэтому справка о реабилитации оказалась не востребовавшей.

Тем временем на Лубянке дело Николая Мамонтова расследовалось параллельно.

В середине мая 1936 г. (документ не датирован) художник написал заявление в НКВД, где рассказывал в том, что «рассматривал советскую действительность сквозь черные очки и в силу этого, будучи к тому же непризнанным художником, высказывал антисоветские взгляды». Мамонтов обещал «полностью изжить в себе эти настроения» и просил дать ему «условия для широкой творческой работы», чтобы доказать, «что я буду очень полезен соввласти».

Но следователей интересовало не покаяние, а показания названных Мамонтовым товарищей.

Художник Федор Семенов (получивший затем известность под псевдонимом Семенов-Амурский) о политических взглядах Мамонтова умалчивал, но отмечал, что последний *«еще далек до художника советской формации. Его работы, красивые нередко по форме, лишены подлинного советского содержания. Мамонтов консервативный в этом отношении человек, с явно буржуазными барскими взглядами на жизнь и на искусство»*. Семенов уточнял, что познакомился с Мамонтовым через художницу Аллу Васильеву и ее мужа Клавдия Протопопова в 1932 году. Протопопов будет впоследствии обвинен в пропаганде эсеровского террора и расстрелян, а Васильеву приговорят к пяти годам лагерей как члена семьи изменника родины.

Федор Срулев повторял уже известные следователям «клеветнические высказывания» Мамонтова про Муссолини и Сталина, но добавлял и новые детали их разговоров. Якобы художник говорил Срулеву, что *«СССР в силу сложившихся политических и экономических условий в области искусства и то явно деградирует, что в СССР нет талантов и не будет, т.к. при той тенденциозности, которая существует во всех областях искусства, ее быть вообще не может. Здесь заставляют писать, петь, рисовать всё по “красному шаблону”, а тот, кто от этого отходит, вынужден владеть жалкое существование, обрекается на голод»*. В деле есть собственноручная приписка рабочего Федора Срулева, именовавшего себя председателем комитета содействия Госкредиту при заводе Тормозного завода: *«При разговорах с мамонтовым Я постоянно убеждал и доказывал ему что политически ты не понимаешь условия социалистическая. А понимаешь капиталистическая. нужно перевоспитать себя, и работать по советски»*.

На очной ставке Срулев повторил записанные в протоколах цитаты своего соседа по квартире Мамонтова, и чекисты простили ему симпатии к Германии, которые он вынес, сидя там в плену во время Первой мировой войны.

Гораздо более насыщены информацией оказались показания психиатра Ривы Давыдовны Левиной-Филипеску, проживавшей в роскошном Доме Коробковой на Тверском бульваре, 6. Судя по тому, что 37-летняя дочь владельца виноградников с 1920 по 1927 год состояла в румынской компартии и неоднократно подвергалась за это арестам, речь может идти о вдове Leonte Filipescu – одного из лидеров раннего румынского коммунистического движения, расстрелянного тамошними властями в тюрьме в 1922 году. Если это так, то становится понятно, почему у чекистов не

возникло претензий к самой Левиной, которая неоднократно бывала за границей и в 1928 году отдыхала на острове Капри, где и познакомилась с Николаем Мамонтовым. Из показаний Левиной следует, что советские структуры активно склоняли к возвращению в СССР не только знакомых фигур эмиграции, но и таких далеких от политики и популярности художников как Мамонтов. *«Когда встал вопрос о его выезде из Италии в СССР, то с его стороны проявлялось много колебаний. То он намеревался выехать, то решал – не возвращаться... И лишь только благодаря настойчивым требованиям со стороны Советского комитета в Риме о необходимости возвратиться для работы в Советский Союз и, как он сам признавал, благодаря моим разъяснениям ошибочности его взглядов он приехал в СССР»,* – заявила Левина.

Также можно сделать вывод, что Рива Левина «курировала» Мамонтова и после его возвращения в Москву. *«Он оказался здесь недовольным в то время существовавшей карточной системой... Потом в разговоре он стал заявлять о том, что... здесь якобы находят признание только "халтурщики", а подлинные таланты вынуждены владеть жалкое существование, что якобы в Сов. Союзе искусство подчинено партийной тенденциозности в ущерб свободной творческой инициативе... Проявлял настроения о том, что за границей в этом отношении дело обстоит гораздо лучше, что там ничего тебе не навязывают и ценят... Я резко осуждала Мамонтова за эти настроения, пыталась всегда доказать ему о политической вредности подобных взглядов»,* – диктовала Левина-Филипеску.

Следствие по делу Мамонтова закончилось, и 26 июня 1936 г. ему было предъявлено обвинение в антисоветской агитации и симпатиях к фашистскому строю. В обвинительном заключении цитировались показания Сахновской, Левиной и Срулева. Николай Мамонтов был арестован и подлежал изоляции от советского общества, в частности, за следующее высказывание: *«Жизнь в Советском Союзе никуда не годится, что здесь торжествует зажим всякой свободной творческой инициативы... трудящиеся в политическом и экономическом отношении находятся в чрезвычайно тяжелом положении. Слова правды и то стало нельзя сказать, за всякое проявление даже взглядов люди подвергаются репрессиям».*

27 июня дело Мамонтова было передано на рассмотрение внесудебного органа – Особого совещания при НКВД. 2 июля был вынесен вердикт – Николая Мамонтова «за контрреволюционную деятельность заключить в Исправтрудлагерь сроком на пять лет». 9 июля художника надлежало направить «с первым отходящим этапом в город Чибью, в распоряжение начальника управления Ухтпечлага».

В Ухтинско-Печорском исправительно-трудовом лагере Мамонтов отбыл полный срок. И хотя летом 1939 г. заключенный пытался обжаловать постановление Особого совещания, но получил отказ. Прокурор снова посчитал слова Мамонтова «меня в СССР не признают как большого художника» – фашистской агитацией и оставил его жалобу без удовлетворения.

О деталях лагерной жизни художника стало известно лишь в последнее время благодаря воспоминаниям современников и разысканиям И.Г. Девятьяровой¹. В Управлении ФСБ по Республике Коми и информационном центре МВД по Республике Коми пояснили, что сведениями и документальными материалами в отношении Мамонтова не располагают. В свою очередь в отделе МВД РФ по городу Ухте информировали, что личное дело заключенного Ухтижемлага Мамонтова Николая Андреевича уничтожено согласно акту №20 от 30.12.1953 года, по истечении срока хранения. «Дополнительно разъясняем, что в соответствии с действовавшими в период 1930-1960 гг. нормативными правовыми актами СССР, личные дела заключенных, освобожденных из мест лишения свободы, имели недолговременный срок хранения», – говорится в письме ведомства от 20.04.2023 г.

Уголовные дела Мамонтова и Сахновской вели, либо санкционировали следственные действия:

¹ Девятьярова И.Г. Художник Николай Мамонтов в Ухтпечлаге (1936–1940): неизвестная страница творчества // Искусство Евразии [Электронный журнал]. 2022. № 4 (27). С. 106–119. <https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2022.04.007>. URL: <https://eurasia-art.ru/art/article/view/925>

1. Следователь Виктор Терентьевич Аленцев (1904–1978). Закончил службу в 1959 г. в звании полковника.

2. Оперуполномоченный Семен Григорьевич Павловский (1906–1964). Был репрессирован и с 1951 по 1956 находился в заключении.

3. Александр Спиридонович Журбенко. Майор ГБ, депутат Верховного Совета РСФСР 1-го созыва. Расстрелян 26.02.1940 в Москве.

4. Станислав Францевич Реденс. Впоследствии нарком внутренних дел Казахской ССР, депутат Верховного Совета РСФСР 1-го созыва. Расстрелян 12.02.1940 в Москве.

После освобождения Николай Андреевич Мамонтов поселился в Подмоскowie, а после смерти жены в 1948 г. переехал в Саратов к своей родной сестре Т.А. Бойницкой. В апреле 2022 г. воспоминаниями о саратовских родственниках Мамонтова поделился их бывший сосед по дому на улице Соляной Сергей Акчурин: «Татьяна Андреевна и ее муж, заведующий кафедрой “Трафика” Саратовского автомобильно-дорожного института Виктор Львович Бойницкий жили в доме №31А (окна квартиры 3, 4, 5, если считать слева, возможно, ее номер был 22). Первые два окна – это окна бывшей нашей квартиры №24 (двери в квартиры располагались друг напротив друга).

По словам моей бабушки, которая жила там с 1952 по 1979 г., Татьяна Андреевна и Виктор Львович были очень интеллигентными, тихими и добрыми людьми, особенно, я помню, она так отзывалась о Викторе Львовиче. Татьяна Андреевна как-то пригласила в гости мою бабушку и показала сверток с бриллиантами, доллары и картины, по всей видимости ее брата Николая Мамонтова. Татьяна Андреевна умерла намного раньше Виктора Львовича. Детей у них не было».

По свидетельству саратовского художника Вячеслава Лопатина, Николай Мамонтов вел затворнический образ жизни, не принимал участия в выставках и общался преимущественно со своим лечащим врачом – известным саратовским психиатром А.Л. Гамбургом.

Благодаря В.Л. Бойницкому, Николай Мамонтов смог получить должность преподавателя черчения в Саратовском автодорожном институте. Там же, на кафедре Николай Андреевич познакомился со своей будущей женой Клавдией Алексеевной Тахановой. Они поженились 17 июля 1949 г. и находились в браке до момента смерти Николая Андреевича. По словам внука Клавдии Алексеевны Олега Подхомутникова, Мамонтов «умер в том же доме, где была его мастерская по Пушкинскому переулку, 41. На тот момент мама Клавдии Алексеевны получила новую однокомнатную квартиру со всеми удобствами на ул. Аткарская, и Клавдия Алексеевна с дочерью много времени проводила там. В частном деревянном доме по Пушкинскому переулку отопление было печное, вода на улице из колонки и т.д. Видимо, по этой причине Клавдия Алексеевна часто ночевала с дочерью у своей мамы.

Николаю Андреевичу стало плохо в ночь с 24 на 25 марта 1964 г. Он пытался стучать в стенку хозяйке дома – Беляевой Лидии Александровне. Но она по какой-то причине не отреагировала и не вызвала вовремя “скорую”. Приехавшие уже утром врачи констатировали смерть».

Пушкинский переулок существовал до 1976 года и был переименован в улицу Слонова. Однако, по словам близкого друга Мамонтова А.Л. Гамбурга, «Николай Андреевич снимал угол у какой-то старушки на окраине города за вокзалом»¹. Поэтому, вероятнее всего, настоящий адрес «мастерской» Мамонтова – один из Пушкинских проездов в Завокзальном поселке Саратова, из которых до наших дней сохранился лишь 6-й Пушкинский проезд.

Сергей Акчурин добавляет, что «Виктор Львович Бойницкий точно был жив еще в 1981–1982 гг. На тот момент, если верить дате рождения, указанной в Википедии (1893), ему было около 90 лет. После его смерти соседка из дома №31Б по улице Соляной, которая за ним ухаживала, перенесла все имущество в сарай во дворе, в том числе и картины. Мой папа даже был в этом сарае и видел их. Хотел попросить одну на память, но постеснялся».

Работы Николая Мамонтова пролежали в деревянном сарае на улице Соляной до января 2020 (!) года. После очередной смены владельцев квартиры новая хозяйка выставила объявление о

¹ Девятьярва И.Г. «Очарованная даль» Николая Мамонтова // Николай Мамонтов. Сны пилигрима: каталог выставки в Государственной Третьяковской галерее. М.: Пинакотека, 2008. С. 21.

продаже, и саратовский коллекционер Андрей Морозов приобрел два живописных полотна, в том числе «Автопортрет с женой» 1942 года, и 60 графических листов, созданных преимущественно в 1931 году в Италии. Работы серьезно повреждены, на многих отпечатки подошв и крысиных зубов. Эта последняя по времени находка работ Николая Мамонтова почти в полном объеме выставлена на сайте saratov-imena.ru.

Автор выражает благодарность Андрею Степановичу Морозову (Саратов), Сергею Вячеславовичу Акчуруну (Саратов) и Екатерине Олеговне Удинцевой (Москва) за разнообразную помощь в подготовке материала.

ГАРФ Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-78040. Л.д. 1.

«УТВЕРЖДАЮ»

НАЧ УПР НКВД М[осковской] О[бласти] –

Комиссар Государственной

Безопасности 1 Ранга

(РЕДЕНС)

17 апреля 1936 года.

Постановление

об избрании меры пресечения и предъявления обвинения

Город Москва 1936 г. апреля « » дня. Я – Оперуполномоченный 5-го отд[еле]ния Секретно-Политич[еского] отдела ПАВЛОВСКИЙ Главного Управления Гос. Безопасности УНКВД МО, рассмотрев следственный материал по делу № _____ и приняв во внимание, что гр. МАМОНТОВ Николай Андреевич, 1898 г.р., график. Проживает: Дангаузэровская слобода, шоссе Энтузиастов, новые дома корп. 11 кв. 54. достаточно изобличается в том, что будучи враждебно настроен к советской власти, систематически ведет к-р агитацию фашистского и пораженческого характера.

ПОСТАНОВИЛ:

гр. МАМОНТОВА Н.А. привлечь в качестве обвиняемого по ст.ст. 58 п. 10 ч. 1 УК, мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать _____

ОперУполномоченный подпись (Павловский)

«СОГЛАСЕН» Нач[альник] 5 Отд[еле]ния С[екретно-]П[олитического] О[тдела] УГБ: подпись (Аленцев)

Настоящее постановление мне объявлено 31 мая 1936 г.

Подпись обвиняемого Н Мамонтов

Л.д. 2.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР
УПРАВЛЕНИЕ НКВД СССР ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОРДЕР № 11560

Апреля 17 дня 1936 г.

Выдан сотруднику Оперативного Отдела У.Г.Б. Управления НКВД СССР по Московской области Матвейчук на производство Ареста-обыска Мамонтова Николая Андреевича по адресу: Шоссе Энтузиастов, новые дома, корпус № 11, кв. 54

Нач. Управления НКВД СССР по Московской Области *подпись*
Начальник Оперативного Отдела УГБ *подпись*

Справка 1005

Л.д. 2-об.

[Рукой Матвейчука:]
обиск проезв<ел?>
кромы картин бо<льше?>
нет ничево ненин
обиску непропи нечи<?>
Мамонтов. НА

[Рукой Мамонтова:]
Н Мамонтов

Л.д. 3.

ПРОТОКОЛ

На основании ордера *выданного* УГБ УНКВД МО за № 11560 от 17 *апреля* мес. 1936 г. произведен обыск/арест у гр. *Мамонтова Н.А.* в доме № 11 кв. № 54 по *Шоссе энтузиастов*.

При обыске присутствовали: *комендант Пахомов*

Согласно данным задержан гражд[анин] *Мамонтов Николай Андреевич*

Взято для доставления в _____ УГБ УНКВД МО следующее (подробная опись всего конфискуемого или реквизируемого)

1. *Анатомические рисунки*

2. *Разная переписка*

Обыск производил сотрудник *Матвейчук*

При обыске заявлена жалоба от *нет*

1) на неправильности, допущенные при обыске и заключающиеся по мнению жалобщика в *нет*

2) на исчезновение предметов не занесенных в протокол, а именно: *нет*

Примечание: *Комната в размере 15 метров, в которой проживает жена Мамонтова*

Запечатана печатью № *нет*

Все заявления и претензии должны быть занесены в протокол. После подписания протокола никакое заявление и претензии не принимаются.

С запросами обращаться в *комендатуру* УГБ УНКВД МО по адресу *М. Лубянка д 7*

Все указанное в протоколе и прочтение его вместе с примечаниями, лицами, у которых обыск производился, удостоверяем.

Подписи:	Обыскиваемого	<i>Н Мамонтов</i>
	Задерживаемого	
	Представителя домоуправления	<i>Пахомов</i>
	Производивший обыск	<i>Матвейчук</i>
	Копию протокола получил	

178 *апреля* 1936 года

Л.д. 9–11.

Ф. 910

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

К ДЕЛУ № _____

1936 г. *апреля* мес. 18 дня. Я, *Оперуполномоч[енный]* Павловский допросил в качестве обвиняемого

1. Фамилия	<i>Мамонтов</i>
2. Имя и отчество	<i>Николай Андреевич</i>
3. Дата рождения	<i>1898 г.</i>
4. Место рождения	<i>г. Омск</i>
5. Место жительства	<i>Шоссе энтузиастов д 11 кв 54 т. Ж-3-25-84</i>
6. Нац. и гражд. (подданство)	<i>русский гр-нин СССР</i>
7. Паспорт	<i>МУ 669745</i>
8. Род занятий	<i>художник</i>
9. Социальное происхождение	<i>из служащих воспитывался у вотчимы умер в 1931 году</i>
10. Социальное положение	
а) до революции	<i>учащийся</i>
б) после революции	<i>художник</i>
11. Состав семьи	<i>жена Ольга Ефремовна Соколова – домохозяйка. брат Александр преподаватель в Челябинске</i>
12. Образование	<i>высшее художественное</i>
13. Партийность	<i>б/п</i>
14. каким репрессиям подвергался а) до революции	<i>б/п нет</i>
б) после революции	<i>нет</i>
15. Какие имеет награды	<i>нет</i>
16. Категория воинского учета-запаса	<i>рядовой запаса</i>
17. Служба в Красной армии	<i>служил в кавдивизии с 1919 г. – 1921 г.</i>
18. Служба в белых и др. к.-р. армиях	<i>служил у Колчака в 1919 г. полгода рядовым по мобилизации</i>
19. Участие в бандах, к.-р. организациях и восстаниях	<i>нет</i>
20. Сведения об общественно-политической деятельности	<i>нет</i>

Показание обвиняемого (свидетеля)

[Рукой Павловского:]

Вопрос: Сообщите круг Ваших ближайших знакомых

Ответ: К числу моих ближайших знакомых относятся Срулев Федор Кузьмич (жив[ет] рядом со мной)[.] Семенов Федор – художник Хавско-Шаболовская ул. нов. дома 15 корпус, Циунович Алексей – (Землянка д 21 кв 2 раб[отае]т в нарком тяжпрома)[.] Тригнер Степан (немец гр. СССР)[.] Сахновская Мария Ивановна без опр[еделенных] занятий (прожив[ает] ул. Горького)

Вопрос: Нам известно что из числа Ваших знакомых ряд лиц ведут к/р деятельность. Что Вам известно об этом.

Ответ: Из числа моих знакомых Сахновская Срулев и Тригнер высказывают а/с настроения. Так, Сахновская высказывает постоянно взгляды «в СССР жизнь населения значительно хуже чем за границей, у нас здесь засилье безкультурия, нельзя высказать свободной мысли, все прижато кулаком.

Она Сахновская также заявляла до последнего времени у себя на квартире: В СССР много недовольных а как только начнется война с СССР, а Япония и Германия скоро будут воевать, то защищать соввласть народ не будет. При этом Сахновская высказывала и вела похабно клеветнические разговоры о быте руководителей партии и в частности о т. Сталине.

Она неоднократно заявляла «У нас засилье евреев»,

Кроме того она является морально разложившимся человеком и имеет у себя большое количество порнографических карточек.

Кроме того в числе ее знакомых имеется женщина, которая позировала для порнографических карточек (живет в той же квартире напротив).

Кроме того у Сахновской Марии фактически имеет место притон – квартира для свиданий, где нередко устраиваются пьяные оргии.

Срулев мой сосед настроен весьма антисоветски, так он постоянно заявляет «В Германии народ живет лучше».

К фашизму относился положительно.

У нас в газетах искажают фактическое положение, хвалят и приукрашивают, говорит часто Срулев

Тригнер настроен антисоветски, но конкретных высказываний его не помню, не встречался с ним около 7ми месяцев.

Вопрос: Установлено, что Вы намеревались нелегально перейти границу.

Ответ: Действительно осенью 1932 г. когда я жил в Батуме я познакомился с проституткой Софьей которая была знакома с итальянскими офицерами и намеревалась использовать это знакомство в целях нелегального перехода границы использовав иностранный пароход.

Эта Софья приглашала меня в качестве спутника и я дал согласие, но затем моя нынешняя жена меня отговорила и я никаких конкретных попыток не делал ограничившись лишь обсуждением плана нелегального перехода границы лишь в разговорах с этой Софьей и затем с женой.

Вопрос: Установлено что Вы и в последнее время намеревались осуществить нелегальный переход границы.

Ответ: Никаких конкретных планов в этой плоскости с 1936 г. я не обсуждал ибо знал невозможность этого. Но действительно я будучи озлоблен тем что меня в СССР не признают как большого художника, высказывал взгляды о том что за границей художники находятся в лучших условиях чем в СССР ибо в СССР не дают возможности, по моему мнению, свободно развиваться таланту заставляя его быть тенденциозным. В связи в этом возможно, что я и высказывал взгляды о переходе границы. С кем конкретно сейчас не помню.

Вопрос: Установлено что Вы враждебно относились к руководителям соввласти.

Ответ: Я признаю что высказывал озлобление по отношению к Сталину, считая его основным виновником того что я являюсь непризнанным художником, поскольку он руководит всей политикой в СССР. При этом я угрожал физической расправой со Сталиным.

Эти разговоры я вел в присутствии Срулева.

Признаю также, что я заявлял о том что Мус[с]олини более доступен для масс чем Сталин в СССР. Муссолини и при и его политику я при этом хвалил и при этом добавлял, что Сталин очень боится за свою жизнь и бережется больше чем Мус[с]олини. [Рукой Мамонтова:] Слова Муссолини и при его политику я при этом хвалил – не читать – НМамонтов

Осуждаю подобные высказывания о угрозах по адресу Сталина. Считаю их недопустимыми и это было в нетрезвом виде

Подпись НМамонтов

[Рукой Павловского:] Допросил Павловский

Л.д. 4.

НКВД

ф. 909

Анкета арестованного

ВОПРОСЫ:		ОТВЕТЫ:		
1. Фамилия		Мамонтов		
2. Имя и отчество		Николай Андреевич		
3. Год и место рождения		1898 Омск		
4. Постоянное место жительства (адрес)		Шоссе энтузиастов новые дома д. 11 кв 54.		
5. Место службы и должность или род занятий		Художник		
6. Профессия		Нет		
7. Имущественное положение в момент ареста		Z		
8. То же до 1929 года		Z		
9. То же до 1917 года		Z		
10. Социальное положение в момент ареста		служащий		
11. Служба в царской армии и чин		не служил		
12. Служба в белой армии и чин		служил полгода рядовым в колчаковской армии		
13. Служба в Красной армии		служил рядовым с 1919 по 1921 г.		
14. Социальное происхождение		из служащих		
15. Политическое прошлое		в полит партиях не состоял		
16. Национальность и гражданство		русский гр. СССР		
17. Партийная принадлежность		б/п		
18. Образование		высшее		
19. Категория воинского учета		рядовой запаса		
20. Состоял ли под судом и следствием		не судим		
21. Состояние здоровья		здоров		
22. Состав семьи				
Степень родства	Фамилия, имя и отчество	Возраст	Место работы	Место жительства
жена	Ольга Ефимовна Соколова	36 л.	домохозяйка	со мной

Подпись арестованного Н Мамонтов

Л.д. 6.

5 СПО

СПРАВКА № 1754/82

Заклученный Бутырского изолятора НКВД Мамонтов Николай Андреевич 37 лет, по состоянию своего здоровья годен к *тяжелому* физическому труду.

Основание: – ст.ст. перечня болезней, опубли. в приказе ОГПУ за № 045

Врачебная комиссия при санчасти Бутырского изолятора НКВД *подпись подпись подпись*
27/IV 1936 г.

Л.д. 12-13.

Ф. 910

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

К ДЕЛУ № _____

1936 г. мая мес. 9 дня. Я, *Оперуполномоченный Павловский* допросил в качестве обвиняемого

1. Фамилия	Мамонтов
2. Имя и отчество	Николай Андреевич
3. Дата рождения	По делу известно
<...>	
20. Сведения об общественно-политической деятельности	

Показание обвиняемого (свидетеля)

Вопрос: При пред'идущем допросе вы не дали исчерпывающих показаний о Срулеве.

Ответ: Срулев проживающий в одной со мной квартире отрицательно относится в соввласти. Это видно из его высказываний. Так в 1935 г. у меня в комнате Срулев отрицательно отзывался о Сталине и в частности утверждал что Сталин не считается с нуждами населения и вопреки интересам их проводил свою политику в результате которой население живет в скверных условиях, нищает.

Касаясь убийства Кирова Срулев выражал недовольство массовыми арестами и расстрелами заявляя в негодованием за одного рас<с>треляли десятки и даже тех кто не имел никакого отношения к этому делу. Других взглядов по данному вопросу Срулев не высказывал.

Кроме того Срулев высказывал сожаление что не остался в Германии где он находился в плену и при этом положительно отзывался об условиях в Германии.

Вопрос: Как относился Срулев к фашистскому строю в Германии.

Ответ: На эту тему мы с ним не беседовали.

Вопрос: Что Вам известно об антисоветской деятельности Сахновской и Тригнер.

Ответ: Кроме того что я ранее показал о Сахновской и Триггер ничего больше показать не могу.

Подпись *НМамонтов*
Допросил Павловский

Л.д. 14.

Заявление в НКВД.

Прошу НКВД учесть мое искреннее раскаяние в том, что я в результате того, что находясь долгое время в Италии, будучи окружен средой неправильно освещавшей советскую действительность и затем вернувшись в СССР и встречаясь с отдельными антисоветски настроенными и морально разложившимися лицами, советскую действительность рассматривал сквозь черные очки и в силу этого будучи к тому же непризнанным художником высказывал антисоветские взгляды – о нелегальном переходе границы, об угрозах Сталину.

Продумав все это я пришел к глубокому убеждению в неправильности этих взглядов, вредности их. Категорически осуждаю их и со всей искренностью заявляю, что в самый кратчайший срок, полностью изживу в себе эти настроения. Одним из основных моментов этого является почти полный отрыв от подлинно творческой работы. Прошу дать мне условия для широкой творческой работы и я докажу что я буду очень полезен соввласти. *Н Мамонтов.*

Л.д. 18-19.

Ф. 910
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

К ДЕЛУ № _____

1936 г. Мая мес. 21 дня. Я Оперуполномоченный Павловский допросил в качестве обвиняемой

1. Фамилия	<i>Сахновская</i>
2. Имя и отчество	<i>Мария Ивановна</i>
3. Дата рождения	<i>1890 г.</i>
4. Место рождения	<i>М.О. Орехово-Зуевский р-н д.<?> Горки</i>
5. Местожительство	<i>Ул. Горького д. 137 кв 2</i>
6. Нац. и граж. (подданство)	<i>русская гр-ка СССР</i>
7. Паспорт	<i>М.Ф. № 710250 выдан Моск. милицией</i>
8. Род занятий	<i>персональная пенсионерка</i>
9. Социальное происхождение	<i>из рабочих</i>
10. Социальное положение	
а) до революции	<i>домохозяйка</i>
б) после революции	<i>домохозяйка</i>

11. Состав семьи	<i>Сестры Ольга Ефимовна Самойлова домохозяйка Евдокия Ефимовна Бутова</i>
12. Образование	<i>среднее</i>
13. Партийность	<i>б/п</i>
14. Каким репрессиям подвергался	
а) до революции	<i>нет</i>
б) после революции	<i>нет</i>
15. Какие имеет награды при сов. власти	<i>нет</i>
16. Категория воинского учета-запаса	<i>нет</i>
17. Служба в Красной армии	<i>нет</i>
18. Служба в белых и др. к.-р. армиях	<i>нет</i>
19. Участие в бандах, к.-р. организациях и восстаниях	<i>нет</i>
20. Сведения об общественно-политической деятельности	<i>нет</i>

Вопрос: Что Вам известно об антисоветской деятельности Мамонтова.

Ответ: – Мамонтов является мужем моей сестры. По своим убеждениям является сторонником фашизма, так при встречах у него на квартире и у меня на квартире он всячески восхвалял фашизм.

При советском строе, говорил он, художники не могут развиваться так, как от них требуют изображения машин, рисовать глупые лица (ругательство) так называемых вождей.

Другое дело в Италии и Германии.

Могу добавить еще следующее, Мамонтов проживая в Батуме после возвращения из Италии опустилс ничего не делал и свои неудачи объяснял политикой соввласти.

В результате этого он решил нелегально перейти границу, но сестра моя его не допустила привести в исполнение его намерения.

Вопрос: Мамонтов высказывал при Вас враждебность к т. Сталину. Что Вам известно об его террористических настроениях.

Ответ: О террористических настроениях Мамонтова мне ничего неизвестно, но касаясь Сталина Мамонтов отзывался о нем отрицательно и при этом высказывал антисемитские ругательства утверждая это все инородцы руководят властью.

правильно записано М Сахновская

Вопрос: Вы обвиняетесь в том что вели антисоветскую агитацию и вели клеветнические разговоры о руководителях соввласти.

Ответ: Я никогда никаких антисоветских разговоров не вела. *М Сахновская*

Допросил Павловский

Л.д. 20-21.

Ф. 910

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
К ДЕЛУ № _____

1936 г. Июня мес. 17 дня. Я Нач. 5 отд. СПО УГБ УНКВД МО Аленцев В[ик]т[ор] допросил в качестве свидетеля

1. Фамилия	Семенов
2. Имя и отчество	Федор Васильевич
3. Дата рождения	1902
4. Место рождения	г. Благовещенск на Амуре
5. Местожительство	Москва Хавско Шаб[о]ловская ул. д. 11 корп. 15 кв 642
6. Нац. и гражд. (подданство)	Русский гр-н СССР
7. Паспорт	МТ № 570373 п/н № 7 4 о/м выдан 11/II 1931 г.
8. Род занятий	художник работаю в с/хозгизе
9. Социальное происхождение	из рабочих
10. Социальное положение	
а) до революции	на иждивении родителей
б) после революции	С 1922 самостоятельн. учился и работал
11. Состав семьи	Женат. Жена Елизавета Измайловна Елисеева художник в мед. гизе.
12. Образование	высшее, окончил ВХУТЕМАС в 1930 г.
13. Партийность	б/п
14. Каким репрессиям подвергался	
а) до революции	–
б) после революции	–
15. Какие имеет награды при сов. власти	нет
16. Категория воинского учета-запаса	командир запаса средний нач. состав на учете в Сок. РВК
17. Служба в Красной армии	Служил в 1931 г. с апреля до октября м-ца в Учбате 2 стр. <...> <...> <...>
18. Служба в белых и др. к.-р. армиях	нет
19. Участие в бандах, к.-р. организациях и восстаниях	не участвовал
20. Сведения об общественно-политической деятельности	–

Показание обвиняемого (свидетеля) Семенова Федора Васильевича 17 VI 1936 г.
Об ответственности за дачу ложных показаний по ст. 95 УК РСФСР я предупрежден.
Фед. Семенов

Вопрос – Вы знаете Мамонтова Николая Андреевича и в каких отношениях с ним находились?

Ответ – Мамонтова Николая Андреевича я знаю с 1932 г. Познакомились через Васильеву Алису Федоровну и ее мужа Протопопова Клавдия Ивановича (она художница), находился с ним в нормальных отношениях, вражды между нами на личной почве не было.

Вопрос – Что Вам известно об а/сов[етских] взглядах Мамонтова Н.А.?

Ответ – По вопросам политического характера мне с Мамонтовым Н.А. беседовать не приходилось. Я с ним сталкивался на почве искусства – мы оба художники, поэтому сказать, что либо о его политических взглядах я не могу, но его работы и сам он как художник еще далек до художника сов. формации. Его работы красивые не редко по форме, лишены подлинного советского содержания. Мамонтов консервативный в этом отношении человек, с явно буржуазными барскими взглядами на жизнь и на искусство.

Приехав в Сов. Союз из Италии (он там жил лет 5), овладев в искусстве итальянской школой, он не преломлял своих знаний по советски на советской почве, он скрывал свои знания в отдельных вопросах техники этого дела, не смотря на просьбы и попытки хотя бы с моей стороны показать разрешение отдельных задач в области искусства. У него не редко проявлялось недовольство, начатое тем что его не куда не принимают, не признают в Сов. союзе, а сам же ни каких конкретных попыток служить трудящимся Сов. страны не делал

Больше показать ничего не могу, протокол записан с моих слов верно, мною лично прочитан.
Фед. Семенов

Допросил Нач 5 отд СПО УНБ УНКВД Аленцев

Л.д. 22-23.

Ф. 910

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

К ДЕЛУ № _____

1936 г. Июня мес. 17 дня. Я Нач. 5 отд. СПО УГБ УНКВД МО Аленцев допросил в качестве свидетеля

1. Фамилия	Срулев
2. Имя и отчество	Федор Кузьмич
3. Дата рождения	1894
4. Место рождения	с. Хлопово Каширского р-на Моск. обл.
5. Местожительство	Дангаузровка Новые дома дом 11 кв 54. Ж-3-25-84.
6. Нац. и гражд. (подданство)	Русский гр-н СССР.
7. Паспорт	М.О. № 276732, выдан п/п № 147 14 о/м. г. Москвы 9/Х 35 г.
8. Род занятий	пред. ком. содействия Госкредиту при завкоме Тормозного завода
9. Социальное происхождение	Рабочий
10. Социальное положение	
а) до революции	с 1906-1907 работаю и живу самостоятельно
б) после революции	тоже
11. Состав семьи	Женат, Срулева Мария Алексеевна 43 г. работает смазчицей на з-де Шарикоподшипник, 4° детей от 5 л. до 12 л.

Показание обвиняемого (свидетеля) *Срулева Федора Кузьмича 17 VI 1936 г.*

Об ответственности за дачу ложных показаний по ст. 95 УК РСФСР я предупрежден Срулев

Вопрос – Что Вам известно об а/сов. деятельности Мамонтова Николая Андреевича?

Ответ – Об антисоветской деятельности мне ничего не известно, но следует быть отмеченным тот факт, что Мамонтов Николай Андреевич является враждебно настроенным к Сов. власти. В неоднократных разговорах с ним он постоянно заявлял о том, что жизнь в Сов. союзе ни куда не годится, что здесь торжествует зажим всякой свободной творческой инициативы, что трудящиеся в политическом и экономическом отношении находятся в чрезвычайно тяжелом положении. Слова правды и то стало нельзя сказать, за всякое проявление даже взглядов люди подвергаются репрессиям. С особой симпатией Мамонтов относился к фашистским странам Германии и Италии, он говорил, что там народ живет подлинной свободой, что яко-бы Муссолини весьма доступен трудящимся и пользуется величайшей любовью у народа. При этом проводил клеветническую аналогию с т. Сталиным.

Особенно много он вел разговоров о том, что СССР в силу сложившихся политических и экономических условий в области искусства и то явно деградирует, что в СССР нет талантов и не будет т.к. при той тенденциозности которая существует во всех областях искусства ее быть вообще не может. Здесь заставляют писать, петь, рисовать все по «красному шаблону», а тот кто от этого отходит тот вынужден влачить жалкое существование, обрекается на голод.

Больше показать ничего не могу.

Протокол записан с моих слов верно мною лично прочитан *Срулев*

Вставку «тот вынужден влачить жалкое существование, обрекается на голод» читать *Срулев*

[Рукой Срулева:] при разговорах с мамонтовым Я постоянно убеждал и доказывал ему что политически ты не понимаешь условия социалистические. А понимаешь капиталистические. нужно перевоспитать себя. и работать по советски

17/VI 36 г.

Срулев

Допросил Нач 5 отд СПО УНБ УНКВД *Аленцев*

Л.д. 24–26.

Ф. 910

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР

ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

К ДЕЛУ № _____

1936 г. июня мес. 19 дня. Я Нач. 5 отд. СПО УГБ УНКВД МО *Аленцев* допросил в качестве свидетеля

1. Фамилия	<i>Левина-Фелипеску</i>
------------	-------------------------

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

2. Имя и отчество	<i>Рива Давыдовна</i>
3. Дата рождения	<i>1899</i>
4. Место рождения	<i>г. Кишинев</i>
5. Местожительство	<i>Москва, Тверской бульвар д. №6 кв. 55.</i>
6. Нац. и гражд. (подданство)	<i>еврейка гр-ка СССР</i>
7. Паспорт	<i>М.Р. № 625842 выдан 10/II 36 г. п/п № 1543 4 о/м г. Москвы</i>
8. Род занятий	<i>врач психиатр работает в невро-псих[иатрической] леч[ебнице] им. Соловьева</i>
9. Социальное происхождение	<i>отец находится в Румынии занимается с/хоз. имеет виноградники, применяет сезонную раб. силу до 3-4 чел.</i>
10. Социальное положение	
а) до революции	<i>училась и давала частные уроки</i>
б) после революции	<i>давала частные уроки училась с 1926 г. работает врачом</i>
11. Состав семьи	<i>вдова, имею одного ребенка 2 лет.</i>
12. Образование	<i>высшее окончила мед. фак. в г. Бухарест в 1926 г.</i>
13. Партийность	<i>чл. ВКП/б/ с 1931 г. п/б № <...> с 1920 г. по 1927 г. состояла в Рум[ынской] компартии</i>
14. Каким репрессиям подвергался	
а) до революции	<i>в 1920 г. и в 1922 г. находясь в Румынии арестовывалась за принадлежность к Румынской компартии.</i>
б) после революции	<i>нет</i>
15. Какие имеет награды при сов. власти	<i>нет</i>
16. Категория воинского учета-запаса	<i>состою в Ленинском РВК кат. 7.</i>
17. Служба в Красной армии	<i>не служила</i>
18. Служба в белых и др. к.-р. армиях	<i>не служила</i>
19. Участие в бандах, к.-р. организациях и восстаниях	<i>не участвовала</i>
20. Сведения об общественно-политической деятельности	<i>пропагандист в парт<...> районного отделения в б[ольни]це Соловьева</i>

Показание обвиняемого (свидетеля) *Левиной-Филипеску Ривы Давыдовны 19 VI 1936 г. Об ответственности за дачу ложных показаний я предупреждена по ст. 95 УК РСФСР. Левина*

Вопрос – Вы знаете Мамонтова Николая Андреевича, где познакомились и в каких отношениях с ним находились?

Ответ. Мамонтова Николая Андреевича я знаю. Познакомилась с ним в 1928 в Италии на о. Капри (там я лечилась). Знакомство было кратко-временным, затем несколько раз я его встречала в г. Риме (Италия), поддерживала с ним переписку с приездом в Сов. союз. По приезде его из Италии в СССР я его здесь встречала. Находилась с ним в официальных отношениях. Вражды между нами не было.

Вопрос – Что Вам известно об антисов[етских] настр[оениях] Мамонтова Н.А.?

Ответ – Во время встречу в Италии политическое лицо Мамонтова Н.А. для меня было совершенно не известно. Во время переписки с ним т.е. тогда, когда я уже была в Сов. союзе, он продолжал находится в Италии. Я обнаружила, что этот человек по своим взглядам не является преданным Сов. союзу, он например – мне сообщал о том, что в Красную Армию он пошел руководствуясь своими художественными побуждениями, что он служил в белой армии у Колчака, потом был демобилизован. Когда встал вопрос о его выезде из Италии в СССР, то с его стороны проявлялось много колебаний. То он намеревался выехать, то решал – не возвращат[ь]ся в Сов. союз из Италии т.к. там «есть источники искусства – Тициан и др., а этого нет в Сов. союзе». И лишь только благодаря настойчивым требованиям со стороны Сов. комитета в Риме о необходимости возвратится ег[о] для работы в Сов. союз и как он сам признавал, благодаря моим разъяснениям ошибочности его взглядов он приехал в СССР.

Здесь встречаясь с ним он так же обнаружил свои антисоветские настроения. Он оказался здесь недовольным в то время существовавшей карточной системой, это вызывало у него большое недовольство. Потом в разговоре он стал заявлять о том что в Сов. Союзе искусство стоит на крайне низком уровне, что здесь яко-бы находят признание только «халтурщики», а подлинные таланты вынуждены владеть жалкое существование, что яко-бы в Сов. Союзе искусство подчинено партийной тенденциозности в ущерб свободной творческой инициативе. И отсюда приходил к ~~выводу~~

* Вставку «необходимости», «крайне» читать. Испр[авленному] «возвратится» верить. Зачеркнутое «его», «выводу» не читать.

выводу в отношении себя, что для него здесь в Сов. союзе перспектив абсолютно нет, что он не всостоянии выполнять навязываемые ему темы. Проявлял настроения о том, что за границей в этом отношении дело обстоит гораздо лучше, что там ничего тебе не навязывают и ценят.

Я резко осуждала Мамонтова за эти настроения, пыталась всегда доказать ему о политической вредности подобных взглядов, но не знаю оказывало ли на него это действительно какое либо влияние, но все же следует сказать, что среда на него может влиять, когда он соглашался с моими доводами и доводами моих товарищей.

Больше показать ничего не могу, протокол записан с моих слов верно. Мною лично прочитан.
Левина

Допросил Нач 5 отд СПО УНБ УНКВД *Аленцев*

Л.д. 15-17.

Ф. 910

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОТОКОЛ ДОНР[О]СА очной ставки

К ДЕЛУ № _____

1936 г. июня мес. 21 дня. Я Нач. 5 отд. СПО УГБ УНКВД МО *Аленцев* Вт допросил в качестве

1. Фамилия	<i>проводил очную ставку между обв[иняемым] Мамонтовым Ник[о- лаем] Андр[еевичем] и св[идетелем] Срулевым Фед[ором] Кузмичем</i>
2. Имя и отчество	
3. Дата рождения	

П[р]отокол
очной ставки

21 VI 1936 г.

Вопрос к свид[етелю] Срулеву Ф.К. – Вы знаете Мамонтова Николая Андр, в каких отношениях с ним находились?

Ответ – Мамонтова Николая Андреевича я знаю находился с ним в нормальных отношениях, вражды между нами не было.

Вопрос к Мамонтову Н.А. – Вы знаете гр-на Срулева Ф.К. и что можете сообщить о Ваших с ним отношениях?

Ответ – Срулева Ф.К. я знаю с 1933 г. по совместному проживанию в квартире, ни какой вражды между нами не было.

Вопрос – к Срулеву Ф.К. – Что Вы имеете сообщить об а/сов. взглядах Мамонтова Н.А.

Ответ – Об антисоветских взглядах Мамонтова следует сказать следующее. Мамонтов Ник. Андр. враждебно настроен к Сов. власти. В неоднократных разговорах с ним он постоянно заявлял о том, что жизнь в Сов. союзе ни куда не годится, что здесь торжествует зажим всякой свободной творческой инициативы, что трудящиеся в политическом и экономическом отношении находятся в чрезвычайно тяжелом положении. Слова правды и то стало нельзя сказать, за всякое проявление даже взглядов люди подвергаются репрессиям. С особой симпатией Мамонтов относился к фашистским странам Германии и Италии. Он говорил, что там народ живет подлинно свободной жизнью, что яко-бы Муссолини весьма доступен трудящимся и пользуется величайшей любовью у народа. При этом проводил клеветническую аналогию с т. Сталиным. Особенно много он вел разговоров о том, что СССР в силу сложившихся политических и экономических условий, искусство и творчество явно деградирует, что в СССР нет талантов и не будет т.к. при той тенденциозности которая существует во всех областях искусства ее быть вообще не может. Здесь заставляют писать, петь, рисовать все по «красному шаблону», а тот кто от этого отступит тот вынужден влачить жалкое существование, обрекаясь на голод. В этих разговорах с Мамонтовым я постоянно убеждал его и доказывал ему ошибочность и вред подобных взглядов. Говорил ему что нужно перевоспитать себя и работать по советски.

Вопрос – Признаете ли Вы себя виновным в том, что выражали указанные свидетелем а/с. настроения и что можете показать по существу этих показаний?

Ответ – Виновным я себя не признаю. Показания свид[етеля] ~~Мамонто~~ Срулева являются ложными. *Зачеркнутое «Мамонто» не читать. Н Мамонтов*

Вопрос – Срулеву – Вы подтверждаете свои показания?

Ответ – Свои показания я целиком и полностью подтверждаю.

Протокол записан с наших слов верно, нами лично прочитан.
Н Мамонтов
Срулев

Очную ставку провел Нач. 5 отд СПО УГБ УНКВД
мл. лейтенант *Аленцев*

Л.д. 27.

Постановление

(об окончании следствия)

1936 г. Июня «21» дня я нач 5 отд. СПО УГБ УНКВД МО мл. лейтенант Гос. без. Аленцев рассмотрев след. дел<о> № по обвинению Мамонтова Николая Андреевича по ст. 58 п. 10 ч. I УК РСФСР,

Нашел

Материалами следствия виновность Мамонтова в антисоветской агитации полностью установлена а поэтому

Постановил

Следственное дело считать законченным. Об окончании следствия объявить обвин[яемому] Мамонтову Николаю Андреевичу

Нач 5 отд СПО УГБ УНКВД МО *Аленцев*

Об окончании следствия мне объявлено – *21 июня 1936 Н Мамонтов*

Л.д. 7.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(о приобщении веществен[ных] доказательств).

1936 года, июня 25 дня, Я, Нач. 5 отд. СПО УГБ УНКВД МО – Мл. Лейтенант Госуд. Безопасности АЛЕНЦЕВ, рассмотрев след. дело № 20 по обвинению МАМОНТОВА Николая Андреевича, по ст. 58 п. 10 ч. 1 УК РСФСР, –

НАШЕЛ:

При обыске у МАМОНТОВА Николая Андреевича изъято два рукописных порнографических рисунка, учитывая что указанные документы характеризуют обвиняемого, –

ПОСТАНОВИЛ:

Приобщить это два порнографических рисунка к след. делу № 20 как вещественные доказательства.

НАЧ 5 ОТД СПО УГБ – Мл. Лейтенант
Государств. Безопасности:

подпись (Аленцев)

«СОГЛАСЕН» ПОМ НАЧ СПО УГБ УНКВД МО –
Капитан Госуд. Безопасности:

подпись (Журбенко)

Л.д. 28.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(о выделении след[ственных] материалов из сл[едственного] дела № 20).

1936 года, июня 25 дня, Я, Нач. 5 отд. СПО УГБ УНКВД МО – Мл. Лейтенант Госуд. Безопасности АЛЕНЦЕВ, рассмотрев материалы след. дела № 20 по обвинению МАМОНТОВА Николая Андреевича по ст. 58 п. 10 ч. 1 УК

НАШЕЛ:

По след[ственному] делу проходит как антисоветский элемент занимающиеся антисоветской агитацией САХНОВСКАЯ Мария Ивановна, СРУЛЕВ Федор Кузьмич и ТРИГНЕР, но учитывая, что при детальной проверке указанных МАМОНТОВЫМ фактов, оказалось что САХНОВСКАЯ М.И. и СРУЛЕВ Ф.К. им были оговорены – факты не подтвердились.

ПОСТАНОВИЛ:

Материал в отношении всех вышеуказанных лиц выделить в копиях в особое производство для проверки.

НАЧ 5 ОТД СПО – Мл. Лейтенант
Государств. Безопасности:

подпись (Аленцев)

«СОГЛАСЕН» ПОМ НАЧ СПО УГБ УНКВД МО –
Капитан Госуд. Безопасности:

подпись (Журбенко)

Л.д. 29-30.

Т/6.

«УТВЕРЖДАЮ»

ЗАМ НАЧ УНКВД МО – СТАРШИЙ

Майор Государств. Безопасности

(РАДЗИВИЛОВСКИЙ) *подпись*

«26» июня 1936 года.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По след. делу № 20 по обвинению МАМОНТОВА Николая Андреевича по ст. 58 п. 10 ч. 1 УК РСФСР.

В С[екретно-]П[олитический] О[тдел] УГБ УНКВД М[осковской] О[бласти] поступили сведения о том, что художник МАМОНТОВ Н.А. будучи враждебно настроенным, систематически ведет а/сов[etskую] агитацию.

Произведенным по делу расследованием факты а/сов. агитации подтвердились. Установлено, что МАМОНТОВ будучи озлобленным против политики ВКП-б и сов. правительства, выражал симпатии фашистскому строю, по этому поводу обвиняемый МАМОНТОВ показал:

«Я будучи озлоблен тем, что меня в СССР не признают как большого художника, высказывал взгляды о том, что за границей художники находятся в лучших условиях чем в СССР ибо в СССР не дают возможности по моему мнению свободно развиваться таланту заставляя его быть тенденциозным... Я... высказывал озлобление по отношению к Сталину, считая его основным виновником того, что я являюсь непризнанным художником поскольку он руководит всей политикой в СССР. При этом я угрожал физической расправой со Сталиным... Я заявлял о том, что Муссолини более доступен для масс, чем Сталин в СССР»...

(Из показ[аний] обвин[яемого] МАМОНТОВА, л.д. 11-об.)

Допрошенный по делу свид[етель] СРУЛЕВ Ф. К. об а/с деятельности МАМОНТОВА показал:

«МАМОНТОВ Ник. Андреевич враждебно настроен к соввласти. В неоднократных разговорах с ним он постоянно заявлял о том, что жизнь в Советском союзе никуда не годится, что здесь торжествует зажим всякой свободной творческой инициативы, что трудящиеся в политическом

и экономическом отношении находятся в чрезвычайно тяжелом положении. Слова правды и то стало нельзя сказать, за всякое проявление даже взглядов люди подвергаются репрессиям.

С особой симпатией МАМОНТОВ относился к фашистским странам – Германии и Италии, он говорил, что там народ живет подлинной свободной жизнью, что якобы Муссолини весьма доступен трудящимся и пользуется величайшей любовью у народа, при этом проводил клеветническую аналогию с т. Сталиным».

(Из показ[аний] свид[етеля] СРУЛЕВА от 21/VI-36 г. л.д. 16-160б).

Это находит свое подтверждение и в показаниях свид[етелей] САХНОВСКОЙ л.д. 19, ЛЕВИНОЙ (л.д. 25-26).

На основании вышеизложенного ОБВИНЯЕТСЯ:

МАМОНТОВ Николай Андреевич, 1898 г.р., ур[оженец] г. Омск, из служащих, б/п., служил в белой армии Колчака рядовым, по специальности художник, работал на дому. Проживал в Москве по шоссе Энтузиастов, д. №11, кв. 54, –

– в том, что будучи враждебно настроенным к ВКП-б и соввласти, вел к/р фашистскую агитацию, т.е. в преступлении предусмотренном ст. 58 п. 10 ч. 1 УК РСФСР.

Виновным себя признал, уличается 4 свидетельскими показаниями и очной ставкой.

ПОСТАНОВИЛ:

След, дело № 20 по обвинению МАМОНТОВА Ник. Андреевича по ст. 58 п. 10 ч. 1 УК РСФСР направить на рассмотрение Особого совещания при НКВД СССР, с одновременным перечислением за ним обвиняемого. Дело предварительна согласовать с прокурором по спец. делам гор. Москвы.

СПРАВКА: МАМОНТОВ Ник. Андр. арестован 17/IV-36 г. и содержится в Бутырской тюрьме.

Веществ[енные] доказательства находятся в деле.

НАЧ 5 ОТД СПО УГБ – Мл. Лейтенант

Государств. Безопасности:

подпись (Аленцев)

«СОГЛАСЕН» ПОМ НАЧ СПО УГБ УНКВД МО – Капитан

Государств. Безопасности:

подпись (Журбенко)

« » июня 1936 года.

Л.д. 31.

Согласен

29/VI Подпись

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

1936 года *Июня 27* дня. Пом[ощник] Прокурора г. Москвы по спец. делам *Кунин*, рассмотрев дело №... по обв[инению] *Мамонтова Николая Андреевича* по 58 10 1 ст. УК и имея в виду, что материалами дела и показаниями свидетелей его виновность установлена, –

ПОСТАНОВИЛ:

Соглашаясь с обвинительным заключением, дело направить на Особое Совещание НКВД СССР. –

ПОМ. ПРОКУРОРА г. МОСКВЫ

по спец. делам: *Кунин*

Л.д. 32.

МБ 23.

Нач. ОТДЕЛА ОХРАНЫ ГУЛ, ТЦ и МЗ НКВД.

гор. _____

ГУГБ

Учетно-Статистическ[ий] Отдел

Архивн.

9 июля 6

16/20/Л

Препровождается меморандум по делу № 20 на МАМОНТОВА Николая Андреевича, осужденного] О[собыим] С[овещанием] 2/VII-36 г. И[справительно-]Т[рудовых] Л[агереи] 5 л[ет] для сведения.

Одновременно сообщаем, что нами дано распоряжение № 16/20/Л 9/VII-1936 г. УНКВД М[осковской] О[бласти] о направлении осужденного в ваше распоряжение НАЧ[альника] УПР[авления] УХТПЕЧЛАГ'а НКВД для направления на Воркуту.

Осужденного надлежит взять на особый учет в порядке приказа № 257/с – 33 г.

Прибытие подтвердите.

ПРИЛОЖЕНИЕ: меморандум.

Зам Начальника УСО ГУГБ НКВД СССР:

Нач. 1 Отд-ения АУСО:

Л.д. 33.

МБ 23.

НАЧ. УЧ АРХ ОТД УГБ УНКВД МО.

ГУГБ

Учетно-Статистическ. Отдел

Архивн.

9 июля 6

16/20/Л.

Препровождается для исполнения и объявления выписка из постановления Особого Совещания при НКВД СССР от 2 июля 1936 г. по делу № 20 гр. МАМОНТОВА Николая Андреевича – которого надлежит направить с первым отходящим этапом в гор. Чибью, в распоряж[ение] НАЧ УПР. УХТПЕЧЛАГ'а НКВД для направления на Воркуту. Дату направления подтвердите к 20/VII-36 г.

НКВД и взять на особый учет, согласно приказа № 257/с – 33 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: выписка.

Зам Начальника УСО ГУГБ НКВД СССР:

Нач. 1 Отд[ел]ения АУСО:

Л.д. 34.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

Особого Совещания при Народном Комиссаре Внутренних Дел СССР
от 2 июля 1936 г.

СЛУШАЛИ	ПОСТАНОВИЛИ
Дело № 20/МО о МАМОНТОВЕ Николае Андреевиче, 1898 г.р., служил в белой армии.	МАМОНТОВА Николая Андреевича – за к/р деятельность заключить в Исправтрудлагерь сроком на ПЯТЬ лет, счит[ая] срок с 17.4.36 г. Дело сдать в архив.

Отв. Секретарь Особого Совещания *подпись*

<конверт>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ.

1939 года Сентября 9 дня. Пом. Прокурора гор. Москвы по спецделам ПЛАТОНОВ, рассмотрев заявление МАМОНТОВА Николая Андреевича на постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 2/VII-1936 г., которым МАМОНТОВ Николай Андреевич осужден за а/с агитацию к 5 годам ИТЛ,

установил:

МАМОНТОВ Николай Андреевич, 1898 г. рождения, б/парт., из служащих, служил в белой армии Колчака рядовым, по специальности художник, – обвиняется в том, что будучи враждебно настроен к руководителям ВКП/б/ и советской власти, вел к/р фашистскую агитацию, при этом говорил: «Меня в СССР не признают как большого художника», высказывая взгляды, что за границей художники находятся в лучших условиях чем в СССР, ибо в СССР не дают свободно развиваться таланту и высказывал в озлобленной форме недовольство к тов. СТАЛИНУ, считая его основным виновником того, что он не является признанным художником.

С особой симпатией МАМОНТОВ относился к фашистским странам – Германии и Италии, он говорил, что там народ живет подлинной, свободой, что якобы Муссолини весьма доступен трудящимся и пользуется величайшей любовью народа.

Указанное обвинение подтверждается показаниями свидетелей и частичным признанием обвиняемого.

Доводы МАМОНТОВА изложенные в жалобе о том, что он совершил оплошность по не домыслию, но при исключительно неудачных обстоятельствах и отбытие наказания дало ему большой урок на будущее – не могут служить основанием для снятия вины МАМОНТОВА за к/р деятельность и являются не основательными.

Не находя оснований к принесению протеста,

ПОСТАНОВИЛ:

Жалобу МАМОНТОВА Николая Андреевича оставить без удовлетворения. –

Пом. Прокурора г. Москвы по спецделам – *подпись* /Платонов/

«СОГЛАСЕН» Зам. Нач-ка Спецотдела Мосгорпрокуратуры – /Овчинникова/

Контакты:

Анна Сафронова (гл. редактор, проза): safronova-volga21@yandex.ru

Алексей Александров (зам. гл. редактора, поэзия, критика): alexandrov-volga21@yandex.ru

Алексей Голицын (документальные исследования): agolitzin@yandex.ru

Олег Рогов (архивные публикации, критика): rgv@mail.ru

Сайт журнала: <http://volga-magazine.ru/>

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
<http://magazines.gorky.media/volga>

Подписано в печать 19 июня 2023 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.